

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ-ИЮНЬ

"НАУКА"

МОСКВА - 1999

СОДЕРЖАНИЕ

О.Н. Трубачев (Москва). Славистика на XII Международном съезде славистов (краткий обзор).....	3
Л.Э. Калнынь, Г.П. Клепикова (Москва). Вопросы диалектологии на XII Международном съезде славистов.....	20
Е.М. Верещагин, В.Б. Крысько (Москва). Наблюдения над языком и текстом архаичного источника – Ильиной книги.....	38
Л.Г. Зубкова (Москва). Типология фонологических оппозиций в свете их семантических функций.....	60
И. Майер (Упсала). <i>Прошу вашего величества...</i> Особый случай употребления формы родительного падежа в функции винительного.....	70
Э.Г. Туманян (Москва). О природе языковых изменений.....	86
В. Дитрих (Мюнстер). Влияние америндских языков на романские (языковые контакты в Северной Америке и странах Карибского бассейна).....	98
А.Л. Шолов (Москва). Есть ли скандинавская топонимия в Карелии? (о топонимических свидетельствах в решении этноисторических проблем).....	109
А.Л. Мальчуков (С.-Петербург). Перфект и эвиденциальность в тунгусских языках (опыт функционально-диахронического анализа).....	119
Э.А. Умаров (Ташкент). Новые данные о гласных в "Дивāну луғāt-ит турк".....	133

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

А.В. Суперанская (Москва). <i>V. Blanár. Teória vlastného mena</i>	136
А.П. Володин, Н.А. Козинцева (С.-Петербург). <i>Z. Guentcheva (Ed.). L'énonciation médiatisée</i>	145

Научная жизнь

Хроникальные заметки.....	154
---------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов,
А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов,
А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский (отв. секретарь),
А.М. Молдован, Т.М. Николаева (зам. главного редактора),
Ю.В. Откупщиков, В.М. Солнцев,
О.Н. Трубачев (главный редактор), А.М. Щербак

Зав. отделами М.М. Маковский, Г.В. Строчкова, М.М. Коробова
Зав. редакцией Н.В. Ганнус

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-25-16

© 1999 г. О.Н. ТРУБАЧЕВ

**СЛАВИСТИКА
НА XII МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ**

(КРАТКИЙ ОБЗОР)

В конце августа – начале сентября 1998 года в Кракове (Польша) прошел XII Международный съезд славистов, последний в XX веке¹. Он собрал славистов из сорока одной страны. Условность последней цифры в том, что делегации стран были порой несоизмеримы – сто человек из России и по одному – из Азербайджана, Испании или Южно-Африканской республики. Собственно, в делегации России был сто один человек, она уступала количественно только делегации Польши (что вполне естественно, так как Польша – страна-организатор). Впрочем, превосходство нашей делегации было отнюдь не только количественным. И это требуется отметить сразу, хотя подробности будут приведены потом. В общей сложности на нынешний съезд съехало свыше 1200 человек. Огромность сосредоточившегося научного потенциала явствует из того факта, что собравшимся предстояло выслушать около 900 докладов, не говоря о многочисленных выступлениях в так называемых тематических блоках, кстати, впервые введенных именно на этом съезде! Изменчивость этих данных объясняется тем, что некоторые запланированные докладчики все же по разным причинам не смогли приехать на съезд; определенная и, по-видимому, неизбежная текучесть состава бросается в глаза и при сравнении с предыдущим XI МСС 1993 года в Братиславе: на этот раз совсем не было Индии, но появилась официально Югославия, чему раньше препятствовали международные санкции, по причине которых югославские слависты вынуждены были в Братиславе выступать как бы от отдельных городов – Белграда, Нового Сада и др.

Год 1998-й был совершенно особым для Польши и истории ее культуры, это был год Мицкевича, с рождения которого исполнилось двести лет. Эта выдающаяся дата наложила отпечаток на краковский конгресс, можно сказать, начиная с его открытия: на первом пленарном заседании самым первым пленарным докладом был прочитанный польским проф. Ю. Маслянкой: «Славянские литературы в парижских лекциях Адама Мицкевича». Собственно говоря, и остальные три доклада на пленарном открытии тоже вполне логично предваряли тематику дальнейших докладов и дебатов съезда: О.Н. Трубачев (Россия) «Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду»; Х. Андерсен (США) «Диалектная дифференциация общеславянского языка»; С. Грачотти (Италия) «Две Славии: проблемы терминологии и проблемы идей».

Проведение конгресса было сопряжено для Польши с рядом трудностей, вплоть до стихийных бедствий: годом раньше страна пережила гигантское наводнение, равно которому не было, говорят, последние тысячу лет. Только на фоне этих и неизбежных других трудностей преимущественно экономического характера можно попытаться оценить сложность задач, стоявших перед польскими организаторами. Теперь, когда трудности преодолены и сам конгресс уже позади, можно по достоинству оценить внимание, проявленное в Польше абсолютно всеми, кто имел отношение к этому важному мероприятию, начиная, разумеется, с председателя Международного ко-

¹ Очередной, XIII-й, съезд славистов решено провести в 2003 году в Любляне (Словения).

митета славистов проф. Я. Сятковского (Варшава) и председателя Оргкомитета по проведению XII МСС, проф. Л. Суханека и заместителя председателя Оргкомитета, проф. Е. Русека (оба – Краков) и кончая власть предержавшими, включая сюда также довольно многочисленных, как выяснилось, спонсоров конгресса. Результатом был завидно высокий уровень конгресса. Достаточно сказать, что он проводился под патронатом главы государства – президента Польской республики Александра Квасьневского, который не ограничился, как это бывает, письменным приветствием, но прибыл лично и выступил на открытии 27 августа. Президент сказал, между прочим, следующие важные, на наш взгляд, слова: «Я уверен, что славянский фактор вскоре внесет в нашу старую Европу новую динамику, что он укрепит ее идентичность и поможет окончить исторические споры». В адрес съезда поступило также апостольское благословение Иоанна Павла II, папы римского.

Если сказать в двух словах о составе участников съезда, то среди них были и ветераны, к которым можно отнести участников всех послевоенных съездов, начиная с московского, 1958 года. Участников первых, довоенных, съездов уже почти не осталось; ими оказались два престарелых польских ученых – Х. Батовский и С. Урбанчик. Довольно много было молодежи, в том числе новичков, для которых участие в XII МСС представило международный дебют.

Одно из стойких впечатлений съезда – необъятность нашей науки или наук, эта *silva scientiarum*, если использовать образ *silva rerum* ‘лес вещей’, вынесенный из посещения музея Ягеллонского университета в Кракове. Поскольку вся эта добрая тысяча докладов и сообщений со своими темами, проблемами и материалами могла быть о другом, ясно, что затронута лишь малая часть огромного знания. Впрочем, и к этой малой части удалось прикоснуться лишь в незначительной степени. Охватить и усвоить все произнесенное на съезде, его двадцати одним тематическом блоке, его двадцати с лишним комиссиях не смог никто. Так было на всех известных мне съездах. Лично я обычно поспеваю не более чем на три процента, то есть менее тридцати прозвучавших докладов. То же самое я слышал и от других коллег. До известной степени выручает испытанный источник – литература, в данном случае – литература съезда, сборники докладов делегаций, довольно большое количество отдельных оттисков, получаемых в кулуарах съезда и на заседаниях. Но и они не дадут представления о живом обмене, о ходе дискуссий съезда. Вот почему я (уже не в первый раз) прибегаю к помощи своих коллег-информантов, помогающих воссоздать хотя бы в некотором приближении дух съезда. В этот раз мне помогали своими заметками и наблюдениями московские коллеги-лингвисты Ж.Ж. Варбот, Л.В. Куркина, Г.П. Клепикова, С.М. Толстая, А.А. Плотникова, И.С. Улуханов, Л.Н. Смирнов, Г.А. Золотова, Л.Л. Агафонова, А.В. Суперанская; я даю их фамилии – более или менее – в порядке следования секций, которые сами порой переплетались, что усложняло дело. Отметив словами самой сердечной благодарности отзывчивость и помощь этих коллег, полагаю полезным изложить и тематику съезда:

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. [Секции]: I.1. Этногенез славян. Палеославистика. Прародина славян. Славянская этимология. Праславянский язык и его диалекты. Славянские древности в свете этнолингвистики. I.2. Языковые контакты. Славянско-славянские контакты. Славянско-неславянские контакты (*baltica, germano-slavica, hungaro-slavica, balcanica...*). Современные языковые контакты на территории славянства. I.3. Конфронтативные исследования и типология языков. Конфронтация двух и более славянских языков. Славянско-неславянская конфронтация. Методология типологических исследований (Фонетика и фонология. Морфология. Словообразование. Синтаксис. Семантика. Грамматическая система. Лексические системы. Лексикология, фразеология, лексикография...). I.4. Ареальные исследования славянских диалектов. Ономастика. Состояние сохранности славянских диалектов. Язык славян за пределами славянского ареала. Язык национальных меньшинств. Смешанные и переходные диалекты. Социальные диалекты (жаргон, сленг, арг). Ономастика. I.5. Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое развитие). Новейшие языковые изменения в

славянстве. Современные социально-политические изменения и язык (социолингвистические проблемы). Интернационализация и терминологизация современных национальных языков. История литературных славянских языков. I.6. Значение славянского языкового материала для теории языка. Новейшие направления в языкознании: генеративная грамматика, когнитивная лингвистика, лингвистика текста. Традиция и инновации в славянском языкознании и их значение для языковых теорий. Интердисциплинарные исследования: языкознание и информатика, математика, теория коммуникации, психология, социология и т.д.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. [Секция]: II.1. Славянская мифология. Славянская археология. Фольклор и народная культура. Фольклор и литература. Славянский фольклор и европейский контекст. Место фольклора в славянских национальных культурах в прошлом и настоящем. Формы существования славянского фольклора и народной культуры – творческие средства, жанры, коды. Фольклористические категории и понятия. Культурные контексты славянского фольклора. Методология исследований славянского фольклора – сравнительные исследования, интердисциплинарные исследования. II.2. Литературы средневековья и их контексты. Новые проблемы, новые открытия, новые концепции. *Slavia Orthodoxa*, *Slavia Latina*, *Slavia Reformata* и их местные особенности. Роль перевода в развитии славянских культур. II.3. Гуманизм и барокко в славянских литературах. II.4. Славянские литературы XVIII и XIX веков. Литературные течения и направления. Предромантизм как литературное явление. Романтизм у славян и историко-культурный контекст. Сравнительные исследования славянских литератур. Мицкевич, его сочинения и влияние. Пушкин, его сочинения и влияние. II.5. Славянские литературы от модернистского перелома до современности. Славянский модернизм в контексте мировой культуры. Философские контексты модернизма. Направления и школы. Поэтика модернизма. Традиция и новаторство. Модернистский миф. Славянские центры модернистской культуры. II.6. Постмодернизм у славян и на Западе. Постмодернистский код. Литературная антропология постмодернизма. Проблема диалога и контекста. Границы постмодернизма. Роль переводов в формировании постмодернизма у славян. II.7. Мир славян и эмиграция. Литература эмиграции как историко- и теоретиколитературная проблема. Хронология и периодизация эмиграционной литературы. Диаспора и метрополия. Эмиграционная литература и альтернативная литература в стране. Славянские эмиграционные литературы в компаративистской оценке. Эмиграция XIX века. XX век – география эмиграций, центры эмиграции и их деятельность. Культурно-литературная жизнь эмиграции – здания и издатели. Идеиные течения. История эмиграционной литературы. Оригинальная и универсальная тематика. Форма, жанры, стили. Публицистика эмиграции – споры и дискуссии. Эссеистика. Научные публикации. Возвращения эмиграционной литературы. II.8. Философская, религиозная, политическая и общественная мысль у славян. Литература и религия. Религиозные мыслители. Влияние философии Запада. Влияние славянской мысли на Запад. Философские и идейные концепции славян. Государственные и общественные идеологии. Литература, политика и идеология. Историософия – утопии и антиутопии. Национальный менталитет. Национальное и европейское сознание в славянских литературах. Мицкевич и идея независимости у славян. II.9. Универсализм и своеобразие в славянских литературах. Славянские литературы по отношению к Востоку и Западу. Образ и топос Иерусалима в славянских культурах. Стихия истории в славянских литературах. Фантастика и сказочность. Научно-фантастическая литература. Народная письменность, ее разновидности и функции в культуре славян. II.10. Объем и границы славяноведения. Славяноведение и родственные науки. Теория литературы и методология литературоведческих исследований в славянских странах – достижения и заимствования. Сравнительная поэтика. Стиховедение. Историография литературы. Литературно-исторические синтезы славянских литератур в научном и дидактическом аспекте: необходимость в корректировке и переоценках. Периодизация литературы. Теория и история литературного перевода. Культурология – область

исследований и методы описания. Сравнительная культурология. Текстология и научное издание текста.

Наконец, назовем тематические блоки на съезде: 1. Библия в культуре славян. 2. Геополитические детерминанты художественного перевода в славянском мире. 3. История славистики. 4. Грамматика национального мифа. 5. Проза Иосифа Бродского. 6. Подразумеваемый лирический субъект в русской поэзии в XX веке. 7. Компьютерная обработка средневековых славянских рукописей и ранних печатных книг. 8. Диахроническая фонология и диалектология. 9. Восточнославянская фонетика и эволюция редуцированных. 10. Грамматика и значение во времени. 11. Историко-этимологическое изучение славянских фразеологических систем (теоретико-методические и прагматико-компаративные проблемы). 12. Язык и национальное меньшинство. 13. Праславянская ономастика. 14. Проблемы глагольной префиксации в славянских языках. 15. Проблемы типологии и конфронтативного изучения в грамматическом описании славянских языков. 16. Русский язык в постсоветский период. 17. Семантика славянского вида. 18. Славянские клитики в структурной перспективе. 19. Славянская этимологическая лексикография сегодня. 20. Точные методы в лингвистическом стиховедении. 21. Изменения в современных славянских языках (1945–1995).

Автор этих строк лингвист, что отнюдь не означает отсутствия интереса к славянскому литературоведению; напротив, о нашем широком, унитарном понимании славянской филологии специально говорится в нашем съездовском докладе, упоминаемом выше (см. также [Трубачев 1998]). Понятно поэтому и наше как бы заглядывание на «чужое поле», если иметь при этом в виду программу литературоведения, фольклора и культурологии на XII МСС. О том, что давно и в гораздо большей степени имеет место встречное движение – от литературоведения к языкознанию – я уже писал. XII МСС подтвердил это. Один из ветеранов славистики, чешский филолог Славомир Вольман намечил как бы приоритеты того, что он назвал «славянская филология 1998»: возврат к источникам; критика текста; сравнительная славянская филология; словари (см. [Wollman 1998: 269], а также [Streszczenia. Lit. : 72]). Совершенно очевидно, что немало полезного из трудов по литературоведению и культурологии на XII МСС может почерпнуть и лингвистика, почему показалось уместным наши впечатления со съезда открыть наблюдениями именно по этому разделу. К тому же, оказалось, что этот раздел вобрал, кроме собственно литературоведения, достаточно работ лингвистических – по сути или, по крайней мере, по материалу. В числе первых работ такого рода следует назвать доклад В.В. Седова (Россия) «Славянский мир накануне распада языковой общности» (опубликован к XII МСС в сборнике российских докладов по литературоведению, фольклору и культуре, см. также [Streszczenia. Lit.: 206–207]). По литературоведческому разделу числится и доклад А. Давидова (Велико Тырново, Болгария) «Роль косвенных источников при определении объема древнеболгарской лексики» (см. [Streszczenia. Lit. : 38], далее специально [Слав. филология, 22 : 146]). Важность изучений старославянского (по болгарской терминологии – староболгарского) языка для лингвистической палеославистики очевидна. Ср. и новую книгу автора: А. Давидов. Старобългарска лексикология. Велико Търново, 1996. По второму разделу был заявлен доклад Ф. Малингудиса (Греция) «Славянская мифология: некоторые свидетельства ранних местных названий», где, собственно, привлекается топонимия северо-западной Греции, Эпира [Streszczenia. Lit. : 84].

На границе двух разделов филологии находится доклад Г.Ф. Ковалева (Россия, Воронеж) «Антропонимия в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» [Streszczenia. Lit. : 193]. Острый лингвистический интерес может представить коллекция из примерно 120 названий для черта (по другим сведениям – все 250 названий, С.М. Толстая, письменно) в докладе югославского этнографа Л. Раденковича «Дьявол в балканославянских верованиях и фольклоре» [Streszczenia. Lit. : 104]. Переводы Библии на национальные языки освещались, в частности, в докладах хорватских исследователей И. Братулича и Б. Араповича [Streszczenia. Lit. : 55, 262]. Чисто условным (поскольку проблема актуальна в плане всей филологии, даже преимущественно лингвистической)

выглядит помещение во второй раздел доклада словацкого археолога Т. Штефановичовой «По поводу новых взглядов на локализацию Великоморавской державы» [Streszczenia. Lit. : 231]. Стоит обратить здесь внимание на саму готовность обсуждать этот поворот в исследовании проблемы, наметившийся после работ американо-венгерского историка Имре Бобы, 70-ых годов, решительно переместившего Великую Моравию «на юг от венгров» (в соответствии с данными Константина Багрянородного) и в район епархии св. Мефодия, а до него – Андроника на реке Сава. Раньше, как известно (а в умах ряда исследователей – до сих пор) господствовала концепция моравско-западнословацкой локализации Великой Моравии, при резком осуждении инакомыслия. Важно отметить совпадение искомой Великой Моравии и территориальной зоны первоначального глаголитизма (Далматинское Приморье – Посавье), поскольку оно чрезвычайно перспективно в плане наследия свв. Константина (Кирилла) и Мефодия и в целом – в плане славянского единства (см. о последнем заявленный доклад О.А. Акимовой (Россия) «Тема славянского единства в хорватской литературе средних веков и раннего Нового времени» [Streszczenia. Lit. : 172]). Исследовательница видит в глаголической среде своеобразное соединительное звено между *Slavia Latina* и *Slavia Orthodoxa*. Распадение первоначальной Славии на эти две конфессиональные Славии, теоретически обоснованное и исследованное в трудах Риккардо Пиккио вот уже сорок лет назад, по-прежнему приковывает к себе внимание исследователей. См. доклад Иванки Петрович (Хорватия) «Хорватская средневековая литература. Литературная цивилизация *Slavia Romana* и латинская Европа», а также А.В. Липатова (Россия) «Европейский литературный процесс и славянские литературные общности» [Streszczenia. Lit. : 60, 196]. Последний, в частности, подразделял *Slavia Latina* на *Slavia Romana* et *Slavia Germana*. Сам метр, подаривший славянской науке эту плодотворную дихотомию, был на съезде и продолжал делиться своими доводами и сомнениями, см. буквально Р. Пиккио (Италия). «*Slavia Orthodoxa* – *Slavia Romana*»: сорок лет сомнений [Streszczenia. Lit. : 306]. Заслуженный мастер высказывает суждения о том, что дихотомия на православную Славию и Славию римско-католическую принадлежит не только безвозвратному прошлому и «средневековью» (термин и понятие в их отнесении к славянству, славистике, кстати, сомнительны и для Пиккио), как склонны были считать наши историки литературы, первоначально, возможно, с учетом коммунистической доктрины, а, возможно, также из других далеко идущих соображений, ср. [Picchio 1998]. Просматриваемая при этом цель – концептуальное выведение России из *Slavia Orthodoxa*, ср. и систематическое, с помощью СМИ, внедрение идеи о том, что Россия многоконфессиональна, многонациональна (причем – чуть ли не начиная с Древней Руси!), тогда как сторонние наблюдатели, политологи четко судят, что Россия до сих пор – страна православная и что именно как таковая она не смогла пойти по западному пути (см. «Известия» 18 авг. 1998 г., интервью Александра Рара, потомка старой русской эмиграции)².

Сюда тематически примыкают доклады: П. Карагёзов (Болгария) «Участие славян в процессах духовной интеграции и дезинтеграции Европы»; Г.П. Мельников (Россия) «Идея славянской общности в чешской мысли средневековья»; М. Кучера (Словакия) «К началам исторического самосознания словаков»; В.Е. Багно (Россия) «Пограничные культуры между Востоком и Западом. Россия и Испания» (см. [Streszczenia. Lit. : 45, 197, 227, 176]). В конце концов, весьма поучительны могут быть в плане славянской / неславянской идентификации / самоидентификации постановки таких, казалось бы, частных вопросов, как «Стереотип поляка в русской литературе XX века» (В.А. Хорев, Россия), «Образ грека в болгарской и македонской письменности» (Т. Домбек-Виргова, Польша), см. [Streszczenia. Lit. : 146, 181].

Временной, хронологический диапазон исследований, представленных на съезде, был огромен. Исследователей интересовало все – от так называемых «массмедиа» на-

² Знаменательно почти полное – день в день (17–18.VIII) – совпадение этого прогноза и начала пресловутого кризиса в России.

ших дней до индоевропейских диалектов тысячи лет назад. Мы еще будем возвращаться к тем и другим параметрам, а из раздела второго здесь назовем доклад Р. Ивановой (Болгария) «Масмедии и фольклор» [Слав. филология, 22 : 265; Streszczenia. Lit. : 42] и – как отрицательный пример – несостоявшийся доклад А. Бернар (Франция) «Теория венетов у словенцев» [Streszczenia. Lit. : 79]. В последнем случае речь идет о псевдонациональном мифе, увязывающем словенцев и индоевропейский этнос совсем другой принадлежности – северно-адриатических венетов, любительское сравнительство, подстегнутое распадом прежней Югославии.

Просмотр материалов второго раздела съезда полезен, он порой побуждает к суждению отнюдь не безразличных проблем, как например нижеследующий вопрос, относящийся прямо к этногенезу и истории культуры славян. Так, в докладе В.Я. Петрухина (Россия) «Погребальный культ в славянском язычестве» [Streszczenia. Lit. : 200] содержится утверждение: «В сравнении с древностями соседних народов – тюркских, германских и др. – славянский обряд (погребения. – *О.Т.*) выглядит «бедным». Важно иметь в виду, что «бедные» погребения, с минимумом загробных даров обычно характерны для земледельческого населения; без этой констатации, существенной для истории культуры славян, подобное утверждение остается неполным и недостаточным.

Отлично организованный и проведенный на высоком уровне конгресс был не лишен недостатков, что неизбежно в таком обширном и сложном мероприятии. Далеко не все упреки при этом могут быть адресованы организаторам. И.С. Улуханов (Россия) высказал мнение (в котором с ним солидарна Г.А. Золотова, Россия), что программа XII МСС составлена неудачно, близкие и смежные доклады разбросаны, что порождает «трудно обозримую пестроту». Целый ряд пожеланий к организаторам сформулирован Г.А. Золотовой: «...если бы удалось сгруппировать доклады о виде глагола, о словообразовании, о семантической структуре глаголов, о строении текста и др., это... сделало бы более целенаправленными обсуждения. Содержательных дискуссий... было мало и потому, что регламентом не отведено было на них времени, и потому, что критерий количества при отборе докладов мешал критериям качества и новизны». Однако в иных случаях неудовлетворенность, вынесенная участниками с заседаний, есть не что иное как отражение неудовлетворительного состояния самой проблемы, когда приходят к констатации, что «аспектология остается одним из наиболее "трудных, спорных и неразработанных" до конца разделов грамматики славянских языков. Напряженные поиски инварианта в семантике глагольного вида нельзя считать законченными и успешными. Продолжается анализ частных видовых значений глаголов совершенного и несовершенного вида» (из впечатлений Л.Л. Агафоновой, Россия). Это, так сказать, упреки самим себе, без которых, как известно, не обходится серьезная работа исследователя. В остальном неслучайно большинство славистических съездов прошло под знаком исследования славянского глагольного вида. На этом направлении славистика испытывала не одну только неудовлетворенность, но знавала и яркие удачи, надолго освещающие путь остальному исследованию; такими остаются разработки проблемы имперфективации славянского глагола, предложенные Ю.С. Масловым (Россия) еще на IV МСС. Из этой же области, далее, констатации, что на XII МСС «историческое словообразование представлено скудно» (И.С. Улуханов, письменно) или, скажем, сообщение факта, что в сравнении с предыдущим, XI МСС «проблематика истории национальных славянских литературных языков была представлена значительно скромнее» (Л.Н. Смирнов, Россия, письменно; то же устно – В.М. Живов, Россия). Г.П. Клепикова (Россия) охарактеризовала как поразительное отсутствие докладов по болгарской и сербской диалектологии – тем более, что видные специалисты с обеих сторон (Т. Бояджиев, И. Кочев, Сл. Реметич) присутствовали. Что здесь сказалось – стремление обходить острые углы? С другой стороны, острогы в дискуссионном общении сербских и хорватских участников, говорят, хватало (А.А. Плотникова, Россия). В переданном мне также письменном отчете В.В. Седова в общем справедливо указано на такой минус нашего конгресса, как «отсутствие в его программе докладов археологов по этногенетической проблематике, которые предста-

вили бы несомненный интерес для лингвистов и топонимистов, работающих над теми же вопросами». Правда, и этот упрек можно переадресовать самим археологам по этногенезу, которые наверняка сами (своевременно) не прислали заявок. В.В. Седов обращает внимание на то, что, кроме него самого, на XII МСС были еще только два археолога – А. Рутткай (Словакия) с докладом о Среднем Подунавье IX–XI вв. и Э.М. Зайковский (Белоруссия) с докладом о культуре Велеса. Далее В.В. Седов: «Неучастием археологов в работе Конгресса обусловлено то, что две комиссии при Международном комитете славистов – по славянской культуре раннего средневековья и по славянской археологии – не имели возможности провести свои запланированные рабочие заседания. Полагаю, что комиссия по культуре славян, созданная много лет назад, ныне не работоспособна и нуждается в коренном обновлении». Это заключение требует самого серьезного внимания еще и потому, что сократившееся на последних съездах славистов участие историков (что уже замечали многие) сводилось в основном к участию таких представителей исторических наук, как археологи. Их рабочий контакт с лингвистической этногенезологией и ономастикой ни у кого не вызывает сомнений, но важно по крайней мере, чтобы и он не сошел на нет. Некоторые лакуны съезда носят характер персональных случайностей. Скажем, в отличие от предыдущего съезда не приехали наши (в широком смысле слова) акцентологи – Дыбо (Россия), Складенко (Украина).

Огромный съезд помогал высвечивать и большие, и малые проблемы. Как свидетельствует Г.П. Клепикова, языковые контакты привлекли в этот раз больше внимания, чем на других съездах, в том числе на диалектном уровне, имея в виду диахроническую интерпретацию современных ареалов влияний, с привлечением Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА), Общекарпатского диалектологического атласа (ОКДА), Лингвистического атласа Европы (ЛАЕ); как новый опыт из этой области нужно отметить «Малый диалектологический атлас балканских языков» М.В. Домосилецкой, А.А. Плотниковой, А.Н. Соболева и др., с включением этнолингвистического аспекта. Ну, и наконец, не забудем, что старый уже проект ОЛА сквозь все невзгоды и несогласия пришел к своему сорокалетию. Одной только социолингвистической проблематике было посвящено около тридцати докладов (Л.Н. Смирнов). Г.А. Цыхун (Белоруссия) выступил с концепцией «эколингвистики». Подойдя близко к тематике так называемых малых славянских языков, трактованной и на предыдущем съезде (литературный «ляшский» язык Ондры Лисогурского), упомянем прежде всего систематическую деятельность в этой области тартуского профессора А.Д. Дуличенко (Эстония), выступившего на сей раз на тематическом блоке «Язык и национальное меньшинство» с сообщением «Языки малых этнических групп: генезис, статус, проблемы выживания». Там же выступил Т. Пристли (Канада): «Каринтийский язык, кайкавщина, кашубщина. Социолингвистика литературы на "диалекте" в зонах языковых меньшинств». Любопытно, что социолингвистическое творчество, экспериментирование идет здесь вплоть до самого последнего времени, как можно судить по докладу: О. Поляковас (Литва). Западнополесский литературный язык [Streszczenia. Jęz.: 113; Slavistica Vilnensis 1998: 29]. Этот, так сказать, «четвертый восточнославянский литературный язык», не старше конца 80 – начала 90-х годов, основан на западнополесских белорусских говорах, переходных между белорусским и украинским, имеет еще название *ітв(ј)ежа волода / мова «ятвяжский язык»*, с ощутимым креном к балтийскому и в целом, разумеется, плод парцелизации и автономизации последнего времени.

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению отдельных крупных проблем лингвистики, заслуживающих рассмотрения постольку, поскольку они не раз оказывались в центре внимания на XII Международном съезде славистов, хочу воспользоваться случаем, чтобы выразить чувство, в котором – я в это искренне верю – эмоции не перевешивают трезвую оценку фактического положения, чувство своей гордости за российскую делегацию и ту роль, которую она реально сыграла в делах XII МСС. И это не только мое личное мнение, но и мнение других участников, причем

«новизна услышанного» ассоциируется именно с докладами российской делегации (А.А. Плотникова). Кроме тех имен и разработок, которые я кратко уже назвал, а также тех, которые назову еще далее, я хотел бы остановиться на моментах, которые мне помогли зафиксировать мои коллеги. В смысле фиксации – сохранения для более широкого круга пользователей – особенно уязвимы, как известно, дискуссии на съездах. Они не всегда записываются, не очень регулярно издаются потом (приятное исключение – том дискуссий XI МСС 1993 года, который словацкие коллеги привезли на нынешний, XII МСС: *Záznamy z diskusie k predneseným referátom. XI medzinárodný zjazd slavistov. Ved. redaktor a editor Ján Dorul'a. Bratislava, 1998*), а если издаются, то обычно с немалой задержкой.

Наши словари – исторические, этимологические, диалектные, общезыковые, экспериментальные – всегда были и остаются в центре внимания мировой славистической общественности; XII МСС еще раз подтвердил это, вплоть до всех привычных деталей, включая «кулуарный спрос». Достаточно также только назвать некоторых из наших видных ученых, за каждым из которых стоит собственное научное направление, чтобы быть уверенным, что их выступления приковали внимание участников съезда: Г.А. Золотова (Россия) «Новая русская грамматика: идеи и результаты»; А.В. Бондарко (Россия) «Идеи Р.О. Якобсона и проблемы грамматической семантики»; Е.А. Земская (Россия) (в соавторстве) «Активные процессы в словообразовании современных славянских языков (на материале русского и польского языков)»; И.С. Улуханов (Россия) «О закономерностях сочетаемости морфем в славянских языках». Участники особо отметили высокий уровень дискуссии Крысько – Зализняк (со слов А.А. Плотниковой), состоявшейся после доклада В.Б. Крысько (Россия) «Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне» [Крысько 1998; Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998 : 367] (курьезная деталь: собравшиеся с облегчением восприняли информацию о том, что следующий после Крысько новозеландский доклад о «славянских языках в Полинезии» (sic!) не состоится, и поэтому оказалось возможным обстоятельное обсуждение, в том числе подробное выступление Зализняка). Особого упоминания заслуживает доклад самого А.А. Зализняка (Россия) «Проблемы изучения берестяных грамот» [Славянское языкознание. XII МСС. Докл. рос. делегации. М., 1998; 248; *Streszczenia. Jęz. : 221–223*]. Доклад, собравший большую аудиторию, представил итог научной интерпретации девятисот грамот на бересте. Одобрение вызывает то, что автор к настоящему времени разумно редуцировал первоначальные прямые ассоциации древненовгородских архаических особенностей с западнославянскими. В целом же предложенный самобытный языковой (фонетический, лексический) материал был снабжен добротной научной интерпретацией, и если детали этой интерпретации не всегда кажутся окончательными, то это вполне естественно для научного диалога (так, заинтересовавшая автора форма *кеть / кето* (гр. № 891 и Ст. Р. 12), практически – *кто* 'кто', с редким сохранением редуцированного в первом слоге, не уникальна, для нее существует независимая параллель в полабском *kätü* 'кто', см. [K. Polański. *Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich. Zesz. 2. Wrocław etc. 1971 : 241*]; как можно понять автора [Докл. рос. делегации: 252], берестяное *ѣмена* 'зерно на еду (не на посев)' не зафиксировано словарями древнерусского языка, но см. СЛРЯ XI–XVII вв. 5. М., 1978 : 51: *ѣмена...* Дм., 81. XVI в. ...А. тяг. I, 63. 1676 г.). Наконец, проблему конца древненовгородского слова с его яркими, самобытными особенностями, включая вокализацию редуцированного, целесообразно не отрывать, по крайней мере, от общесеверновеликорусского, ср. наблюдения над сохраненными рефлексам редуцированных гласных в конце слова в русских (архангельских) говорах типа *л'есо, д'ен'о*, им. пад. ед. числа, в съездовском докладе: Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина (Россия) «Рефлексы редуцированных гласных в конце слова в русских говорах» [Докл. рос. делегации: 353; *Streszczenia. Jęz.: 310*]. Важный доклад А.А. Зализняка состоялся в последний день работы съезда и явился заметным событием; в отличие от печатного текста, он содержал много иллюстра-

тивного материала, читался с использованием возникшего дополнительного времени, в целом – очень живо и был тепло воспринят слушателями, с одним, пожалуй, недостатком – докладчик совсем не оставил времени для дискуссии. Я специально останавливаюсь на этой теме, поскольку она представляет целую новую дисциплину русистики (или, как некоторые думают, палеославистики) – новгородистики. Лидирующая роль российской науки здесь очевидна, как очевидно и то, что наука других стран в той части, в которой она оказалась вовлечена в исследование новгородистики, явно производна от российской. Традиции тут установились относительно уже давние, в Польше берестяными грамотами давно интересовался русист Курашкевич. Конечно, феномен грамот на бересте шире новгородского региона, ср. еще такую древность, как др.-инд. *bhūrjam* ‘писчий лист березовой коры’, *bhūrja-* ‘письмо, документ, долговая расписка’. Трём берестяным грамотам XII века, найденным на Украине близ Львова, был посвящен на съезде польский доклад: А. Фаловский «Еще раз о берестяных грамотах XII века на Украине» [Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9. Językoznawstwo. Prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie. Warszawa 1998: 71; Streszczenia. Jęz. : 166]. Очевидно производным от нашей новгородистики и вообще – русистики, включая плюсы и минусы последней, вроде вьезшихся сомнений в гомогенности древнерусского языка, является также съездовский доклад Х. Бирнбаума (США) «На периферии: самые ранние свидетельства о двух позднеславянских диалектах» [Streszczenia. Jęz. : 274–275; также американская версия на польском яз., отд. отт.]. Предлагается попытка рассматривать не только старославянский на крайнем Юге, но и древненовгородский – на крайнем Севере как периферии еще единого, праславянского языкового пространства вплоть до XII–XIII веков. Сама эта хронологизация праславянского не нова, ее связывают с именем Трубецкого, но сейчас она выглядит, пожалуй, уже чистым анахронизмом. С равным успехом можно считать, что мы все до сих пор говорим на праславянском, ведь языковая эволюция непрерывна, а всякие периоды существуют только в нашем аналитическом мозгу. Другое дело – реально функционирующий языковой ареал со своим центром и перифериями; в этом случае для XII–XIII веков целесообразно говорить только о (древне)русском ареале и его перифериях.

На съезде встретились «Новое» и «Старое», правда, ни к какому Армагеддону это не привело, как это на первых порах показалось лично мне, когда я бегло узнал о громком названии доклада О. Кронштайнера (Австрия) «К неизбежному упадку славистики старого типа» [Streszczenia. Lit. : 14]. Затем выяснилось, что зальцбургский профессор и не метил, собственно, во все колоссальное здание заслуженной старой славистики, покоящееся на палеославистике, грамматиках, словарях, реконструкции праславянского, он до всего этого просто не дотянулся, а сводил счеты с венским центром. И как бы в противовес этому скандальному докладу на тематическом блоке «История славистики» состоялся доклад Х. Микласа (Австрия, Вена) «К роли венского центра в развитии славистики» [Streszczenia. Lit. : 322], автор которого весьма уместно обращает наше внимание на предстоящее столятиелетие венской кафедры славистики, возглавленной Ф. Миклошичем в 1849 году.

Съезд дал сгусток информации, порой ускоряющий осмысление того, что не так обращает на себя внимание в повседневном разреженном информационном потоке. Наша задача – попытаться осмыслить то, что как бы высветил съезд. Но сначала – несколько формулировок, сама «кучность» которых как бы говорит за себя. С.М. Толстая (Россия) [в письме] указывает на «смещение интереса исследователей с формальной структуры языка на его "содержательные" стороны (план содержания) и "внешние" (этнокультурные, историко-культурные, социо-культурные и т.п.) функции языка». В связи с этим стоит обратить внимание на то, какие темы «косяком» пошли на нынешнем съезде: Б. Вигерс (Голландия) «О моделировании детской картины мира в русской повествовательной литературе» [Streszczenia. Lit. : 89]; Е. Бартомиński (Польша), И. Сандомирская (Швеция), В.Н. Телия (Россия) «Родина в польской и русской языковой картине мира» [Streszczenia. Jęz. : 160; Z polskich studiów sla-

wistycznych. Językoznawstwo. Warszawa, 1998]; Ж.Ж. Варбот (Россия) «Славянские представления о скорости в свете этимологии (к реконструкции славянской картины мира)» [Слав. языкознание. Докл. росс. делегации: 115; Streszczenia. Jęz. : 219]; А.Ф. Журавлев (Россия) «К реконструкции древнеславянского мироведения (о категориях "доли" и "меры" в их языковом и культурном выражении)» [Проблемы славянского языкознания. Три доклада к XII Международному съезду славистов. М., 1998 : 71; Streszczenia. Jęz. : 225–226]. О «балто-балкано-славянской картине мира» идет речь в докладе: Л.Г. Невская, Т.М. Николаева, И.А. Седакова, Т.В. Цивьян (Россия) «Концепт "путь" в фольклорной модели мира: от Балтии до Балкан» [Streszczenia. Jęz. : 207; Слав. языкознание. Докл. росс. делегации: 442]. О том же – о «odtwarzaniu obrazu świata» говорится в следующем докладе с любопытным названием «Когнитивизм в этимологии» [M. Wojtyła-Swierzowska, Streszczenia. Jęz. : 184].

«Пережитые лингвистикой последних десятилетий поиски и метания – от устремлений к "чистой форме" до всеобщего поворота к семантике (подчеркнуто мной. – О.Т.)... с доминирующим интересом..., наконец, к тексту как результату смысловых и коммуникативных интенций... раздвигают традиционные рамки грамматики», – читаем мы в вышедшей накануне съезда «Коммуникативной грамматике русского языка» Г.А. Золотовой, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой (М., 1998 : 9).

Не будет преувеличением сказать, что эта идеология вполне проявила себя на минувшем съезде, причем выступающие возвращаются мысленно к началу 80-х годов, «когда большинство ученых стало поддерживать определение языка как когнитивного процесса, осуществляемого в коммуникации...» Е.С. Кубрякова, слова которой мы только что процитировали [Е.С. Кубрякова (Россия) «Актуальные проблемы изучения словообразовательных систем славянских языков» // Научные докл. филол. фак-та МГУ, вып. 3. М., 1998 : 53; Streszczenia. Jęz. : 201–202], относит это явление к новым парадигмам в лингвистике и, в свою очередь, говорит о формировании языковой картины мира. Ну, что тут можно сказать ввиду этих правильных в общем рассуждений. Можно, конечно, поправить хронологию – не начало 80-х, а раньше; я припоминаю, что присутствовал лично на докладе Э. Косериу «Weltbild der Sprache» в Фрайбурге-им-Брайсгау (Германия) весной 1977 года. Но дело также не в этом. Исторически неглубокий дескриптивизм оказался в ситуации, о которой лучше всего сказано в Библии: Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас (Еккл. 1, 10). И вновь вспоминается метафора из работы одного русского лингвиста, живущего и работающего в Чехии: «языкознание – это наука возвратов». Один из таких крупных возвратов, не вполне осознанных нами именно как возврат, мы имеем перед собой в наблюдаемом триумфе семантики в форме когнитивизма, этой в целом полезной концепции языковой картины мира, собственно, – плата за долгие годы формализма.

Сравнительно-историческое языкознание импонирует нам хотя бы тем, что никогда не отворачивалось от семантики, от содержательной стороны, от внешнего мира и культуры человека. Нынешний бурный поворот всех к этим аспектам да еще оснащенный новой терминологией, – феномен понятный, но заслуживающий трезвой оценки. В конце концов, и наш А.С. Будилович больше века назад в своих панорамных исследованиях быта славян «по данным лексикальным», О. Шрадер с фундаментальными исследованиями индоевропейских реалий, В. Хен в богатейшей книге о культурных растениях и домашних животных через призму языка да и многие другие помышляли уже давно и, надо сказать, на большую глубину в принципе о том же³. Но убедительнее, думаю, будет пример с нашим современником, к тому же – участником нашего съезда. Восьмидесятилетний краковский профессор Францишек Славский, бодрый и неутомимый на всех заседаниях, выступил с докладом «Пятьдесят лет над этимологией» [Prace slawistyczne nr 105. Warszawa, 1997 : 253; Streszczenia. Jęz. : 342].

³ А прогос, поскольку речь идет постоянно о концептах, уместно вспомнить, что на съезде ставился вопрос о потребности в новом словаре славянской лингвистической терминологии (Г.А. Золотова).

Начав исследовательскую работу с 1937 года, ученый неизменно преследовал цель реконструкции мотивации и первичного значения, а также сообщил нам, что подумывает над этимологической обработкой лексики праславянской культуры. За стенами его кабинета воцарялся структурализм и формализм, полнозначное значение изгонялось и вновь воцарялось с триумфом, но я что-то не заметил, чтобы этот человек, удивительно сохранивший здравый смысл, менял ориентацию. О своем кредо он поведал нам сам. Это были замечательные слова, отрадно прозвучавшие именно на одном из наших этимологических заседаний, – четверостишие польского поэта Циприана Норвида, в свое время украсившее как эпиграф первое издание "Этимологического словаря польского языка" Александра Брюкнера, которое я, извинившись перед читателями, дам в своем переводе:

И хоть все говорим, но не все мы готовы,
Чтоб спросить себя, как же читается слово
Изнутри, и судьбы его дальний полет
Разглядеть, полюбить только редкий дерзнет.

Коснувшись работ по славянской этимологии на съезде, я могу с удовлетворением констатировать, что на этой секции преобладала оживленность, дискуссии были, хоть и вынужденно сверхкраткими, как и везде на съезде, но конкретными и насыщенными. Напомню, что речь идет о секции I.1: "Этногенез славян. Палеославистика. Прародина славян. Славянская этимология. Праславянский язык и его диалекты. Славянские древности в свете этнолингвистики". Специфика этой секции, точнее говоря, всех перечисленных специальностей, – в том, что все они – от археологической этногенезологии до молодой еще этнолингвистики – оперируют этимологией, в немалой степени базируются на ней, на этимологии нарицательных и собственных имен. Добавлю, что практически каждый съезд славистов начинался с такой или подобной секции. Второе обстоятельство, которое хотелось бы выделить, – это то, что мы и наши коллеги разных возрастов пришли на съезд не с пустыми руками: вышел 24-й выпуск нашего "Этимологического словаря славянских языков (Праславянский лексический фонд)" в Москве, если иметь в виду нас, "ветеранов", вышел пробный выпуск нового этимологического словаря сербского языка, если говорить об этимологической молодежи (Етимолошки одсек Института за српски језик САНУ. Огледна свеска. Београд, 1998). Неслучайно председательствовавший на заседании тематического блока по современному состоянию этимологической лексикографии Ф. Славский назвал в качестве итогов выход этих двух томов. Вообще можно отметить и то, что этимологическая лексикография на предыдущих съездах славистов так широко не обсуждалась. Итогов, разумеется, было больше – и по этимологической лексикографии и по собственно этимологическому исследованию, включая более широкие лексикологические и лингвогеографические подходы. Традиционным вниманием пользовались тематические группы лексики – доклады: Л.В. Куркина "К реконструкции древних форм земледелия у славян (на материале лексики подсечно-огневого земледелия)". В дискуссии высказывалось мнение о чрезвычайно влиятельной, фондовой роли лексики и понятий земледелия у славян, а также обращалось внимание на разные объемы того и другого у славян и балтов; например, исключительно земледельческое слав. **medja* 'граница сельскохозяйственных угодий' имеет в балтийском родственную индоевропейскую форму, лишенную сельскохозяйственных коннотаций: др.-прусс. *median* 'лес', лтш. *mez̃s* < **medias/n* 'то же'). Далее, сюда же доклад Ж.Ж. Варбот с уже названной выше темой; И. Янышкова (Чехия) "Этимологическо-ономасиологический анализ славянских названий деревьев" [Česká slavistika. 1998: 39; Streszczenia. Jęz.: 70]; А.П. Непокупный (Украина) "Славянская терминология возвышенного рельефа в индоевропейском аспекте" [Streszczenia. Jęz.: 264]; Е. Русек (Польша) "Названия профессий в старославянских памятниках" [Streszczenia. Jęz.: 180–181; Z polskich studiów slawistycznych. Jęzukoźnawstwo 1998: 249].

Не раз и не два придется, видимо, еще пожалеть о том, что запись дискуссий на съезде велась по большей части стихийно, если велась вообще. А именно в свободной дискуссии порой как бы походя высказывались серьезные мысли компетентных специалистов. Ср. беглое устное наблюдение Варбот о том, что представления о лексическом гнезде весьма различаются у дескриптивистов и у этимологов. Чтобы покончить с проблематикой гнезда, специально укажем, что на Украине продолжается традиция гнездового исследования слов, во многом обязанная еще покойному А.С. Мельничуку с его панорамными анализами славянской и индоевропейской лексики с общим корнем на большую временную глубину. Сюда относится прочитанный на тематическом блоке по этимологической лексикографии доклад Т.О. Черныш (Украина) "Компаративно-сопоставительное исследование славянской лексики в контексте этимологических гнезд с близкородственными корнями" [Мовознавство. 1998. № 2–3: 168; Streszczenia. Jęz.: 344]. Однако хочется вернуться к мысли, которая кажется главной, а именно: при наличии очевидных различий в подходе, трактовке все же не ограничиваться этой пассивной констатацией, но использовать возможности обоих методов – дескриптивного и сравнительного. Думается, преувеличенный параллелизм обоих обрачивается ущербом (особенно при строгом дескриптивизме с его недостаточной временной глубиной) для самого исследуемого предмета, и я, возможно, еще буду иметь случай показать это, не слишком удаляясь от съездовской тематики.

Тематический блок "Славянская этимологическая лексикография сегодня", инспирированный для XII МСС отсутствовавшим П. Ивичем (Югославия), возглавившим также молодой коллектив составителей нового сербского этимологического словаря в Белграде, принес нам разнообразную новую информацию. Из докладов М. Белетич, А. Ломы и колл. (Белград) и Т. Тодорова (Болгария) мы поняли, какие обширные пласты заимствованной и другой местной балканской лексики предстоит обработать в новом белградском словаре и в продолжающемся уже три десятилетия софийском (и то и другое – на обширном славянском фоне). Весьма импонирующие успехи и опыт современной трактовки этимологизируемого лексического материала на обширном лингвогеографическом славянском фоне продемонстрировали белорусские исследователи, работающие не только над продолжением известного этимологического словаря белорусского языка (вышло 8 томов), но и над новым компактным однотомником: коллективный доклад М. Абрагімовіч, Г. Цыхун и колл. (читал И. Лучиц-Федорец) "Межславянские изолексы в белорусских этимологических словарях". В докладе дается и корректная критика предыдущих опытов этимологизации белорусских слов [М. Абрагімовіч, Я. Волкава, Я. Казлоўская-Дода, І. Лучыц-Федарэц, Р. Малько, А. Осіпчык, Г. Цыхун "Міжславянскія ізалексы ў беларускіх этымалагічных слоўніках. Мінск, 1998; Streszczenia. Jęz.: 344–345].

В качестве признака неисчерпанных потенций этимологии хочется указать на функционирование на съезде особого тематического блока "Историко-этимологическое изучение славянских фразеологических систем". В блоке участвовали ряд докладчиков и дискутантов, из них выделим доклад А. Ивченко (Украина) "На пути к фразеологическому этиму: этимологический анализ славянской фразеологии". Ср. и книгу автора: А. Ивченко. Українська народна фразеологія: ареали, етимологія. Харків, 1996. В конечном счете на близкую тему был доклад Р. Эккерта (Германия) "Что дают балтийские языки для исторической фразеологии славянских языков?" [ZfSl 43, 1998, 2: 178; Streszczenia. Jęz.: 132]. Любопытно отметить (и это прозвучало в дискуссии), что в меньшей степени и балтийская фразеология как бы проясняется порой через наличие кучных славянских свидетельств, проецируемых на (изолированные порой) балтийские случаи, ср., с одной стороны, лит. *vėlnias ráuna* 'черт роет', а с другой стороны – слав. не только **čьrto-ръѣ*, **čьrto-ръѣ* (этимологически затемненное, примеры из ономастики как показатель древности), но и, далее, тоже главным образом ономастические, то есть, скорее, древние **коро-ръѣ* (русск. *Копорье*), **svino-ръѣ*. В целом изучаемые отношения взаимопроникновения балто-славянских клише склоняли к мысли о наличии балто-славянского языкового союза, причем этимология – один из

критериев его выявления. Опытный мастер как в дескриптивистике, так и в этимологии, И. Немец, правда, лично на съезд не приехавший, выступал (в соавторстве) с докладом "Сравнительное исследование семантических моделей и лексикографическое описание" [Česká slavistika. 1998. Praha: 92; Streszczenia. Jęz.: 69]. Насколько эти проблемы, особенно в практике составления исторических словарей, в том числе в практике самого И. Немца, пересекаются с реконструкцией (например, неполно засвидетельствованных лексических гнезд) известно.

И все-таки некоторая перемена секций сделала свое отрицательное дело. Проблематика старославянского, церковнославянских языков, весь кирилло-мефодиевский комплекс, наконец, не менее важные и результативные подходы к этой проблематике с типологической стороны (то есть в плане тесной аналогии с генезисом других книжнописьменных, литературных языков), с ареальной стороны – все это нуждалось в большей компактности рассмотрения. Важный пласт культурной лексики славянских языков – христианская терминология – пользовался вниманием исследователей и на этом съезде. Отметим здесь такую инициативу, как проект создания словаря старопольской христианской терминологии (до 1500 г.), около 3000 словарных статей, см. доклад опытного лексикографа М. Карплюк [Język polski. 1998. № 1–2: 91; Streszczenia. Jęz.: 170–171].

Какие бы возмущения в магнитном поле языкознания вообще, а славистики – в частности, ни происходили, наш компас никогда не выходил из строя, магистральное направление оставалось прежним, а исследовательский интерес к праславянской проблематике оставался заглавным. Как уже сказано выше, праславянский комплекс и на этом съезде открывал программу. На мой взгляд, "праславянские" доклады на съезде не содержали откровений, впрочем, весьма вероятно, что они на них и не претендовали. Пафос докладчика порой не выходил за рамки сдержанного, хотя и запоздалого, ропота по поводу разрыва между праславянской моделью и "живым" языком, откуда якобы проблематичность "всех" реконструкций (К. Штайнке (Германия) "Праславянский язык: фикция и/или реальность?" [Streszczenia. Jęz.: 150–151]). Достаточно часто применялась схема привычного, но, согласимся, упрощенного отождествления членения (пра)славянского ареала или грамматического строя с засвидетельствованным племенным членением [Э. Айхлер (Германия) "Самая западная периферия славянской языковой области" [Streszczenia. Jęz.: 132–133]], с засвидетельствованным грамматическим строем [М.Л. Ремнева (Россия) "О грамматических характеристиках праславянских диалектов на поздних этапах развития". Научные докл. филол. фак-та МГУ, вып. 3. М., 1998: 91; Streszczenia. Jęz.: 210–211]. Однако апеллирование к оговоркам старых классиков ("на поздних этапах развития"), а тем паче – эта удивительная вера во вторичную и даже позднюю (?) диалектизацию праславянского языкового пространства, кажется, мало продвигают дело. Откровенно кабинетным упражнением отдает представленная в одном докладе очень условная концепция праславянского языкового пространства, где все диалекты одинаково переходные (отличаются только одной чертой) [Г. Хольцер (Австрия) "Об общеславянском диалектном континууме" // Streszczenia. Jęz.: 19].

При желании можно говорить о некотором кризисе в изучении праславянского, хотя наличие кризиса ограничивается, очевидно, лишь все еще сильными младограмматическими традициями. Нельзя отрицать вместе с тем, что гораздо большую перспективность и объяснительную силу обретают при этом другие направления, преследующие цель всемерного насыщения праславянской модели лексическим материалом, широким фронтом ведущие праславянскую лексическую реконструкцию, постулирующие изначальность диалектного членения и тем самым – статус праславянского как живого языка. Работы над ЭССЯ в Москве и над SP в Кракове приобретают при этом решающую роль. Нельзя сказать, чтобы это направление с его широкими выходами в праславянско-индоевропейские изоглоссы (изолексы) прозвучало на съезде адекватно, скорее всего – нет. И все же один съездовский доклад весьма напомнил нам наш постулат (да и базирующуюся на нем всю практику составления

нашего ЭССЯ, хотя докладчик *explicite* решил ограничиться дополнениями и поправками к SP, Краков) – об автономности праславянских состояний отдельных славянских языков/диалектов [Л. Кралик (Словакия) "Из исследования праславянского лексического фонда в словацком языке//" *[Príspevky slovenských slavistov. Bratislava, 1998: 33; Streszczenia. Jez.: 240].*

К проблематике праславянского логично примыкала проблема прародины славян и ономастика в своей праславянской части, которой мы здесь по преимуществу (правда, со всей краткостью) и коснемся. Нельзя сказать, чтобы тут мы услышали много нового, может быть, по той причине, что на съезде были представлены имена и концепции, уже раньше хорошо известные научной общественности. Секция I.1. – Этногенез славян – начиналась пленарным докладом В.В. Мартынова (Белоруссия) "Прародина славян. Лингвистическая верификация [отдельное издание: В. Мартынаў. Прарадзіма славян. Лінгвістычная верыфікацыя. Мінск, 1998; Streszczenia. Jez.: 33]. Автору нельзя отказать в последовательности, с которой он вот уже более тридцати лет отстаивает локализацию славянской прародины в бассейнах Одера и Вислы. Безусловно импонирует и его установка на лингвистическую верификацию (проверочное подтверждение). Хорошо ориентируясь и в славянском, и в германском языковом (лексическом) материале, он решил на этот раз привязать время и место искомым германо-славянских контактов к основанию Ютландского полуострова, не позднее V в. н.э. (ибо, как известно, уже в V веке англосаксы переселились на Британские острова). Речь, таким образом, идет о славянских заимствованиях в древнеанглийском; тема, согласимся, звучит пикантно, но автор касается этимологически темных слов, и теоретически против его процедуры трудно возразить. Кроме, разве что, одного пункта. Мартынов и раньше признавал невыясненность (открытость) южных границ воображаемого висло-одерского ареала праславянства. И вот в ходе дискуссии по его докладу на съезде он получает вопрос-реплику (кажется, от Е.А. Хелимского): а почему вы думаете, что заимствования от славян к западным германцам состоялись тогда и там? Ведь известно, что в более древнее время германцы сидели значительно южнее, на Юге нынешней Германии, и могли воспринимать славянские влияния со Среднего Дуная. В таких случаях обычно пишут: "Оживление в зале". И, действительно, в тот раз так и было в аудитории секции I.1. Докладчик не ответил на это. Мои коллеги-информанты тоже почему-то не зафиксировали этот вопрос, так и повисший в воздухе. Я сидел и в дискуссии участия на сей раз не принимал (притом, что как раз я защищаю дунайскую прародину славян), и вообще это был – всего лишь штрих, но мне почему-то кажется, что ради такого штриха стоило и на съезд съездить.

О прародине славян говорили еще специально в один из последующих дней конгресса, говорили весьма традиционно и причем – каждый свое. Ф. Славский "Прародина славян [Z polskich studiów slawistycznych, seria IX. Językoznawstwo 1998: 277; Streszczenia. Jez.: 182–183]: гипотетические воззрения, связанные с суждениями Я. Розвадовского и З. Голомба, – где-то "на север от Черного моря", и В. Маньчак (тоже – Польша) "О прародине славян [Streszczenia. Jez.: 175]: последовательная защита висло-одерской концепции на основе подсчетов лексической близости текстов на языках, при полном игнорировании ареальной лингвистики и ономастики. Вопросов больше, чем ответов...

Упомянув об ономастике, к ней и перейдем, поскольку о ней удобнее говорить концентрично вокруг и в связи с праславянской проблематикой. Это во многих случаях оправданно хронологически, это диктует и тематика ряда наиболее заметных съездовских докладов: К. Рымут (Польша) "Праславянская ономастика" [Onomastica XLII, 1997: 11; Streszczenia. Jez.: 321]. Автор в широкой степени учитывает трактовку праславянских двусловных личных собственных имен как цельных образований, а не только их корней в практике московского ЭССЯ. Ю. Удольф (Германия) в своем обширнейшем докладе "Древнеевропейская гидронимия и праславянские водные названия" [Onomastica XLII, 1997: 21–70; Streszczenia. Jez.: 322] от своего предыдущего

представления территориально ограниченной прародины славян постепенно перешел к концепции весьма обширного гидронимического ареала "между Припятью, Карпатами, Днестром и нижней Вислой". Вообще на съезде была очень достойно представлена заслуженная польская ономастика, ср. еще А. Цесликова (Польша) "Праславянские антропонимические апеллативы" [Onomastica XLII, 1997: 129; Streszczenia. Jęz.: 322–323]; Э. Жетельска-Фелешко (Польша) "Изменения в ономастике в XX веке (контролируемые и неконтролируемые, универсальные и специфические польские)" [Streszczenia. Jęz.: 181–182]. Риска оставить так и не названными остальное большинство ономастических докладов, отразить которые адекватно было бы трудно, если вообще возможно ввиду их разбросанности и тематической пестроты, я позволю себе отослать читателя к специально составленному отчету "Ономастика на XII МСС" А.В. Суперанской, которая любезно предоставила мне его для ознакомления и предположительно опубликует его в журнале "Русская речь".

И все же остановлюсь особо на привлечшем большое внимание участников, богатом материалом, проблемно насыщенном и наглядно объединяющем древнее наследие и современное состояние народной культуры в области антропонимии – докладе покойного Н.И. Толстого и С.М. Толстой "Имя в контексте народной культуры" [Проблемы славянского языкознания. Три доклада к XII МСС. М., 1998: 88; Streszczenia. Jęz.: 215–216]. В оживленной дискуссии было высказано замечание, что, при всей универсальности номинации (вспомним еще гомеровское: "Между людьми не бывает никто безымянным". Од.), все же проскальзывает одно заметное исключение – феномен безымянность как имя, когда нарочитая безымянность закрепляется за отверженцем общества, преступником как его знак (О.Н. Трубачев. Библийские статьи из Русской энциклопедии: *Варавва* [Palaeoslavica. Boston/Massachusetts, 1997, V: 327]).

После широких филологических, а также главным образом сравнительно-исторических, этимологических и смежных с ними наблюдений по работе XII МСС попробуем остановиться на одном из ярких выступлений специалистов по современному сопоставительному, описательному языкознанию. Я имею в виду коллективный доклад: Е.А. Земская, О.П. Ермакова (Россия), З. Рудник-Карват (Польша) "Активные процессы в словообразовании современных славянских языков (на материале русского и польского языков)" [Славянское языкознание. XII МСС. Докл. рос. делегации. М., 1998: 296; Streszczenia. Jęz.: 224]. Речь идет о новых процессах интернационализации, активизации соответствующих формантов и моделей, в целом – об исключительно новых тенденциях, в духе все того же роста аналитизма и черт агглютинативности. Кое-какие примеры приводятся, вроде препонируемых английских *шоп-, топ-, шоу-, брейк-*, но их могло быть гораздо больше, причем из числа, казалось бы, самых возмутительных и вместе с тем внедряемых через СМИ ежедневно, ежечасно: вспомним англоподобные *ленор-белье, памперс-ребенок* из телереклам да и тот же *Горбачев-фонд*. Они и им подобные производят впечатление совершенно чужеродных, неадаптированных слепков с английского, ср. там вполне регулярные сложения *body-building, shorttour* и др. По нашей памяти их гуляет уже довольно много, ср. напр. *арт-рынок, кэш-память*, см. еще доклад М. Думитреску (Румыния) "Транзитный период в обществе и отражение фактов и процессов на уровне лексики русского языка" [Romanoslavica XXXV, 1997: 233; Streszczenia. Jęz.: 227]. Конечно, здоровое движение души и хороший языковой, филологический вкус подсказывают нам без колебаний осудить эту макаронистику. А дальше следует самое курьезное: именно сравнительно-сопоставительный фон и более или менее широкая языковая компетенция, на которые мы готовы опереться в своем справедливом пуризме, остужают наше рвение, предоставляя свидетельства совершенно аналогичных образований с достаточно раннего времени практически у всех славян на уровне народной речи, вспомним в первую очередь такой агглютинат, как *белозер-палтус-рыба* из знаменитой старинной русской "Повести о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове". Вполне почтенны аналогичные

примеры из истории других славянских языков и культур. Ср. аналогичное сербск. *арзан свеѣћа* 'толстая свеча в дар церкви от корпорации торговцев' (см. Огледна свеска. Београд, 1998: 4). Во всех таких случаях в первом компоненте сложения – агглютинат, обычно – заимствование (*палтус-рыба*, *арзан свеѣћа*). Дабы утверждение о причастности к этому типу гибридного словообразования "всех" славян не показалось голословным, еще один – западный – пример из старого серболужицкого фольклора: в.-луж. *lindyr drasta*, *lindyr suknja* 'лондонское платье' (Смолер, народные песни, XIX век [H. Schuster-Šewc "Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache". 1982, 11. Hft., S. 847]). Таким образом, если есть тут, действительно, элементы "английскости" или "языковой игры" в английское (см. Дж. Данн (Великобритания) «О функциях "английского" в современном русском языке» // *Streszczenia. Jęz.*: 332), то необходимо считаться и с другими элементами – заложенной в самом языке предрасположенностью к образованиям такого рода.

В заключение нельзя не отметить очень живого и деятельного участия румынских коллег, на некоторые их доклады, впрочем, мы бегло указали уже ранее. Разумеется, румын-славистов занимает как особая позиция Румынии среди славянского языкового мира, так и вытекающая отсюда роль румынской культуры и румынского языка. Ср. специально доклад М. Миту «О понятии так называемого "неславянского посредника между славянскими культурами" (на примере румынской культуры)» [*Romanoslavica XXXV*, 1997: 185; *Streszczenia. Lit.*: 217]. В остальном – во многом – пафос румынских съездовских исследователей сводится к кропотливым поискам румынских вкраплений (глосс) в иноязычных, в том числе славянских, текстах, актуальных ввиду очень позднего начала собственно румынской письменности. Сюда относятся и этимологии (в общем единичных) лексических румынизмов, например, в ст.-слав. *авик*, если из рум. *abi* (соврем. рум. *abia*), в конечном счете – из лат. *ad-vix*. Эту этимологию, восходящую к А. Вайяну, приводят два румынских докладчика – уже упомянутый М. Миту и Г. Михаила в докладе "Славяно-румынские грамоты и другие письменные памятники как источник для истории румынского языка (вторая половина IX в. – 1520 г.)" [*Romanoslavica XXXV*, 1997: 15].

Так прошел XII Международный съезд славистов, свой обзор которого мы всячески стремились не превратить в перегруженный всеми фактами и именами отчет. Что предпочтительнее – другой вопрос, но нам показалось важнее выделить главные впечатления и остановиться на основных уроках съезда.

Напоследок – о торжественном акте съезда. Наш старинный немецкий коллега, родом серболужичанин, профессор эмеритус Лейпцигского университета, вернувшийся в родную деревню под Будишином, но не порывающий с наукой, автор превосходного "Историко-этимологического словаря верхне- и нижнелужицкого языка" Хайнц (Генрих Эрнестович) Шустер-Шевц был и на этом съезде в отличной научной форме, выступил с докладом "Позднепраславянские инновации и их отражение в структуре изоглосс серболужицкого". Главное же – на торжественном акте 31 августа 1998 года в помещении Большой коллегии (*Collegium Maius*) Ягеллонского Краковского университета, где в свое время Х. Шустер-Шевц учился студентом, ему было присвоено звание почетного доктора (*honoris causa*) этого славного университета.

Красивый, старый Краков, думаю, дополнительно обогатила такая неповседневная акция, как проведение XII МСС, смягчив и немного оттеснив заливающий и эти старинные стены современный стандарт, поп-арт с рекламой массовой продукции. Ненадолго, впрочем... Наши пленарные заседания проходили в самом вместительном зале, в кинотеатре "Киев". И не успело отшуметь последнее из них, как у нас на глазах с "Киева" убрали эмблему съезда и вновь водрузили рекламу фильма ужасов "Годзилла"...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Крысько В.Б.* 1998 – Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне // ВЯ. 1998. № 3.
- Трубачев О.Н.* 1998 – Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду // ВЯ. 1998. № 3.
- Picchio R.* 1998 – Open questions in the study of the "Orthodox Slavic" and "Roman Slavic" variants of Slavic culture // *Contributi Italiani al XII Congresso Internazionale degli Slavisti.* Napoli, 1998.
- Слав. филология – Славянска филология. Т. 22. Доклади за XII Международен конгрес на славистите. София, 1998.
- Slavistica Vilnensis* 1998 – *Slavistica Vilnensis* [Kalbotyga 47 (2)]. XII Международный съезд славистов. 1998.
- Streszczenia. Jęz. – Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. XII Międzynarodowy kongres slawistów / Oprac. J. Rusek, J. Siatkowski, Z. Rusek. Warszawa, 1998.
- Streszczenia. Lit. – Streszczenia referatów i komunikatów. Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Nauka o kulturze. XII Międzynarodowy kongres slawistów / Oprac. L. Suchanek, L. Macheta. Warszawa, 1998.
- Wollman S.* 1998 – *Slovanská filologie 1998 // Česká slavistika. České přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů.* Krakov 27.8 – 2.9.1998. Praha, 1998.

© 1999 г. Л.Э. КАЛНЫНЬ, Г.П. КЛЕПИКОВА

**ВОПРОСЫ ДИАЛЕКТОЛОГИИ
НА XII МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ**

Авторы настоящей публикации в свое время проделали (в соавторстве с Т.В. Поповой) анализ диалектологической проблематики, отраженной в докладах на VIII Международном съезде славистов (Загреб, 1978 г.), полагая, что на научных собраниях такого уровня наиболее отчетливо эксплицируются приоритеты разных направлений славянского языкознания (см. [ОЛА, 1979]). XII съезд славистов отделен от VIII съезда интервалом в двадцать лет. Поэтому сопоставление диалектной проблематики на этих съездах может показать динамику и современное состояние изучения славянских диалектов.

На XII Международном съезде славистов диалектологическая проблематика отражена в 47 докладах*.

Как и двадцать лет назад центральными диалектологическими проектами, над которыми работают лингвисты разных стран, остаются Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА) и Общекарпатский диалектологический атлас (ОКДА). В ОЛА лингвогеографической интерпретации подвергается диалектный континуум, соответствующий целой языковой семье, и учитываются при этом диалектные различия в фонетике, грамматике и лексике. ОКДА является межъязыковым региональным атласом, ориентированным на изучение лингвистического пространства зоны Карпат и соседних регионов (прежде всего балканского), где представлены результаты длительного контактирования и интерференции языков (resp. диалектов) различных языковых семей, нашедшие отражение в возникновении многочисленных лексико-семантических тождеств.

За прошедшее время содержание работы над атласами существенно изменилось. Если раньше речь шла о вопросах, актуальных для начального периода составления атласов (интерпретация диалектного материала как объекта картографирования, принципы составления карт разного типа и под.), то к XII МСС оба атласа подошли с уже изданным собранием карт. В ОЛА опубликованы один выпуск лексико-словообразовательной серии (ОЛА. 1. М., 1988) и четыре выпуска фонетико-грамматической серии (ОЛА. 1. Белград, 1988; ОЛА. 2а. М., 1990; ОЛА. 2б. Варшава, 1990; ОЛА. 3. Варшава, 1994). В ОКДА к настоящему моменту вышли из печати пять выпусков (ОКДА. 1. Кишинев, 1989; ОКДА. 2. М., 1994; ОКДА. 3. Варшава, 1992; ОКДА. 4. Львов, 1993; ОКДА. 5. Братислава, 1997), кроме того, полностью готовы к публикации и находятся в процессе издания в Венгрии и Югославии 6-й и последний, 7-й, выпуски.

* Кроме того, в программе Съезда были заявлены диалектологические сюжеты, не отраженные ни в докладах, ни в сборнике резюме. Это – Николаев С.Л. (Россия) "Кривичский диалект и его место в восточнославянском диалектном континууме", Гриценко П.Ю. (Украина) "Слов'янські ізофонії: спроба зіставної інтерпретації", Bjørnflaten J. (Норвегия) "Восточнославянская лингвогеография", Ivić P. (Югославия) "Typy podziałów dialektalnych", Kalsbeek J. (Голландия) "Problems in the Diachronic Phonology of Istrian Čakavian Dialects", Vermeer W. (Голландия) "The North Russian Dialects of Common Slavic: Issues and Non-issues" [XII MKS. Program 1998].

Диалектная карта показывает территориальную прикрепленность компонентов диалектных различий. Но эта визуальная информация не является самоцелью. Значение ее в том, что она может быть поводом для выявления более глубинных языковых характеристик, стоящих за полученной картиной диалектного ландшафта. Картографирование диалектов на большом пространстве, охватывающем несколько языков, может внести коррективы в представление о составе диалектных различий в славянском континууме, так как эти различия актуализируются лишь при сопоставлении разных языков. Это может стать основой для внесения поправок и в ареальную характеристику континуума, и в диахронические суждения об отдельных его фрагментах. Интерес к проблемам такого рода был отражен в докладах, использовавших данные карт ОЛА и ОКДА.

Т.И. Вендина (Россия) в докладе «Общеславянский лингвистический атлас и лингвистическая география» показывает, как карта, будучи по своей сути констатирующим производением, может получить объясняющее значение. Это основано на сопоставимости картографируемых фактов и на выборе объекта картографирования. Становится возможным реконструировать динамику рефлексации определенного праславянского элемента в пределах всей Славии. На примере карт на рефлексацию **ě*, **ę*, **q* показано ареальное «перетекание» одних, более архаических типов рефлексации, в другие, удаляющиеся от первоначального состояния, т.е. восстанавливается последовательность стадий трансформации праславянских единиц в их территориальной проекции. Выводы о своеобразии развития отдельных ареалов получают особую надежность при совпадении фонетических и лексических изоглосс, как это имеет место на словацкой территории. Анализ явлений в масштабах Славии позволяет выделить зоны архаики – они обычно имеют островной характер и локализируются не только на периферии славянского континуума, но в ряде случаев и в центре его (Полесье). В докладе Т.И. Вендиной обращено специальное внимание на такой лингвогеографический жанр, как фонетические обобщающие карты ОЛА. На этих картах показано размещение диалектных различий, компоненты которых образованы системными отношениями. Речь идет о влиянии ударения, консонантного окружения, вокального количества на рефлексы праславянского гласного, сохранение/утрата фонологической самостоятельности рефлексом праславянской фонемы. Проблема обобщающих карт как нового вида лингвогеографического исследования была в центре внимания уже на ранних стадиях работы над ОЛА [Аванесов, Калнынь 1983]. Особый статус этих карт подтвердился при составлении первых фонетических выпусков. Обобщающие карты, посвященные рефлексам **ě*, **ę*, **q*, как справедливо замечает Т.И. Вендина, впервые показывают картину системной дифференциации славянского диалектного континуума. Составление таких карт предусматривает специальную процедуру перекодирования фактов конкретной фонетики в системные характеристики диалектов. Реализуя эту задачу, ОЛА уже на данном этапе выступает в качестве генератора новых идей и решений в славянской лингвогеографии.

В докладе **Л.Э. Калнынь** (Россия) «Особенности восточнославянского диалектного континуума в свете современной лингвогеографии» рассматривается вопрос о том, какую информацию о хронологии диалектной дифференциации и ее специфике можно извлечь из фонетических карт восточнославянских атласов (ср. «Диалектологический атлас русского языка», «Атлас украинської мови», «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы») и атласов, объединяющих всю восточнославянскую территорию (ОЛА). Соединение корпуса некоторых диалектных различий с фактором большей языковой территории позволяет по-иному взглянуть на традиционно принятые представления об истории формирования особенностей указанного региона. Явления, остающиеся в национальных атласах на периферии внимания по причине своей монотонности, будучи рассмотренными на фоне всего восточнославянского континуума, получают статус свидетельства о том, что диалектная дифференциация здесь в некоторых своих особенностях складывалась до падения редуцированных, т.е. в период, определяемый как «древнерусское единство». При этом в качестве аргументов начинают выступать

явления, ранее не зачислявшиеся в реестр исконных различий между восточнославянскими диалектами. Различия касаются таких структурных элементов, как устройство слога (проявляется в различном уровне связей между компонентами дифтонга, кончающегося на плавный, в варьировании места слогораздела в сочетаниях редуцированного с сонантом), правил включения инициальной вокальной артикуляции, в чем отражается специфика артикуляционной базы. Эти выводы сделаны на основе картографирования рефлексов интерконсонантных сочетаний редуцированных с плавными и инициального **o*. По названным признакам праукраинские диалекты с определенностью отличаются от прарусских. Различия же между прабелорусскими и прарусскими выражены менее резко. Фонетическое своеобразие украинских диалектов в сравнении с другими восточнославянскими проявляется и на синхронном уровне. В частности, типологические характеристики, выявленные на основе описаний отдельных украинских говоров, показывают повышенную роль вокальных средств в их фонетическом строе. Несмотря на наличие корреляции твердости/мягкости, украинские диалекты нельзя считать «радикально-консонантическими» (определение А. Исаченко) и по этому признаку совпадающими с другими восточнославянскими языками. Их большая вокализованность сближает украинские диалекты в типологическом плане скорее с южнославянскими диалектами словенской и сербско-хорватской группы.

Сходные выводы сделаны в докладе **О.Б. Ткаченко** (Украина) «Украинская фонетика на историко-типологическом фоне». Рассматривая явления «икавизма», украинский гласный *и* (из **i*, **y*), твердость согласных перед *e* из **ĕ* и мягкость перед утраченным **ĥ*, автор приходит к выводу, что украинский язык по своему происхождению занимает особое место среди восточнославянских. Существующая точка зрения на происхождение этого языка не укладывается в представление о древнерусском единстве: некоторые специфические украинские особенности уходят своими корнями в позднепраславянское состояние. Находясь в центре Славии, украинский язык в своей динамике обнаруживает некоторое сходство с южнославянским развитием, считает автор. В связи с этим можно напомнить, что на материале украинских диалектов интерпретация развития **e*, **i*, а также **ĕ* **ĥ* предложена в работе Л.Э. Калнынь [Калнынь 1994], где сделаны выводы об исконном отсутствии смягчения согласных перед **e*, **i*, а мягкость согласных перед утраченным **ĥ* расценивается как появившаяся после падения редуцированных и представляющая собою компенсационную реакцию на изменение фонетической программы слова.

Обсуждению конкретных вопросов, возникающих при составлении лексических карт ОЛА, посвящен доклад **Я. Сятковского** (Польша) «Разграничение морфологического и фонетического уровня в Общеславянском атласе». В легенде лексических карт ОЛА картографируемые слова передаются транскрипцией, которая элиминирует фонетические различия, показывая лишь внутреннее морфологическое членение слова в его соотношении с праславянскими морфемами. Однако ответы на Вопросник ОЛА содержат и не возводимые к праславянскому состоянию региональные инновации, заимствования из других языков, аналогические образования и др. В таких случаях отделение морфологических фактов от фонетических может быть затруднено, а иногда невозможно. Это показано на примере тех сложностей, которые возникают при реконструкции праформ для польских суфф. *-erz*, *-arz*, *-urz* в их соотношении с **rjь*, при определении причин замены безударной флексии *-a* из **ĕ* гласными *e*, *i* в восточнославянских говорах (фонетика? аналогия?), при морфологической интерпретации словообразовательного сегмента, выраженного то двойным, то одним согласным, — альтернатива сводится к тому, считать ли это результатом фонетического изменения или констатировать разные словообразовательные модели. По замечанию автора, приводимые им примеры иллюстрируют взаимопроникновение морфологического и фонетического уровней. Частным проявлением этого является морфологическая аналогия, которая нередко обусловлена фонетическими изменениями или осуществляется при их участии.

Некоторые результаты изучения славянских и неславянских диалектов в рамках ОКДА представлены как в самом атласе – в виде карт и комментариев к ним, непосредственно дающих общую ареалогическую характеристику генетически гетерогенного карпатобалканского пространства, так и в ряде обобщающих трудов. Примером этого был, например, коллективный доклад к XI съезду славистов 1993 г. [Бернштейн и др. 1993]. К XII съезду были подготовлены два доклада подобного типа. В докладе **С.Б. Бернштейна** и **Г.П. Клепиковой** (Россия) «Славяно-румынские языковые контакты в свете новых данных славянской лингвогеографии» предложен собственно ареалогический подход к диахронической интерпретации современных ареалов славянских заимствований в румынском, а именно, путь сопоставления этих ареалов с ареалогическими ситуациями в масштабах общеславянского диалектного континуума. Специально подчеркивается, что это возможно лишь на нынешнем этапе развития науки, когда исследователи имеют в своем распоряжении уникальные данные первых выпусков полилингвальных атласов (ОЛА, ОКДА, Лингвистического атласа Европы) в сочетании с показаниями национальных атласов. На примере ряда славизмов в румынском (*gușter, ojină ciocănițoare* и др.) авторы показывают, что славянский "фон" помогает полнее описать указанные единицы. На синхронном уровне эксплицируются, с одной стороны, «непрерывные» ареалы славянских форм и соответствующих заимствований в румынском (что облегчает историческую интерпретацию фактов), а, с другой, – «дистантные» (= изолированные от соответствующих ареалов той или иной лексемы в диалектах Славии), что требует от историка языковых взаимодействий дополнительных разысканий. Большой интерес для контактологии могут иметь анализируемые в докладе случаи славяно-румынских схождения в сфере мотици и тех или иных наименований (ср., например, наличие признака 'сидеть' в рум. *șezătoare*, макед. *'sedenka*, сербск. *se:delka* и под., при болг. *седянка*).

В докладе **Л. Балоба**, **Я. Банчеровского**, **И. Пошгаи** (Венгрия) «Венгерские лексические элементы в языках карпатского ареала» рассматривается, прежде всего с учетом материалов ОКДА, процесс и хронология проникновения венгерской лексики различного происхождения (исконной и заимствованной) в соседние языки карпатской зоны в ходе непосредственных контактов носителей этих языков и венгерского языка.

Проблемам изучения собрания диалектов, выходящего за пределы одноязыковой территории, посвящен доклад **М.В. Домосилецкой**, **А.А. Плотниковой**, **А.Н. Соболева** (Россия) «Малый диалектологический атлас балканских языков». В нем излагается концепция нового проекта создания балканского атласа. От предшествующих опытов (например, М. Младенова и др.) данный атлас и его Вопросник (издан в 1996–1997 гг.) выгодно отличаются обращением не только и не столько к лексике, при описании которой предлагается использовать «идеографический» принцип, но и стремлением к углубленному анализу синтаксических явлений. Описание синтаксиса понимается как (1) изучение структуры целостных синтаксических единиц и (2) изучение грамматикализованных и синтаксически свободных средств выражения грамматических значений. Новаторским является включение в Вопросник атласа этнолингвистического раздела. Это позволит подробно изучить этнокультурную лексику (= терминологию традиционной духовной культуры). Доклад содержит также анализ и интерпретацию некоторых полевых материалов, уже собранных по Вопроснику в Восточной Сербии и в Болгарии (область Родоп). В ходе оживленной дискуссии, развернувшейся по концепции Атласа (и, в частности, по вопросу о сетке обследуемых в Атласе пунктов – 15), в целом было признано, что данный труд является перспективным научным начинанием, который может рассматриваться как «пилотный» по отношению к «Большому» балканскому атласу, предварительная работа над которым начата в Комиссии по проблемам балканистики при МКС.

В докладе **И.А. Букринской**, **О.Е. Кармаковой** (Россия) «Интерпретация лексических изоглосс в связи с вопросами раннего диалектного членения восточнославянских языков» на основании показаний национальных диалектных атласов превосходно представлена синхронная лингвистическая ситуация, характеристика которой дается

путем анализа соотношений названий 'цепы' (в целом) и его частей ('ручки' и 'бьющей части'). Подобный подход к изучению данного микрофрагмента лексической системы позволяет, с одной стороны, преодолеть «атомарность» при рассмотрении соответствующих названий и, тем самым, скорректировать впечатление о большой дробности ареалов отдельных наименований. А, с другой, – выявить некоторые зоны, существенные для указанного диалектного ландшафта в целом. Учет последних важен, например, при диахронической интерпретации имеющихся фактов, в том числе, и при решении проблемы о древнем единстве/неединстве Восточной Славии. Напомним, что именно этой, актуальной ныне тематике уже посвящены два выпуска специального коллективного труда «Востоочнославянские изоглоссы» (М., 1995; 1998). Авторы выделяют 15 основных типов комбинаций рассматриваемых названий; при этом большинство русских говоров оказываются противопоставленными другим восточнославянским говорам, в украинских преобладают два типа, общими в белорусских и западнорусских также являются два типа, и только один тип известен диалектам всех трех языков. Вместе с тем представляется, что авторы излишне категоричны, когда возводят данные с о в р е м е н н о й диалектной лексики к языковым особенностям отдельных древних славянских племенных (!) групп (ср. упоминание о белых хорватах, древлянах, полянах, вятичах, кривичах и др.). Даже если те или иные названия указанного орудия (геср. его частей) являются очень старыми (ср. континуанты слав. *сѣръ), то вряд ли это же можно сказать о с о о т н о ш е н и я х названий, поскольку многие из них возникли, несомненно, достаточно поздно (таковы, например, конфигурации с многочисленными дериватами от корней *bi-, *vez-/vqz- и др.).

Другие доклады по вопросам лингвогеографии касались говоров одноязычных территорий и территориального распространения отдельных диалектных различий.

К. Дейна (Польша) в докладе «Методологические принципы Атласа польских говоров» излагает свой взгляд на специфику говора как языкового идиома. Автор считает, что система говора формируется инновациями в области фонетики, фонологии, морфологических единиц. Что касается лексики говора, то изменения, в ней происходящие и отличающие разные говоры, находятся вне системных категорий. Поэтому, по мнению К. Дейны, «говор отличается от других говоров не собранием терминов, а системными инновациями». Системный подход к объектам картографирования автор иллюстрирует фонетическими картами региона Малой Польши. Так, на карте, посвященной изменению $\acute{n} > \acute{i}, \acute{i}$ в конце слога, используются знаки, ориентированные на то, чтобы показать диалектные различия в (а) позиционной и (б) лексической сферах реализации этого фонетического явления. Карта, показывающая наличие/отсутствие изменения $l > \underset{u}{\text{w}}, \underset{v}{\text{v}}$, составлена на основе сопоставления данных, полученных при обследовании говоров по вопроснику Атласа, с имеющимися более ранними описаниями этих же диалектов. В результате карта показывает динамику явления. Таково же содержание карты, посвященной диалектной дифференциации по признаку развития старопольск. \acute{a} . Выводы К. Дейны подтверждают положение, что интерпретация диалектного континуума в виде структурированной диасистемы (= диалектного языка) возможно лишь на фоне картографирования системно значимых диалектных различий. Напомним, что первый опыт такого картографирования был представлен в «Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (под ред. Р.И. Аванесова. М., 1957).

Проблемы составления тематического диалектного атласа обсуждаются в докладе **В. Венцеля** (Германия) «Серболужицкий атлас личных имен и общеславянский антропонимический атлас». Указанный вариант общеславянского атласа имеет своей целью показать в пределах Славии ареалы отдельных личных имен, а также лежащих в их основе словообразовательных структур разного уровня (типы и подтипы). Выявленные изоглоссы и ареалы должны быть сопоставлены с географией диалектных явлений, с фактами топонимики, со сведениями о заселении данной зоны, что создает основу для получения новых данных о содержании языковых и миграционных отношений в более

ранние эпохи существования Славии. Решение таких задач, справедливо отмечает В. Венцель, возможно лишь при учете показаний антропонимии отдельных славянских языков (картотеки, историко-этимологические словари, письменные документы). В этом проявляется универсальный лингвогеографический принцип, согласно которому диалектному атласу региона должно предшествовать изучение компонентов (идиомов), его составляющих. В. Венцель, являясь автором серболужицкого атласа личных имен [Wenzel 1994], полагает, что опыт этого атласа может быть использован при составлении общеславянских антропонимических карт. Это касается фактической базы атласа, выбора объекта картографирования (преимущественно прозвища и фамилии; большая ориентированность на лексику, а не на словообразование, как это принято до сих пор), локальной фиксированности картографируемого явления (показательны антропонимы, произведенные от топонимов). В докладе приводится обзор употребления нескольких лексем в разных славянских антропонимах (**ortajъ*, **vitędzь*, **kъmetь* и под.). Этот обзор обнаруживает связи серболужицких диалектов с иными регионами Славии.

Е. Рейхан (Польша) в докладе «Словообразовательные связи польских диалектов с другими славянскими диалектами и языками» рассматривает географию словообразовательных морфем, не ограниченных только территорией польского языка. В зависимости от территории, охватываемой изоморфой, выделяются три типа пространства использования той или иной словообразовательной морфемы: а) большое диалектное пространство в пределах польского языка и в одном или нескольких соседних языках; б) небольшое пространство в польском диалектном языке, имеющее продолжение за пределами польского языка, хотя бы в одном соседнем языке; в) несколько рассеянных (= «островных») ареалов, корреспондирующих с ареалами в одном или нескольких славянских языках. Эти типы проиллюстрированы распространением ряда суффиксов (именных, глагольного, местоименного). Использован материал имеющихся диалектных описаний и Малого атласа польских говоров.

Территориальный аспект изучения польских говоров обозначен и в докладе **Н.Е. Ананьевой** (Россия) «Некоторые итоги и перспективы изучения польского периферийного диалекта. Конфронтативная грамматика двух его разновидностей. Словарь. Атлас». Автор справедливо подчеркивает, что ныне разноплановое изучение так наз. «польщизны кресовой» (*polszczyzna kresowa*) (= ПК) опирается на неоднородные материалы, собиравшиеся разными исследователями (в том числе и отечественными) с различными целями в течение нескольких десятилетий. Сложность решения сформулированных в докладе задач, по мнению автора, обусловлена, в частности, тем, что указанные говоры характеризуются высокой степенью вариативности на всех языковых уровнях; последнее объясняется дву- и многоязычием носителей ПК, влиянием польского литературного языка и др. Это заметно отражается и на форме двух разновидностей ПК (Белоруссия – Литва и Украина). В докладе основное внимание автор уделит грамматике и словарю; подробнее о концепции Атласа см.: [Ананьева 1997].

Особенности контактирования разноязычных диалектов не только островных, но и в зонах языкового пограничья, привлекают внимание авторов и других докладов. Явления ПК рассмотрены в докладе **Я. Ригера** (Польша) "Польский язык в Белоруссии, Литве и Украине. Проблемы языковых контактов и их описание". В данном случае в центре внимания исследователя оказываются результаты языковых взаимодействий, имевших место в указанных областях, и фиксируемые не только на уровне лексики, но и иных языковых страт. Подчеркивается необходимость учета фактора влияния польского литературного языка и других польских диалектов.

И. Лисац (Хорватия) в докладе «Состояние диалектов на хорватско-словенской языковой границе» анализирует, с использованием примеров разных языковых уровней, последствия длительных взаимодействий (и взаимовлияний) хорватских («чакавских», «кайкавских») и словенских говоров, образующих ныне своеобразный континуум в области словенско-хорватского пограничья. Помимо собственно лингвистических причин возникновения специфических черт, характеризующих и выделяющих

указанный континуум, автор указывает и на роль экстралингвистических факторов, в том числе – интенсивных миграций населения.

Р. Сырбу (Румыния) в докладе «Морфосинтаксические структуры в глагольной системе истрорумынского диалекта. Влияние хорватского языка» подводит некоторые итоги разысканий многих лингвистов, обращавшихся к изучению характера славянского влияния на указанный романоязычный идиом. Используя новые записи речи нынешних истрорумын-билингвов, автор высказывается в пользу сформулированной еще в начале 60-х гг. точки зрения, согласно которой славянское влияние было настолько сильным, что это привело к изменениям в самой структуре румынского диалекта. Это проявилось, в частности, в возникновении формальной категории глагольного вида, о чем свидетельствует не только наличие префигурованных глаголов (в том числе исковых!), выражающих совершенный вид, но и употребление в глагольной системе заимствованных славянских суффиксов для образования «вторичных имперфективов».

В докладе **Б. Видоеского** (Македония) «Македонский язык среди балканских славянских и неславянских языков» (к печати текст подготовлен З. Тополинской) дается обзор явлений, составивших в своем развитии специфику македонского языка (=«привели к оформлению самостоятельной македонской диасистемы»), с одной стороны, и ареальную характеристику македонского диалектного континуума, – с другой. Отмечая близость македонского и болгарского языков, автор обращает внимание и на такие инновации, которые ориентировали развитие фонологической и грамматической структуры македонского языка в ином направлении, чем это имеет место в болгарском ареале. Изоглоссы перечисленных явлений (рефлексы *ъ, *ь, совпадение рефлексов *ѣ и *е, протеза *j* перед *о, некоторые грамматические формы и др.), отмечает автор, образуют замкнутые линии и имеют сходное направление. Особо подчеркивается, что современная македонская диасистема обнаруживает большую близость с сербохорватским ареалом, чем с болгарским. Обратившись к теме влияния неславянских языков на славянские языки Балкан, Б. Видоески также отмечает ряд специфически македонских инноваций в синтаксисе, словообразовании, фонетике (например, назализация *a > a* в соседстве с носовыми сонантами). Инновации, развившиеся на македонской языковой территории, имеют свои ареальные особенности. Одни из них распространены на всей македонской территории и отличают ее от сербской и болгарской. Другие инновации захватывают только некоторые македонские диалекты при том, что в остальной части континуума представлены старые особенности (архаизмы), хотя и обнаруживающие тенденцию отступать под давлением новшеств. Специфическая ситуация представлена на пограничье с албанским, арумынским, греческим языками, где, с одной стороны, сосредоточены архаизмы, а с другой, – нередки явления, возникшие в условиях межъязыковых контактов. Автор доклада, специально комментируя ситуацию возникновения старославянской письменности, видит ее корни непосредственно в "македонском диалектном комплексе". Однако отождествление солунского диалекта VI в. с современными македонскими диалектами представляется дискуссионным.

Некоторые идеи, изложенные Б. Видоеским, развиваются и в докладе **К. Пеева** (Македония) "Прерывистые изоглоссы между славянским Севером и юго-восточными македонскими диалектами". Здесь излагаются итоги многолетнего изучения автором славянских говоров в Эгейской Македонии (в р-нах Сереса, Драмы, Салоник и др.). Специально подчеркивается важность указанной диалектной зоны для исследования соответствующих явлений в более широком славистическом контексте, поскольку в этих говорах фиксируются как многие архаизмы, так и инновации, для которых отмечаются соответствия в диалектах Северной Славии (ср. макед. *траче* 'тратить' ~ русск. *тратить* 'то же' и др.).

Доклад **Ю. Накадзима** (Япония) «Местоименные формы македонского языка с диалектной точки зрения» построен на соответствующих материалах Македонского диалектологического атласа и демонстрирует богатство вариантов некоторых личных

местоимений в формах *Casus obliquus*, создающееся, в частности, за счет удвоения/неудвоения форм (полная – краткая), наличия/отсутствия предлога *na* и др. Ареалогический подход позволяет автору выявить ряд зон бытования отдельных малочастотных форм, противопоставленных формам, имеющим наибольшее распространение в македонском диалектном языке. Это прежде всего – восточные и северо-восточные ареалы различной конфигурации (ср., например, ареалы форм, *тебе, на тебе те : тебе те; на вас ви, на вас : вам ви* и др.), но также и западные (и юго-западные) (ср.: *на вас ве, вам ви, вами ве : вас ве* [также – *вас*] и др.) и под.

Упомянем здесь и доклад **А.А. Плотниковой** «Культурно-языковое членение балканославянского ареала (на материале обрядовой терминологии)», посвященный проблеме ареалогической интерпретации взаимосвязи языка и особенностей духовной культуры в определенных зонах. Интерес к этой проблеме наметился в последние 20 лет и явился следствием успехов этнолингвистических исследований, главным образом, в России и в Польше. Автор анализирует лексику (=терминологию), «обслуживающую» некоторые обрядовые реалии в традиционной культуре балканославянской зоны, а именно – наименования святочных и масленичных «дружин», названия участников новогодних процессий с корнем *сува-*, термины весенне-летних обходов и термины, связанные с вызыванием дождя. Информативность доклада, несомненно, повышается благодаря наличию нескольких карт. Специальное внимание обращается на совпадение конфигураций тех или иных изолекс (геогр. изодокс) с некоторыми собственно языковыми изоглоссами, выявленными в свое время П. Ивичем (в частности, членищими южнославянский ареал на запад – восток, центр – периферию, а также на север – юг).

На XII съезде славистов были представлены доклады, посвященные отдельным особенностям конкретных славянских диалектов.

Если следовать географии расположения этих диалектов, начиная движение с запада на восток, то первым следует назвать доклад **Р. Беначчо** (Италия) «Резьянский диалект между славянским и романским. Морфосинтаксические особенности» (в Программе съезда – «Словенский говор внутри романского ареала: резьянский диалект»). Этот достаточно экзотический словенский диалект, описанный впервые И.А. Бодуэном де Куртенэ в XIX в., в последние годы вновь привлекает внимание лингвистов (ср.: [Steenwijk 1992]). Диалект обладает рядом особенностей, которые принято считать результатом романского влияния. Однако автор доклада справедливо полагает, что иноязычное влияние может быть эффективным в той мере, в какой оно соответствует внутренним тенденциям динамики развития диалекта или даже совпадает с некоторой славянской универсалией. Рассмотрение резьянских морфосинтаксических особенностей показывает, что контакт с романским языковым ареалом влиял на развитие диалекта, иногда усиливая или ускоряя определенные эволюционные тенденции (утрата среднего рода и, в еще большей степени, двойственного числа), в других случаях способствуя выбору одного направления синтаксической эволюции (местоименная проклиза, а не энклиза). Почти всегда, показывает автор, внешнее влияние на резьянский диалект находилось в согласии с «воспринимающей» языковой системой, чаще всего выполняя роль усилителя моделей, уже актуальных в славянской системе.

Л. Коленич (Хорватия) в докладе «Славонский диалект» дает характеристику хорватского диалекта «штокавского типа», бытующего, в частности, в центральной части Восточной Славонии, в хорватской части обл. Баранья и за пределами Хорватии. Отличительной особенностью этого диалекта является присутствие в нем ряда архаических черт в фонетике, морфологии и словообразовании.

Единственным докладом, в какой-то мере затрагивающим проблематику болгарской диалектологии (собственно – диалектной лексикологии), можно считать выступление **К. Колевой** (Болгария) «Метафора в славянской гидронимии». Среди примеров славянских апеллативов–оронимов (=гидронимов), возникших в результате «метафори-

зации» названий частей тела человека, присутствуют, несомненно, болгарские диалектные факты, ср. *ребър* 'водораздел', 'ребро горы', *рамодол* 'лощинка, в которой есть немного воды', *крак/нога* 'ряд камней, по которым можно перейти реку или болото' и под. В целом доклад вносит определенный вклад в изучение темы внутриславянских межъязыковых/междиалектных отношений, – ср., например, обозначение такого объекта, как 'рукав реки' (лексемы с корнями **rqk-*, **kork-//*noga*, **ramo*, **kolžno*, **mařka*), 'мыс' (репрезентанты **jezykь* и др.).

Г. Поповска-Таборска (Польша) в докладе «К специфике кашубско-нижненемецкой интерференции в области лексики», привлекая богатый материал, в первую очередь Кашубского атласа и иных диалектных источников, анализирует судьбу ряда лексем, заимствованных в результате непосредственных славяно-немецких контактов в северо-западной части кашубской зоны, где иноязычное влияние было особенно сильным.

А. Ференчикова (Словакия) в докладе «Типы сложных предложений с условным отношением между его частями в словацких диалектах в сопоставительном аспекте» исследует употребление некоторых союзов и их коррелятов в указанных типах предложений. Выделяются ситуации с "реальным" условием (союзы *ked'*, *ak/jak*, *až*, *ač*, *že*, *ježeli* и др.) и "ирреальным" (союзы *keby*, *aby*, *čoby*, *žeby*, но и *ked'*, *ak/jak*), особенности использования глагольных форм (в том числе от вспомогательных глаголов *môst*, *mař*), случаи употребления стилистически маркированных типов условных предложений. Автор также приводит аналогии из чешских, польских, украинских говоров.

Доклад **Л. Бартко, Н. Дзедзелевской, Ш. Липтака** (Словакия – Украина) «К характеристике словацких говоров на территории Закарпатской области Украины» посвящен рассмотрению того, как функционирование в иноязычной среде и в условиях специфических общественно-производственных отношений отразилось на словацких диалектах Закарпатской Украины. Носителями этих говоров являются потомки переселенцев XVIII–XIX вв. преимущественно из Восточной и отчасти Средней Словакии. Установлено, что в настоящее время эти диалекты настолько изменились, что их нельзя отождествить однозначно с каким-либо из диалектных типов метрополии. Словацкие говоры Закарпатья – это говоры смешанного типа. Анализируя явления различных языковых уровней, авторы распределяют говоры по пяти подтипам. Четыре из них представляют явления, объединенные в восточнословацком наречии, а пятый – комбинирует явления средне- и восточнословацкого наречия. Ситуация со словацкими диалектами в Закарпатья – частный случай той диалектной пестроты, которая характерна для пограничья между восточно- и западнославянскими языками.

Доклад **И. Рипки** (Словакия) «Типы славянских общенародных диалектных словарей» посвящен одной из центральных проблем славянской лексикографии. Автор излагает целостную концепцию фундаментального труда, реализуемого ныне словацкими учеными, – «Словаря словацких говоров» (=SSN) (1-й выпуск из 3-х опубликован и получил высокую оценку специалистов), и проводит сравнение по некоторым параметрам с другим важным научным проектом в славянской диалектологии – «Словарем польских говоров» (=SGP). **И. Рипка** подчеркивает, что решение задач подобного типа возможно лишь при условии достижения национальной диалектологией определенных успехов (например, при наличии большого числа монографических описаний отдельных говоров и их групп, лингвогеографического изучения диалектного континуума данного языка и др.). Поскольку диалектология изучает соответствующие языковые идиомы в плане территориальной дифференциации, признак ареальной характеристики лексических единиц является чрезвычайно важным для современного этапа развития лексикологии и лексикографии. Каждая национальная диалектология, по мнению автора, имеет свою специфику, непосредственно отражающуюся в теории и практике диалектологических исследований, в данном случае – в создании SSN.

Отсюда – внимание И. Рипки к концептуальным и прагматическим основам Словаря. (1) Составители SSN исходят из того, что идея так наз. «полных» диалектных словарей (=“тезаурусов”) теоретически сомнительна, а практически – нереализуема. (2) Диалект рассматривается словацкими учеными как пространственно и функционально ограниченное языковое образование, которое используется в целях коммуникации носителями языка определенной области (=зоны), и является территориально маркированным вариантом (формой) национального языка. Исследования показывают, что языковая ситуация в той или иной области Словакии может быть весьма сложной, поэтому диалектными словами нельзя считать – в с е лексемы, зафиксированные в речи носителей конкретного говора (например, не являются «диалектными» такие единицы, как *demokracia, mixér, penicilin* и др., и они, следовательно, не могут регистрироваться в диалектном словаре). Отсюда вытекает, что составлению словарей должны предшествовать специальное изучение и классификация собранных данных. (3) Географическая дифференциация диалектных лексем может отмечаться применительно ко всем языковым уровням, при этом, как свидетельствует опыт работы над SSN, возможны и различные способы отражения ее в словарных статьях. (4) Реализация концепции SSN и анализ собранного материала помогает выявить несколько т и п о в синонимических и омонимических отношений в лексической сфере словацких говоров, что позволяет уже в самом Словаре отражать явления «междиалектной» полисемии и омонимии, характерные для с о б р а н и я единичных (=частных) диалектных систем, т.е. в масштабах диалектного языка или его фрагментов. (5) Констатируется важность документации и многоаспектной квалификации каждой лексической единицы и словосочетания. Таким образом, данный доклад позволяет еще раз оценить продуктивность идей, лежащих в основе концепции SSN, а также последовательность их воплощения в данном труде.

Между прочим, высокое качество информации, содержащейся в SSN, косвенным образом подтверждается докладом словацкого лингвиста **Л. Кралика** «Из исследований праславянского лексического фонда в словацком языке (дополнения и исправления к Праславянскому словарю)». Характерно, что расширение корпуса словацких примеров, содержащихся в докладе, происходит прежде всего за счет д и а л е к т н о й лексики, которая извлечена именно из SSN (также – из Исторического словаря словацкого языка и ономастических картотек, хранящихся в Институте языкознания САН).

В докладах по восточнославянской диалектологии чаще всего рассматриваются явления русских диалектов.

В.Чекмонас (Литва) в опубликованном докладе «Аканье и оканье в северной части Псковской области (полновские говоры)» (в Программе съезда – «К проблеме прибалтийско-финского субстрата в псковских говорах») дает полное описание вокализма разных предударных и заударных слогов после мягких и твердых согласных в группе северо-западных русских говоров/частных диалектных систем. Подобное описание необходимо, поскольку использование принципа вокальной диссимилиации, с одной стороны, и вокальной ассимиляции, с другой, делает картину безударного вокализма в отдельных говорах исключительно индивидуализированной. В докладе описываются особенности ударения в анализируемых говорах, имеющего тенденцию сдвигаться на первый слог. Автор выдвигает предположение о динамике предударного вокализма: «...полновский вокализм (аканье – яканье перед *и, ъ, ѱ* и оканье перед другими гласными) является поздним новообразованием, сформировавшимся... в результате распространения окающих говоров в ареале гдовской системы (аканье–яканье перед *ѳ, ѳ, ѳ, ѳ* и оканье перед другими) предударного вокализма». Некоторые особенности этих говоров (гармония гласных соседних слогов, перенос ударения) автор связывает с влиянием финно-угорского субстрата. Данная постановка вопроса заставляет задуматься о механизме освоения славянской фонетикой такого инносистемного фрагмента, как уподобление вокальных компонентов фонетической модели слова.

Особенностям псковских говоров посвящен и доклад **З. Хонзелаара** (Голландия) «Диалект деревни Островцы Псковской области», опубликованный лишь в виде

резюме. Автора интересуют некоторые факты морфологии глагола (в частности, претерит муж. рода, ед. числа на *e*).

С.А. Мызников (Россия) в докладе «Лексика прибалтийско-финского происхождения в севернорусских говорах (лингвогеографический аспект)» исследует данный аспект проблемы славяно-неславянских языковых контактов с учетом ареального фактора и устанавливает распространение соответствующих лексем на обширной территории (часто в виде небольших «островков») в Новгородской и Ленинградской обл., в Карелии, и далее на восток – в Вологодской, Архангельской и др. областях. Помимо того, что рассмотренные явления представляют значительный интерес для славистики и финно-угроведения, в том числе для этимологии, доклад, на наш взгляд, может свидетельствовать об интенсивном продолжении серьезного лингвогеографического изучения русской региональной лексики (ср., в частности, труды Л.П. Комягиной, В.Я. Дерягина, начатые в 70-е гг.). При этом – не самой по себе, изолированно, но в контексте широких славяно-неславянских взаимодействий и интерференции, что, несомненно, будет способствовать все более активному использованию фактов из русских диалектов при построении современной теории языковых контактов.

Сходные проблемы обсуждаются в докладе **А. Алквист** (Финляндия) «Субстратная лексика финно-угорского происхождения в говорах Ярославского и Костромского Поволжья». Автор использует как собственные диалектные наблюдения, так и материалы Ярославского областного словаря (вып. 1–10. Ярославль, 1981–1996). Предметом анализа в докладе явилась лексика ландшафта, живой природы, деятельности человека и др., рассматриваемая в плане ее территориального распространения.

Последствия контактирования русских говоров и языков Сибири в лексической сфере, которые необходимо принимать во внимание прежде всего при этимологизировании «сибирских» лексических локализмов, детально рассмотрены в докладе **А.Е. Аникина** (Россия) «К характеристике крайневосточнославянской периферии славянского языкового пространства».

Тема изучения периферийных русских говоров отражена и в докладе **Т.Б. Юмсуновой** (Россия) «Русские говоры старообрядцев (семейских) Забайкалья как говоры переходного типа». Автор, в основном на материале лексики, решает проблему классификационного свойства – установление места указанного идиома среди других русских диалектов. При этом основным источником анализируемых данных является фундаментальный коллективный труд – «Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья», содержащий около 8000 статей и подготовленный ныне к печати. В конечном счете, этот словарь, вместе с известным лексикографическим трудом Л.Е. Элиасова ([Элиасов 1980]; подробный анализ достоинств и недостатков последнего см. в [Аникин 1997: 17–19]), позволит обеспечить всестороннюю характеристику лексического состава русских говоров указанной области.

Лишь в нескольких докладах использованы материалы по украинской и белорусской диалектологии.

Отметим доклад **В.А. Дыбо** и **С.Л. Николаева** (Россия) «Новые данные и материалы по балто-славянской акцентологии», который в своей первой части выполнен на материале черниговских полесских говоров украинско-белорусского пограничья. Рассматривается система отражения праславянских интонаций в указанных говорах. Анализируя диалектную фонетику, в том числе и с помощью тонограмм (их 142) из двух говоров, авторы делают заключение, что традиционное представление о том, что тоновые различия сохранились лишь в словенских и сербско-хорватских диалектах, ошибочно. В.А. Дыбо и С.Л. Николаев считают, что силлаботональные оппозиции можно найти в указанных черниговских говорах.

М. Абрагимович, **Е. Волкова**, **Я. Козловская-Дода**, **И. Лучиц-Федорец**, **Р. Малько**, **А. Ошчик**, **Г. Цыхун** (Беларусь) в докладе «Межславянские изолексы в белорусских этимологических словарях» отмечают, что традиционным для белорусской историко-этимологической лексикографии является повышенный интерес к ареальной харак-

теристике при документировании языковых фактов (ср. многотомный «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы» и однотомный «Беларускі этымалагічны слоўнік»). Актуальность следования указанному принципу обусловлена центральным положением белорусского языка в Славии и – как следствие – открытостью его для языковых (и культурных) влияний. Наибольшей эвристической ценностью, по мнению авторов, обладают эксклюзивные сепаратные схождения (например, между белорусскими и южнославянскими диалектами).

На XII съезде славистов значительное внимание было уделено проблемам исторической диалектологии. В этом отразилась тенденция последних лет, во многом связанная с расшифровкой новгородских берестяных грамот. Тексты этих грамот создали основание для реконструкции средневекового говора северо-западного региона России. Сопоставление полученных данных с современными говорами тех же территорий позволило выстроить диахроническую линию их развития. В ходе этих разысканий возникла гипотеза, согласно которой русские говоры северо-запада продолжают собой идиом, не вписывающийся в концепцию восточнославянского/древнерусского единства. Эта идея не всеми славистами-русистами воспринята как бесспорная, но ее значение в качестве стимула размышлений относительно древнего периода истории славянских языков/диалектов несомненно. Характерно, что на съезде почти все доклады по исторической диалектологии так или иначе соотносятся с исследованиями берестяных грамот А.А. Зализняка. Новый этап в изучении этих памятников письменности и возникающие при этом проблемы были охарактеризованы А.А. Зализняком (Россия) в его докладе «Проблемы изучения берестяных грамот». В дополнение к этому в своем устном сообщении А.А. Зализняк рассказал о результатах новгородских раскопок 1998 г. и сделанных при этом лингвистических открытиях.

В докладах по исторической диалектологии обсуждаются явления достаточно раннего периода.

Доклад Г. Андерсена (США) "Дифференциация общеславянского языка. Парадокс разных тенденций развития, имеющий значимые локальные результаты" преследует цель показать три исследовательские стратегии, которые могут помочь в понимании сущности дезинтеграции общеславянского языка. Это 1) опора на универсалии лингвистического изменения, 2) учет различий в развитии центральных и периферийных диалектов, 3) внимание к различиям в языковом общении между гомогенным и гетерогенным сообществами говорящих. В качестве примеров приводятся три праславянских фонетических изменения, каждый из которых иллюстрирует универсалии развития, но в то же время включает ареал несоответствия общей тенденции, что, как считает автор, нуждается в объяснении *ad hoc*. Это ослабление (= лениция) *g; 1-я и 2-я палатализация *g; рефлекс *dj; частичная веларизация передних гласных; специфика второй/третьей палатализации в северо-западном регионе Восточной Славии.

Г. Гольцер (Австрия) в докладе "Об общеславянском диалектном континууме" определяет характер праславянских изменений, придающих собранию праславянских диалектов статус континуума, означающего непрерывность перехода друг в друга разных идиомов. Это такие фонетические сдвиги, как 1) частичное наложение одной инновации на другую ($dl > l$ на $ojq > q$), 2) нарушение генеральной волны инновации благодаря включению в нее большей обусловленности ($k\check{e} > c\check{e}$ лишь при отсутствии признака лабиальности у задненебного), 3) разнонаправленная нейтрализация ($dz - z > dz - dz$ или $z - z$). Заимствование также создает эффект переходности.

Г. Бирнбаум (США) представил доклад "На периферии: наиболее ранние свидетельства о двух позднепраславянских диалектах". Автор исходит из того, что праславянский период продолжался приблизительно до конца XII в. Имея это в виду, можно считать, что письменную фиксацию позднепраславянских диалектов содержат ранние старославянские тексты (X–XI вв.), поскольку отражают солунский диалект, и берестяные новгородские грамоты (XI–XII вв.). Эти тексты, соответственно, репрезентируют диалектное состояние южной и северной окраины праславянского континуума.

Г. Бирнбаум, опираясь на имеющиеся в науке сведения о старославянских текстах, с одной стороны, и на вновь открытые черты языка берестяных грамот, – с другой, сопоставляет прадиалекты Юга и Севера с точки зрения рефлексации в них отдельных элементов праславянской фонетики и некоторых морфологических особенностей. Констатируется различие между двумя ареалами: в рефлексации **tj* (**kt'*), **dj*, которая, как считает автор, в солунском диалекте имела вид *s't'*, *z'd'* (что отражено в глаголице), в древненовгородском – *č*, *ž*, древнепсковском – *k'*, *g'*, которые позже отвердели перед непередними гласными; в сохранении на Юге, а также на Западе назального рефлекса **e*, **o* и утрате его на Севере в дописьменный период. В то же время Г. Бирнбаум считает возможным констатировать фонетическое качество **ě* в виде *a* не только для Юга и Запада, но и для новгородского Севера, аргументируя это фонетикой ранних финских заимствований. Такую специфическую новгородскую черту, как отсутствие результатов второй палатализации типа *k > c*, *x > s*, Г. Бирнбаум считает архаизмом, характерным для периферии Славии и выражающимся в отсутствии этой фонетической мены как таковой, а не связанной с задержкой монофтонгизации *oj > ě*, как это утверждает В. Вермеер [Вермеер 1997]. Рассматривая явления морфологии, Г. Бирнбаум останавливается на разной представленности некоторых форм прошедшего времени в старославянском и в берестяных грамотах, на разной форме личного местоимения 1 л. ед. числа – *jazъ ~ azъ*. Рассматриваются такие особенности берестяных грамот, как флексия *-e* им. пад. сущ. основ на **o* (смешение форм им. и зв. в двуязычной финно-славянской среде); параллелизм *-e* и *-y* в вин. мн. сущ. основ на **o*. Автор излагает свой взгляд на генезис древненовгородского диалекта, считая, что он восходит к диалекту ильменских словен, на который лишь позже наложился кривичский, тем самым расходясь во мнении с А.А. Зализняком, считающим, что новгородский диалект продолжает племенной диалект кривичей.

Сужение праславянской темы до генезиса одного языка репрезентирует доклад Г. Шустера-Шевца (Германия) "Позднепраславянские инновации и их отражение в структуре изоглосс серболужицких языков". На основе анализа хронологии и территориального распространения позднепраславянских фонетических инноваций (а это практически все главные показатели дробления праславянского на "макродиалекты") автор приходит к выводу, что серболужицкие языки не только показывают генетическую связь с восточнолехитским (польским) регионом, но и близость к старому юго-восточному крылу праславянского, образованному чешскими и словацкими диалектами, а также частично к восточнославянскому, особенно к украинским диалектам. Формирование серболужицких языков/диалектов Г. Шустер-Шевц связывает с позднепраславянскими волнами миграции на северо-запад в область поселения древних лужичан.

Автор доклада "Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне" В.Б. Крысько (Россия) принадлежит к числу тех лингвистов, которые скептически относятся к генетическому отождествлению древненовгородского диалекта (= ДНД) в том его виде, как он отражен в берестяных грамотах, с западнославянским типом развития. С целью показать несостоятельность этого положения В.Б. Крысько рассматривает динамику явлений, присущих русским говорам северо-запада. Список объединяет 39 явлений фонетики и морфологии, которые располагаются в хронологической перспективе: праславянские архаизмы – праславянские диалектизмы – восточнославянские инновации – общеновгородские диалектные явления – инновации отдельных новгородско-псковских говоров. Автор утверждает, что рассмотренные им явления на разных этапах своего развития не дают основания противопоставлять ДНД другим восточнославянским и генетически связывать с западнославянским ареалом. Такие специфически новгородские черты, как отсутствие второй палатализации заднебных, *гл*, *кл* на месте **dl*, **tl*, совпадение дентальных и переднебных спирантов, **ъ > e* перед *j* и др. могут быть результатом самостоятельного развития диалектов, образующих периферию восточного, а не западного славянства. Точка зрения В.Б. Крысько на

генезис ДНД совпадает с приведенным выше мнением Г. Бирнбаума, – он связывает этот диалект с ильменскими словенами, которые, в свою очередь, имели корни на юго-западе древнерусской территории (Галиция, Западная Волынь). Нам кажется, что вопрос о генезисе новгородско-псковских говоров вряд ли может иметь решение, которое будет принято всеми, но обсуждение данной проблемы всегда интересно. В докладе обращает на себя внимание мнение автора о характере аргументов, позволяющих судить об истории диалектов вообще и об их раннем состоянии в частности. Как ни странно, из состава таких аргументов исключаются показания диалектологии, в том числе и лингвогеографии. Использование диалектных данных, по мнению В.Б. Крысько, корректно лишь в тех случаях, когда речь идет об архаизмах, зафиксированных и в памятниках письменности. Попытки интерпретировать диалектные изоглоссы как показывающие диахронию в синхронии превращают диалектологию, по словам В.Б. Крысько, в "дисциплину ретроспективную, реконструктивную, а по сути дела в деструктивную". Это утверждение находится в известном противоречии с опытом славянской лингвогеографии, когда зафиксированные на карте компоненты диалектного различия могут быть выстроены в хронологически маркированную линию. Проблеме извлечения диахронической информации из диалектной карты уделил специальное внимание Р.И. Аванесов на V съезде славистов. Он писал, что показанная на карте диалектная система может быть интерпретирована с включением фактора времени. Это дает "одномерные изоглоссы особого рода, которые мы называем хроно-изоглоссами", – они "указывают на общность и различия языковой системы во времени при выключенном пространстве (т.е. применительно к одной территории) и представляют собою одну из основных категорий истории языка". И далее: «...Пучки хроно-изоглоссы определенного комплекса языковых явлений, проходящие в одно время или во времени близко друг к другу, позволяют выделить временные варианты системы языка, каждый из которых характеризуется единством по отношению к данному комплексу языковых явлений, а также смену систем и "критические" переходные эпохи, к которым относятся отдельные хроно-изоглоссы данного пучка. Именно на их основе строится структурная периодизация истории языка» [Аванесов 1963: 299].

Сопоставительный подход позволил Ю. Дудашовой-Кришшакowej (Словакия) в докладе "Особенности восточнословацких диалектов незападнославянского происхождения" представить картину сложных процессов формирования словацких говоров Восточной Словакии. Анализируя явления разных языковых уровней, автор сосредотачивает внимание на словацко-украинском языковом параллелизме. Некоторые из подобных явлений – следствие внутреннего развития указанных словацких диалектов, другие могли быть стимулированы (= мотивированы) воздействием украинских говоров в ходе длительных и интенсивных украинско-словацких контактов. В качестве примеров первого пути развития автор называет следующие (имеющие статус архаизмов): корреляция твердости/мягкости согласных в сотацких говорах, сужение $o > \rho$ и $e > \epsilon$, билабиальный ζ (сотацкие и ужские) и др.; из морфологических явлений автор рассматривает флексии 1 л. ед. числа наст. вр. глаголов на *-и*. В качестве результатов украинского влияния на словацкие говоры упоминаются рефлекс $o < *ъ$ (*pisok, parobok*, при зап.-слвц. *pisek, parobek*), флексии *-oho, -omu* в прилагательных муж. р. (*dobroho, dobromu*, при зап.-слвц. *dobreho, dobremu*), флексия *-оу* в тв. жен. р. ед. числа (*ženoу, sinoу* и под.), а также многочисленные украинизмы в лексике (при этом есть случаи, когда подобные слова не сохранились в самих украинских говорах). В заключение обращается внимание на резкое изменение социолингвистической ситуации в зоне словацко-украинского пограничья после 1945 г., когда языковая граница стала государственной. Это привело к существенному сокращению контактов, в том числе языковых, и способствовало в дальнейшем самостоятельному и независимому развитию словацких говоров в земплинской, сотацкой и ужской микроразнонах.

История одного диалекта является предметом рассмотрения в докладе Х. Брийнен

(Голландия) "Фонологическое развитие слепянского диалекта в XIX–XX вв." Этот диалект расположен между нижнелужицкой и верхнелужицкой территориями и в серболужицкой диалектной классификации относится к числу пограничных. Реконструкция изменений в диалекте производится на основе сопоставления трех разновременных фиксаций диалекта. Это – 1) рукопись крестьянина – носителя диалекта начала XIX в., 2) публикация ее фрагментов в конце XIX в. – автор публикации внес коррективы в диалектные черты рукописи сообразно своему языковому опыту и орфографическим представлениям и 3) современные диалектные тексты. Х. Брийнен делает выводы о фонологических изменениях, произошедших в диалекте со времени его первой фиксации. Некоторые суждения автора вызывают сомнения прежде всего потому, что письменная фиксация диалекта начала и конца XIX в. слишком прямолинейно оценивается как буквальное отражение фонетических черт диалекта (практически как транскрипция). Ряд явлений, которые автор считает чертой фонетики диалекта, на самом деле можно объяснить отсутствием графических средств для передачи их в рукописи начала XIX в. и определенной орфографической традицией, принятой к началу XX в. Это касается утверждений о якобы отсутствии губных мягких фонем; о незаконченности к началу XIX в. изменения $o > \acute{o}$ после губных и заднеязычных не перед губными и заднеязычными (это явление достаточно старое), о незаконченности изменения палатализованного вибранта после t, k ; об отсутствии фонемы $/\acute{e}/$ в более ранней фиксации и наличии ее в более поздней.

В докладе **Л. Беднарчука** (Польша) "Языковые связи Южной Польши с территорией Великой Моравии" рассматривается вопрос о том, какие особенности южно-польских диалектов можно считать отражением тех связей с регионами к югу от Карпат, которые были актуальны для Южной Польши в средние века (IX–XI вв.). Автор устанавливает территорию бытования таких польско-чешско-словацких особенностей, как стяжение гласных в связи с утратой интервокального j , внешнее сандхи типа $d \# V, Son$, произношение заднеязычного η перед g, k , место ударения в слове, фрикатизация r' , явления лексики, ономастики. На основе этого делается вывод, что в ранний период в рамках западнославянской группы выделялась региональная языковая общность, черты которой позже нашли продолжение в современных чешских, словацких и южнопольских говорах.

Исторической интерпретации одного диалектного явления посвящен доклад **Л.Л. Касаткина и Р.Ф. Касаткиной** (Россия) "Рефлексы редуцированных гласных в конце слова в русских говорах". Авторы выдвигают предположение, что в некоторых русских говорах можно найти свидетельства сохранения слабых редуцированных в конце слова, где они изменились в o (реже e) или представлены в своем первоначальном качестве (= "краткие нелабиализованные типа современных $\text{ъ}, \text{ь}$ "). Подтверждение этого авторы видят во встречаемом в некоторых говорах произношении o вместо ожидаемого \emptyset на конце падежных форм существительных, глагольных форм, оканчивавшихся на $*\text{ъ}, * \text{ь}$. Произношение с конечным o в каждом говоре не носит генерального характера, а выступает в особых фонетических условиях как вариант, причем более редкий, наряду с \emptyset . Авторы отказываются от возможного отождествления им. пад. ед. числа существительных на $-o$ с членной формой на $-om$, утратившей конечный согласный (ср. болгарскую и македонскую аналогию). В частности, потому, что приравнивают фонетические правила сочетания слова с $-om$ к сочетаниям с другими энклитиками (например, *ли, ведь*). Как кажется, при этом не учитывается существенное исходное семантическое различие между этими морфемами. Однако важнее то, что возведение гласного o к слабому редуцированному, якобы сохранившемуся в конце слова, наталкивается на такое препятствие, как "правило Гавлика", по которому гласным полного образования заменяется только сильный редуцированный, а перед слогом с сильным редуцированным может быть только слабый редуцированный. Согласно этому, $*ovъsъ$ не мог дать $ov'oco$ (пример из доклада), а только $ov'os$; могло бы быть $ovso$ при перенесении ударения на конечный $*\text{ъ}$, что придало бы

ему статус сильного, но таких примеров в докладе нет. Рассматриваемое авторами явление не относится к рефлексии редуцированных, – более вероятно, что оно отражает все-таки использование местоимения **тѣ*. В этой связи можно заметить, что на сходство постпозитивной частицы *-то* (< **тѣ*) севернорусских говоров с притяжательными суффиксами 2 и 3 л. вин. пад., превратившимися в постпозитивные частицы в некоторых финно-угорских языках, указано в докладе **М. Лейнонен** (Финляндия) "Постпозитивная частица *-то* в севернорусских говорах и определенно-указательные суффиксы коми языка".

Лишь в нескольких докладах затронут социолингвистический аспект диалектологии. **О. Поляков** (Литва) в докладе "Западнополесский литературный язык" обсуждает возможность создания "четвертого восточнославянского литературного языка" на основе говоров Западного Полесья, входящего в состав Белоруссии (преимущественно) и Украины. Автор рассматривает историю формирования идеи создания "ятвяжского" языка и дает комментарий к кодификации некоторых явлений фонетики, морфологии и лексики.

Доклад **И. Удвари** (Венгрия) «Лингвистическое отражение венгерско-русинского сосуществования в "Наші співанки" Ивана Петровича» посвящен опыту создания регионального литературного русинского языка, отраженному в одном из произведений указанного автора. В его языке присутствует большое число унгаризмов, что докладчику кажется естественным для ситуации венгерско-русинского билингвизма. Изъятие унгаризмов может нарушить естественность языковой ткани. Адаптация подобных иноязычных элементов рассматривается и на примере языка русинов области Бачка (Югославия).

Д. Пандев (Македония) в докладе "Социальный диалект сербского населения в македонской среде" обсуждает тему "язык города" в том ее виде, как она предстает в существовании небольшой языковой группы в иноязычной среде. Предметом исследования является функционирование сербского языка замкнутой группы его носителей в македоноязычной среде г. Скопье. Ситуация точно датирована – до и после распада Югославии. После 1991 г. употребление сербского языка уменьшается, – происходит или интерференция, или последовательное разграничение двух языковых систем.

М. Жилак (Венгрия) в докладе "Отношение словаков, живущих в Венгрии, к кодификации литературного языка Л. Штура" рассматривает вопрос об отношении носителей диалектной формы языка к соответствующему литературному "стандарту" в зависимости от таких экстралингвистических факторов, как островное положение носителей диалекта (в данном случае – словаков в Венгрии) и дифференциация их поселений по социальному и культурно-профессиональному признакам. Специфика отношения к словацкому литературному языку проявляется в допустимости большого числа диалектизмов, а также в сохранении многих архаичных слов, вышедших из употребления в метрополии.

З. Грень (Польша) в докладе "О лингвистических проблемах польско-чешско-словацкого пограничья" описывает лингвистическую ситуацию в Цешинской Силезии с синхронной и диахронической точек зрения. Обращает внимание на то, как влияют на структуру диалектов экстралингвистические факторы (социально-политические и под.), действующие в рамках интенсивных контактов родственных языков (= диалектов). Автор предлагает некоторые специальные методы исследования подобных ситуаций.

Проблемы собственно социального диалекта/жаргона рассматриваются в докладе **А. Лукашанец** (Беларусь) "Славянские социальные диалекты: сравнительно-типологическая характеристика". Анализируя разновидности социальных диалектов славянских языков, автор выявляет элементы генетической и частично типологической близости между ними. Генетические отношения (= общность происхождения) прослеживаются в "тайных" языках, используемых представителями некоторых профессий (например, странствующими торговцами), в старых криминальных жаргонах и под. Типоло-

гическое сходство характеризует социальные диалекты более позднего времени (современные жаргоны преступного мира и молодежный сленг) и проявляется, в частности, в общности структуры новых славянских социальных диалектов, в сходных типах номинации, в общих принципах развития и функционирования, в том числе в их отношении к литературным языкам.

* * *

Анализ диалектологической проблематики, представленной в докладах на XII международном съезде славистов, позволяет сделать следующие выводы.

Приоритетное место в изучении славянских диалектов продолжает занимать лингвистическая география. Лингвогеографические штудии не только дают новую информацию о дифференциации славянского диалектного континуума, но и позволяют выдвигать новые как синхронные, так и диахронические интерпретации зафиксированных фактов. Анализ диалектологических карт как источника специфической информации предполагает теоретическое осмысление диалектного континуума в качестве структурированного языкового пространства, образуемого постоянными и вариативными звеньями, т.е. комбинацией стабильных компонентов и диалектных различий. В этом смысле максимально информативными являются карты, охватывающие все славянские диалекты, а именно – карты ОЛА.

В области синхронного изучения современных славянских говоров преимущественное внимание на съезде было обращено на сопоставительный анализ различных явлений. Отметим и значительное увеличение числа докладов, посвященных проблемам контактирования и интерференции на диалектном уровне, – как в рамках межславянских, так и славяно-неславянских отношений.

XII съезд славистов показал несомненное усиление интереса к исторической диалектологии. Все чаще слависты обращаются к сравнительно-историческим исследованиям, привлекая все в больших масштабах диалектные факты. Правда, внимание ученых, как показал и последний съезд, концентрируется пока на хотя и важном, но ограниченном круге тем, – например, на проблеме восточнославянского лингвистического единства. Существенную роль в активизации подобных работ играет введение в научный оборот данных средневековых текстов новгородских грамот.

К сожалению, ныне сложилась такая практика формирования тематики съездов, при которой в докладах по диалектологии отдается предпочтение сопоставлению явлений нескольких языков. Отсюда – типичной является ситуация, характерная и для Краковского съезда, когда факты диалектов одних языков (например, словенского, хорватского, македонского, польского, словацкого, русского) использовались в докладах достаточно широко, а данные других языков (болгарского, сербского, украинского, белорусского) – весьма ограниченно. Поэтому не нашла должного отражения и оценки интенсивная работа по разноуровневому описанию диалектов, ведущаяся в отдельных национальных диалектологиях. Ценность же этих исследований особенно велика, потому что они в большей своей части базируются на полевом материале, собранном по специальным программам.

Невнимание к этому аспекту диалектологических разысканий в известной мере ограничивает представление о состоянии и перспективах современной славянской диалектологии в целом, – тем более, что в настоящее время практически в каждой славянской стране, несмотря на различные трудности, осуществляются масштабные проекты (лингвогеографические, лексикографические и под.), связанные с задачами углубленного изучения конкретных диалектов.

Примечание. В заключение считаем необходимым привести список трудов, в которых репрезентирована диалектологическая тематика на XII МСС.

Македонска АНУ. Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука. XXII, 1–2. Скопје, 1997; Мовознавство, № 2–3. XII Міжнародний з'їзд славістів. Доповіді української делегації Київ. 1998; Научные доклады филологического факультета МГУ. Вып. 3: К XII Международному съезду славистов в Кракове. М.,

1998; Проблемы славянского языкознания. Три доклада к XII Международному съезду славистов. М., 1998; Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998; XII Medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava, 1998; XII Międzynarodowy kongres slawistów. Kraków, 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. Warszawa, 1998; American Contributions to the Twelfth International Congress. Literature. Linguistics. Poetics. 1998; Contributi italiani al XII Congresso internazionale degli slavisti. Napoli, 1998; Croatica. 45–46. Zagreb, 1998; Lëtopis. Časopis za reč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow. 45. Bautzen / Budyšin, 1998; Romanoslavica. XXXV. București, 1997; Slavica Slovaca. 33, č. 1. Bratislava, 1998; Slavistica Vilnensis. 1998 (XII Международный съезд славистов. Доклады литовской делегации). Вильнюс, 1998; Slovenská reč. 63, č. 1. Bratislava, 1998; Studia Slavica Finlandensia. XV. Helsinki, 1998; Studia Slavica Hungarica. 42. Budapest, 1997; Studies in Slavic and General Linguistics. Vol. 24. Amsterdam–Atlanta, 1998; Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9. Językoznawstwo. Prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998. Warszawa, 1998.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ананьева Н.Е.* 1997 – О проекте Атласа польских говоров Белоруссии, Литвы и Украины // Исследования по славянской диалектологии. 5. М., 1997.
- Аникин А.Е.* 1997 – Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Новосибирск, 1997.
- Аванесов Р.И.* 1963 – Описательная диалектология и история языка // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. М., 1963.
- Аванесов Р.И., Калынь Л.Э.* 1983 – Обобщающие карты как особый тип карт в ОЛЯ // ВЯ. 1983. № 4.
- Бернштейн С.Б. и др.* 1993 – Проблемы дифференциации славянского диалектного ландшафта (по данным ОКДА). М., 1993.
- Вермеер В.* 1997 – О племенах и изоглоссах // Псковские говоры. История и диалектология русского языка. Осло, 1997.
- Калынь Л.Э.* 1994 – Об одном диалектном различии в украинском вокализме // Проблеми сучасної ареалогії. Київ, 1994.
- ОЛЯ 1979 – Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1979.
- Элиасов Л.Е.* 1980 – Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
- XII MKS. Program – XII Międzynarodowy Kongres slawistyczny. Program. Kraków, 1998.
- SSN – Slovník slovenských nářečí. I. Bratislava, 1994.
- SGP – Słownik gwar polskich. 1–14. Kraków, 1979–1996.
- Steenwijk H.* 1992 – The Slovene dialect of Resia // Studies in Slavic and general linguistics. V. 18. Amsterdam – Atlanta, 1992.
- Wenzel W.* 1994 – Studien zu sorbischen Personennamen. Teil. III: Namenatlas und Beiträge zur Siedlungsgeschichte. Bautzen, 1994.

© 1999 г. Е.М. ВЕРЕЩАГИН, В.Б. КРЫСЬКО

**НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЯЗЫКОМ И ТЕКСТОМ
АРХАИЧНОГО ИСТОЧНИКА – ИЛЬИНОЙ КНИГИ***

Кáмень, ёгоже неврегоша зйждѣцѣи,
сѣй бысть во главѣ оугла. Пс. 117, 22

Б

Переходим к анализу лексических примет Ил, позволяющих судить о происхождении ее протографа и об истории бытования книги.

Само понятие *приметы* мы, с небольшими модификациями, интерпретируем в смысле Д.С. Лихачева. Это понятие относительно: примета одного определенного письменного источника может быть выявлена лишь при его сличении с определенным другим письменным источником. Стоит перемениться объекту сличения, как ранее установленная примета, весьма вероятно, утратит свою эвристическую ценность.

Согласно концепции Д.С. Лихачева, число признаков, по которым один список, одна редакция, один извод отличается от другого, как правило, очень велико. Поэтому исследователь должен выявить *повторяющиеся, типичные признаки* данной рукописи, которые столь же регулярно отсутствуют в другой, близкой и сопоставимой. По некоторым основаниям отдельные признаки группируются; совокупность однородных признаков и есть *примета*. «Приметы – это наиболее характерные признаки принадлежности текста к той или иной группе, редакции или виду редакции. Это не всегда самые крупные признаки, не всегда даже самые существенные, но зато они неизменны для данной группы, редакции или вида» [Лихачев 1962: 207]⁷⁸. Ученый замечает, что приметы могут не отличаться и высокой частотностью; условием является только то, чтобы признаки, создающие примету, в разумном большинстве повторялись и, стало быть, были предсказуемы.

Понятие *приметы*, как говорилось, сопряжено с сопоставительным анализом и предполагает сличение одной рукописи с другой или с другими. Для Ил наиболее близкими по времени являются «типографские списки», изданные И.В. Ягичем, – они и подключаются к анализу. Поскольку в «типографском комплекте» декабрьский том отсутствует, пришлось «заменить» его рукописью ГИМ Син. 162⁷⁹. Другие древние миinei (Путятина, Миinea Дубровского) не содержат текстов, которые имелись бы в Ил. При параллельных сопоставлениях текст Ил всегда набирается прямым шрифтом, а текст «типографских списков» (сокращенно: Тп) и Син. 162 – всегда курсивом.

Всего ниже рассматриваются две различные и в то же время одноаспектные

* Начало статьи см. ВЯ. 1999. № 2. Раздел II (А, Б) написан Е.М. Верещагиным.

⁷⁸ Здесь и далее мы излагаем суждения ученого, не модифицированные им во 2-м издании. Предпочитаем, однако, цитировать 1-е издание, поскольку хотелось бы уклониться от определенной компрессии текста в версии 1983 г.

⁷⁹ Для сопоставления последований этого месяца привлекается нотированная Служ. миinea за декабрь XII в. Синодального собрания ГИМ (Син. 162; описание см. [СК: № 83]).

приметы: они обе относятся к качеству связи соответственно Ил и Тп с греческим антиграфом⁸⁰.

Первой приметой, характерной для Ил на фоне Тп, является присутствие довольно большого числа непереведенных (заимствованных, временами и неадаптированных морфологически) греч. слов. Они, напротив, переведены и морфологически адаптированы в Тп.

Соответствующий материал довольно обилен; из него произведена репрезентативная выборка⁸¹.

I. Из канона на Крестовоздвижение (9^г 3-4):

᾽Ως ἐπαφῆκε ραπίσομένη ὕδωρ ἀκρότομος

егда испоустн оударяемъ| въ водѣ акратомъ

яко испоустн оударяемъ водоу камень.

Аллюзируется известный библейский эпизод, когда Моисей дважды ударил в скалу своим железом, «и потекло много воды, и пило общество и скот его» (Числ 20, 10; ср. также Исх 17, 6; Втор 8, 15). И.В. Ягич отмечает, что лексема **акротомъ** остается, как он пишет, «непереведенной во всех древних текстах» [Jagić 1913: 302]. Он же свидетельствует, что замена **акротомъ** слав. эквивалентом **несѣкомъ камыкъ** совершилась лишь в более поздних источниках. Исчерпывающую справку о лексеме **акротомъ** см. на ее алфавитном месте в [SJS] и в [CCC].

II. Из стихирь евангелисту Луке (27^г 1-2)

κρηπίδα⁸² καὶ θεμέλιον τῆς πίστεως

крипидѣ и вѣрѣ же основаннѣ

степень и вѣрно же основаннѣ.

⁸⁰ Критического издания текстов греч. служ. миней, за исключением ирмосов в их составе, не существует. Наилучшими считаются т.н. римские (шеститомные, по два месяца в томе) минеи [Μηναῖα 1888/1901] (обозначаются литерами MR), подготовленные по древнейшим (XI–XIII вв.) рукописям (при участии кардинала Ж.-Б. Питра [1812–1889]) и согласованные с архаичной криптоферратской литургической практикой. Они напечатаны по нормализованной орфографии и с привнесением современной пунктуации (см. [Beck 1977: 251–252]). (На MR опираются все «минейные филологи» и, в частности, издатели древнейшей слав. Декабрьской минеи.) Мы пользовались также, где это было возможно, криптоферратской четырехтомной Антологией Римских миней, изданной совсем недавно [Ανθολόγιον 1967/1968], поскольку в ней более последовательно проведено различие между синтаксической пунктуацией и музыкальным фразированием (помечаемым астерисками). Отсутствующие в MR тексты, пока только по отношению к декабрю, восполнялись обращением к [Analecta 1976]. Греч. рукописи были привлечены пока также только по отношению к декабрю, и их перечень содержится в [Rothe, Verešagin 1996: XLIV–XLV]. И.В. Ягич опирался на издание, подготовленное Варфоломеем Кутлумусианом и вышедшее в свет в Венеции в 1843 г. (практически оно стало официальной богослужбной книгой Греч. церкви; мы его привлекали в новейшей версии издательства «Φῶς» [Μηναῖον]). Учитывался, естественно, греч. текст, извлеченный Ягичем из рукописей [Ягич 1886: 517–606]. MR и Миней Кутлумусиана, отражая единообразную литургическую практику середины XIX в., по составу текстов почти не различаются между собой и не содержат существенных разночтений. По поводу оценки достоверности греч. текстов как оригиналов слав. переводов нами была принята практика Ягича и других издателей слав. переводных текстов (например, см. [Dostál, Rothe 1977–1990]), а именно: если печатный греч. текст и слав. перевод рукописной минеи (или другой богослужбной книги) совпадают, то к соответствующей греч. версии следует относиться с доверием; если же есть расхождение, необходимо разыскания непосредственно по греч. рукописям. Что касается ирмосов, то греч. Ирмологий научное издание – имеет [Εἰρηολόγιον 1932].

⁸¹ Используется эдиционная методика так наз. билинейного сопоставления (см.: [Верещагин, Юрченко 1996; Верещагин 1996б]). Она сложилась под влиянием текстологической установки, сформулированной, с опорой на предшественников, Д.С. Лихачевым: «При сличении текстов необходимо, чтобы оба сличаемых текста лежали как можно ближе друг к другу» (в противном случае, вследствие закономерностей человеческого восприятия, возникают ошибки и промотры) [Лихачев 1962: 164].

⁸² Κρηπίς – '(мужской) башмак, полусапог', отсюда перен. 'фундамент, основание (при строительстве)'.

Ни в Ягичевом перечне «Непереведенные выражения и их замена» [Jagić 1913: 299–322], ни в обоих словарях старослав. языка лексема **крипида** не представлена.

III. Из канона на Введение (55^v 10):

Μαρία ἡ ἄχραντος καὶ ἔμψυχος σκηνή

Мариа прч(с)таа и непорочна скнии

Марие прчстаа и дивнаа сѣни.

Σκηνή (букв. 'шатер, шалаш, палатка', отсюда конкретно-исторически: 'скиния, переносное святилище блуждавших в пустыне иудеев') в христианской гимнографии стала образным именовани^{ем} Богоматери. В Тп вместо **скнии** (похоже, что морфологическое освоение греч. слова не состоялось) стоит слав. соответствие **сѣнь**. Лексема **скнии** встретилась в Ил еще три раза, но уже в освоенном виде: 34^r 20, 63^r 3, 121^v 9. В Тп она может замещаться также лексемой **храмъ** (68^r 18–19):

ἐν ταῖς τοῦτων νῦν αὐλλίζη σκηναῖς.

въ скнииниа ихъ съ ними въдварамъ сѧ.

вз тѣхъ въдвараниши сѧ храмѣхъ.

Ягич отмечает, что заимствование **скнии** было рано вытеснено слав. лексемами (**кровъ, сѣни, кѣща, храмъ**). «Эти несовпадения (в переводах. – *Е.В.*) говорят о том, что первоначально слово употреблялось в непереведенной форме» [Jagić 1913: 318].

IV. Из канона пророку Илии (146^v 5-7)⁸³:

τῆ μηλωτῆ τὸν ροῦν τὸν Ἰορδάνιον ὁ Θεοβίτης περαιωθεὶς

милотню| потокы иерданьскыа прѣшьдъ,| славьне тезвито,

милотью потокы иерданьскыа, тезвитѣни, пришьдъ.

Атрибут пророка Илии – **Фесвитянин** (ϕεσπιτηνῆ; Ἰλίου ὁ Θεοβίτης⁸⁴ 3 Цар 17 : 1) – в Ил представлен как заимствование без суффиксации (о чем свидетельствует флексия вокатива), тогда как в Тп видим, несмотря на порчу текста, присутствие слав. суффикса⁸⁵.

V. Из стихир^ы ап. Фоме (23^v 6):

Ὁ Θωμᾶς ὁ θαυμασιὸς τὴν πηγὴν ἀνεστόμωσε

Фомасъ дивнъзи источникъ отъ|вързе

Фома дивнъзи источникъ ѿвързе.

Перед нами еще один случай по-разному освоенной в Ил и в Тп греч. лексемы: имя апостола введено в слав. текст с греч. флексией. В надписании этих же стихир в Ил, однако, представлены и освоенные формы. Примечательно, что подобная же форма **ѡемасъ** имеется, по [Ягич 1886: 239], в той самой трехмесячной праздничной минее⁸⁶, которую архиеп. Сергей отнес к числу древнейших и до-студитских.

Морфологически неполностью освоенным оказалось и имя ап. Андрея (три случая):

1) 64^r 3 – 5 **Вндсанда, весели сѧ въ тебе бо процвѣ|те**

из матернѧ винограда бл҃гоуханна цвѣта петръ и андрѣа;

2) 64^r 9 – 13 **Андреа, раджи сѧ и игран;**

3) 64^r 16 **ръвѣзы оулавляниши, ап(с)ле андреа.**

⁸³ В данном случае выписка произведена из «типографского списка» Июльской минеи (РГАДА, ф. 381, № 121; описание см. [СК: № 42; Каталог 1988: № 8]).

⁸⁴ Так в греч. Свщ. Писании, в том числе обиходного издания. В служ. минее представлена иная форма: Ἰλλιας.

⁸⁵ В Ил наличествует и включение основы в слав. деривационную модель: 146^v 11.

⁸⁶ Бгочестна си рьвеннѣмъ тезвитѣниинъ палимъ. В источнике представлена также и другая огласовка атрибута: 147^r 7 тезвитининъ.

⁸⁶ Ныне в РНБ, СПб, Q. п. 1.12.

VI. Из канона ап. Филиппу (49^г 6-7):

Φῶς σε τοῦ κοσμοῦ ἀπετέλεσε τὸ πατρικὸν φῶς, Λόγος ὁ ἐνυπόστατος
СВѢТА ТА МИРОУ ПОКАЗА ОЧѢСТВИА ТЪ| СЛОВО ОУПОСТАСЬНОЕ
СВѢТА ТА МИРОУ СЪЗКОНЫЧЕВА ОЧЬСКОЕ СЛОВО СОСТАВЬНОЕ.

Ключевой богословский термин ὑπόστασις⁸⁷ еще не раз встретился в греч. минейных последованиях, переведенных на славянский. Ср. из канона ап. Матфею (51^г 10):

Τῷ ἐνυποστάτῳ σου Λόγῳ Θεέ .

ОУПОСТАСЬНОУ ТЕБѢ СЛОВОУ БЖИЮ
СЪСТАВЬНЪИМЪ ТИ СЛОВО БЖИ(Е).

Ср., далее, из стихир тому же апостолу (53^г 5-7):

ὁ Λόγος δὲ... ὁ ἐνυπόστατος ...ἀποτετέλεκε
СЛОВО ЖЕ ... ОУПОСТАСЬНО ... СЪВЪРШИЛЪ КСТЬ
СЛОВО ЖЕ ... СЪСТАВЬНОЕ ... СЪВЪРШИ.

Ср., наконец, из канона Успению Богородицы (138^у 4-5):

πρὸς τὴν ζωὴν μεθέστηκας τὴν θεῖαν καὶ ἐνυπόστατον
КЪ ЖИЗНИ ПРѢСТА|ВИ СЯ БОЖИИ ОУПОСТАСЬНЪИ|
КЪ ЖИЗНИ ПРѢСТА|ВИ СЯ БЖИИ СЪСТАВЬНЪИ.

Приведенный материал убеждает: если в Ил регулярно сохраняется заимствование οὐποστασῆ, то в Тп столь же регулярно представлен слав. эквивалент **сѣставъ**⁸⁸. Следовательно, перед нами подлинная (= сущностная) примета как Ил, так и Тп.

VII. Из канона ап. Филиппу (47^у 4):

Κρητὶς δογματῶν εὐσεβῶν

Степень догматъ вѣрнъ

Степень ннѣ бл҃гочестивъ(и)хъ оучениѣ

Из стихир тому же апостолу (50^г 17-18):

ἀφ' οὗ περ ρεῖθρα δογματῶν πρόβεισιν

ИЖ НЕ|ГОЖЕ ВОДЪ ДОГМАТОМЪ ТЕКОУТЪ

ЕГОЖЕ [ПО]ВОДЪ ПОВЕЛЪНИЕМЪ ПРЕНСХОДА(ТЬ).

Тот же случай, что и VI⁸⁹. Замечательно, однако, что вместо заимствования догматъ в Ил встречается в качестве слав. соответствия – **пѣрл**; в Тп оно всегда

⁸⁷ Букв. 'подпора, подстройка, основание, устой' и перен. 'начало, принцип, субстанция, качество'; в христианском тринитарном богословии – то же самое, что Лицо (по слову Григория Назианзина, вошедшего в определения Второго Вселенского собора (381), Бог познается «по ипостасям, или по лицам» [Деяния 1996: 109]). Впрочем, семантика термина настолько обширна, что в известном патристическом словаре [Lampe 1976: 1454–1461] перечисление значений заняло более 14 объемных колонок.

⁸⁸ Что же касается термина сѣ-ставъ как эквивалента ὑπόστασις, то он представляет собой обычную словообразовательную кальку, и на слав. почве ему предстал период флуктуации: сѣставъ варьировался с терминами сѣщество и кетъство, пока в конце концов не вышел из употребления. Подробнее о явлении флуктуации богословских терминов см. [Верецагин 1997: 135–136].

⁸⁹ Лексема δόγμα 'мнение, решение, учение, принцип' уже в языке Нового Завета приобрела специализированное значение 'вероучение, заповедь', а после вселенских соборов термин и вообще стал в христианском богословии центральным. В словаре [Lampe 1976: 377–378] ему посвящены три колонки и всего указано, в распределении по четырем группам, 20 значений, с многочисленными оттенками.

заменяется: (51^v 4) τὰ δόγματα Χριστοῦ – пърл хъвтѣ – повелѣнни хъвѣ; (52^r 17–18) θεολογίας δόγμασι – Бослове|сья пърлми – Бословесе повелѣнни.

Значения лексемы пърл, фиксируемые словарями [SJS]⁹⁰ и [CCC], не включают в себя семы '(богословское) учение', а среди греч. слов, переводимых как пърл⁹¹, термин δόγμα не представлен.

VIII. Из канона Георгию Победоносцу (47^v 4):

ἐν ἡ πλάκες καὶ στάμνας καὶ ἡ χρυσοῦ κιβωτός
въ немже скрижали и стамьна злата и кивотъ
въ немже скрижали станъ и златъин кивотъ.

На сей раз тенденция Тп к устранению греч. лексики проявилась своеобразно. Стамьна, по русскому переводу Свщ. Писания «золотой сосуд (для хранения манны небесной)» (Исх 16, 33; Евр 9, 4) – это совсем не станъ 'лагерь, стан' [SJS: 623], и эта, неадекватная, замена⁹² свидетельствует, насколько справщику было важно устранить иноязычное слово. С другой стороны, и в Ил и в Тп видим заимствование кивотъ. О том, что эта греч. лексема уже была освоена ко времени создания протографа Ил, говорит ее появление в азбуковных стихирах, написанных прямо по-славянски (80^v, 17–18): Игран нъинѣ и весели сѧ дѣде такоже древле прѣдъ кивотомъ скача.

С другой стороны, в самой Ил лексема κιβωτός иногда передается слав. словом, тогда как в Тп видим удержание греческого. Ср. из канона на Введение (54^r 9–10):

Σὲ οἱ προφῆται προεκήρυξαν κιβωτὸν, Σεμνῆ, ἀγίασματος
Тѧ пророци проповѣдаша скриню сѣтъ|ни, чиста
Тѧ пророци проповѣдаша кивота сватънию, прѣчистаѧ.

И.В. Ягич считал заимствование кивотъ первичным по отношению к его слав. соответствиям (скрина, ковъчегъ)⁹³ [Jagić 1913: 311].

IX. В одной из стихир (из последования Иоанну Златоусту; 46^r 13–20, 46^v 1), – к сожалению, отсутствующей в Тп, – оставлены непереуведенными два греч. слов:

Τὴν χρυσοῦλατον σάλπιγγα, τὸ θεόπνευστον ὄργανον
Златокованоу тржеж ѣгодъхнове|нъ органъ
τῶν δογμάτων пѣлаγος ἀνεξάντλητον
догматомъ пжчннѣ не|нчрьпакемоу [...]

Реальностное значение греч. ὄργανον 'орудие, инструмент, машина' – неясно⁹⁴. Переводчик стихир мог помнить слово органъ из знаменитого покаянного псалма: на врьвнѣ ... обѣснхомъ оръганъ нашъ (пс 136 : 2; цитируем по Син. пс.). Поскольку в Тп параллельного текста нет, сошлемся на попытку придать слав. соответствие лексеме ὄργανον в ином источнике (в Супрасельской рукописи⁹⁵): на врьвнѣ ...

⁹⁰ В [SJS] выделяются четыре значения: «сопротивление», «возражение», «спор», «тяжба»; «вопрос», «догадка», «проблема»; «препятствие»; «отчет», «расчет».

⁹¹ ἀιτλογία, φιλονεικία, δίκη, πρῶμα, ζήτησις.

⁹² Если это, однако, не паронимическое смешение.

⁹³ Лексема ковъчегъ также представлена в Ил – в одной из блаженн на Рождество Богородицы (4^v 19, 5^r 1): Дньсѣ вѣрнни раждаекъ сѧ дѣи|ца новъин ковъчегъ.

⁹⁴ Некий византийский музыкальный инструмент неизвестного устройства, причем, согласно [Benseler 1962: 565], – а в этом словаре на реалии обращается особое внимание, – способный, в отличие от западноевропейского трубного органа, иметь также струны.

⁹⁵ В переводе гомилии Иоанна Златоуста на Великий четверг [Супр: 418, 23].

обвѣснхомъ съсжды своа⁹⁶. Ягич указывает и на перевод пишталь в Чудовской псалтыри [Jagić 1913: 315].

Х. В одной из стихир ап. Иакову (к ней пока не найден греч. оригинал) читается (27^v 13–14):

Гїи, аще и съвъргоша нїден правдѣ|наго

Гїи, аще и съвъргоша ждове съ въсотъи правдѣнаго.

Ясно, что в греч. оригинале стояло: οἱ Ἵουδαῖοι

XI. Из канона прор. Илии (144^v 14–15):

ἐκτρέποντα φύσειс στοιχείων, Ἰηλιοῦ

прѣ|мѣннаца рода стѣхнїе, нлїе

примѣнюща естества стѣхнѣхъ, нлїе.

Выше рассматривались случаи объективно успешных замен греч. лексемы на славянскую. Сейчас же перед нами, скорее всего, не осмысленная замена, а результат бытования: стѣхнѣхъ и стѣхнїе – это паронимы, и к анализу механизмов паронимического варьирования мы вскоре приступим.

Итак, приведенный материал убеждает: для Ил типично, на фоне Тп, более широкое употребление непереуведенной греч. лексики, тогда как «типографские списки», по контрасту с Ильиной книгой, характеризуются последовательными попытками справщика⁹⁷ отыскать для хотя бы части заимствований слав. эквиваленты.

Отмеченная целеустановка, однако, не ведёт к вытеснению всех заимствований сплошь. Освоенные и употребительные лексемы (адъ, аминь, ангелъ, апостолъ, варваръ, диаволъ, евангелик, идолъ, ирмосъ (или ермосъ), ирен, канонъ, псалъмъ, скипѣтръ, стихера, трапеза и др.) одинаково употребляются в обоих источниках. В некоторых случаях даже и явно непонятное греч. слово Ил так и останется в Тп (поскольку, видимо, поиск эквивалента не приводит к успеху)⁹⁸.

Тем не менее тенденцию к замене, в том числе и особенно греч. богословских терминов, следует считать приметой Тп.

Наблюдая аналогичные факты, И.В. Ягич писал: "В древнейших слав. переводах Нового Завета и Псалтыри осталось без перевода сравнительно много выражений греч. оригинала, имевших особое, так сказать техническое, значение, а впоследствии для них появляются и переводы. Как правило действует принцип, что большее количество выражений, оставленных без перевода, является доказательством более высокого возраста соответствующего памятника. И это, скорее всего, правильно в

⁹⁶ Примечательно, что греч. проповедник чувствовал необходимость разъяснить слово δραυον своим слушателям; в слав. переводе разъяснение приняло следующий вид: ...съсжды своа. си рѣчь г҃слїи свнрѣли. цѣвннца и проча.

⁹⁷ Употребление термина книжник в качестве общего (родового) наименования человека, причастного к производству и распространению книги, обосновано в [Лихачев 1962: 53]. В современной библейской текстологии в том же значении употребляется термин мультипликатор [Hanselmann, Swarat 1987]. Наряду с родовым, пользуемся также двумя видовыми терминами – писец, или переписчик, и справщик, или редактор. Писец не ставит перед собой задач модифицирования текста при копировании, – о т к л о н е н и я от антиграфа возникают под его пером неосознанно и невольно (ex negligentia), и сам же писец стремится их устранить; справщик, напротив, последовательно преследует определенные цели, и вносимые им отклонения от эпитафа принадлежат к числу voluntaria.

⁹⁸ Например, в одном очень сложном тропаре из канона прор. Илии (146^v 4–10) есть предикация о его вознесении на колеснице на небо, и употреблено редкое причастие διφρηλάτης 'едуший в колеснице'. При первоначальном переводе оно не было понято, а прилагательное αἰθέριος 'находящийся в легком слое воздуха (выше земной атмосферы)' осталось непереуведенным. И в Ил и в Тп находим одно и то же чтение:

διφρηλάτης αἰθέριος οὐρανοδρόμον ἦν υἱοῦ
прѣстольнѣ ѡφронѣ и бошьствѣно сѣтворѣ|
прѣстольнѣ ѡфронѣ неботокъ створн жї.

большинстве случаев, но совершенно без исключений подобное явление не остаётся. Можно вполне представить себе такой случай, когда однажды предпринятая попытка перевода не закрепилась, так что впоследствии имел место возврат к непереверженному выражению оригинала" [Jagić 1913: 299]. Исключения, как всегда бывает, только подтверждают правило.

Напрашивается *analogia proportionis*: псалтырные и евангельские тексты с "выражениями, оставленными без перевода", хронологически так относятся к текстам, в которых переводы осуществлены, как тексты Ил соотнесены с текстами Тп.

Переходим к исследованию **второй приметы**, отличающей Ил от Тп. Она состоит в том, что в многочисленных случаях межписочной паронимии⁹⁹ чтение Ил как правило не согласуется с греч. оригиналом, тогда как вариант Тп (за двумя исключениями; см. ниже группу 8) – согласуется. Интерпретация этого наблюдения будет сделана после рассмотрения конкретного материала.

В свое время И.А. Гарднер настойчиво подчеркивал, что "богослужение состоит почти полностью из слова, будь это молитва, славословие, поучение, экзегеза, проповедь и т.д." и что "при богослужении Православной церкви музыкальная стихия допускается только в виде слова, соединенного с музыкальным звуком" [Гарднер 1978: 56–57].

Отсюда при переводе минейных последований и особенно в ходе их бытования, хотя и имеет место искажение текста (практически с каждой новой копией)¹⁰⁰, всё же книжники обычно следят за тем, чтобы не нарушилось именно отдельное слово, т.е. чтобы вместо слова не оказался бессмысленный набор букв. Когда имеют место случаи пропусков (например, вследствие гаплографии) или добавлений (например, диттография)¹⁰¹, то хотя часть из них так и остаётся в рукописи, всё же писец старается сам себя поправить, или исправления вносит, если он есть, справщик¹⁰².

Отдельное слово должно давать смысл. Как оно семантически согласуется с другим словом, с широким контекстом, – за этим, по крайней мере в литургических песнопениях, книжник и клирошанин следили меньше: важно, чтобы слово, произносимое экфонетически (*gesto tono*) или выпеваемое, можно было для этой цели вычленивать из потока и понять само по себе, – вне потока. Описанное явление в текстологических руководствах называют *атомизмом слова* [Müller 1985: 66] и противопоставляют обычной *тематической когерентности лексики* в пределах того фрагмента текста, который в немецкой лингвистической традиции именуется *Textsorte*¹⁰³.

⁹⁹ В отличие от узкого понимания паронимов (различные по словопроизводству однокоренные слова, имеющие разные значения), мы придерживаемся широкой интерпретации лингвистического понятия. *Пароним* – это слово, по своему звучанию (и написанию) похожее на какое-либо другое слово. Паронимы – это лексемы близкого фонемно-звукового состава и отчасти совпадающего написания, но разные по семантике. Что такое *похожесть* или *близость* (а оба понятия не являются строгими), устанавливается с позиции здравого смысла и опытным путем. Греч. глагол *παρονομάζω* "от одного слова (имени) производить другое" хорошо передаёт суть явления паронимии: книжник, неполностью уловив написание (обычно трудного для него) слова антиграфа, "производит" (помещает на его место) другое, как правило лучше известное и более простое. Паронимическая замена, механизм которой состоит в ошибочном восприятии, отлична от синонимических подстановок, имеющих место вследствие ошибок запоминания.

¹⁰⁰ Иногда задачу текстолога усматривают только в выявлении искажений (*corruptions*) в документе и в устранении этих погрешностей. Подобной установки придерживается, например, Б. Мецгер [Meцгер 1996].

¹⁰¹ Хорошее современное изложение причин неосознанных (и невольных) описок в традированных текстах (в отличие от редактуры) см., например: [Stecher, Schnelle 1989: 37–38]. В целом же, наряду с текстологическими руководствами Михаэлиса, Лихачева, Мецгера, Аланда и др., мы в первую очередь опираемся на [Interpretation 1994].

¹⁰² Например, в Ил 12' 4–5 в основном тексте читается: τῆμ δρεво οὐσλαδι δρεвлє. Пропущенная частица *σα* приписана на левом поле (видимо, справщиком или же самим писцом, но по прошествии времени, поскольку чернила – более светлые); с основным текстом соотнесена кавычкой в форме креста. В целом же в Ил многие описки остались неисправленными.

¹⁰³ Термин *Textsorte*, для которого мы не смогли подобрать удовлетворительного эквивалента на русском языке, – о соответствующем понятии см., например, [Gühlich, Rauble 1975], – означает примерно то же

Если же по какой-либо причине одно осмысленное слово антиграфа замещается другим, и также осмысленным, то в условиях описанной автономности лексемы описка-переосмысление приобретает свойство мимикрии, и лексема-заместитель может затем чековать из списка в список. Более того: если нет внешней опоры, то и современному ученому бывает невозможно установить, замена перед ним или "первоначальное чтение" (die ursprüngliche Lesart)¹⁰⁴. Это наблюдение в развитом виде изложено и психологически обосновано одним из основоположников новозаветной критики текста – И.Д. Михаэлисом (1717–1791)¹⁰⁵, и оно, естественно, вполне приложимо и к слав. материалу.

Ниже рассмотрена репрезентативная коллекция паронимов¹⁰⁶. Поскольку для суждений о паронимии важен полный контекст слова, адресация на сей раз не ограничивается одной-двумя строками, а отсылает ко всему песнопению в целом. Думается, что каждый приводимый ниже конкретный случай интересен и значителен сам по себе, но всё же, по замыслу, материал рассматривается в перспективе общего заключения о соотношении Ил и Тп.

1. В одном из тропарей канона на Зачатие Иоанна Крестителя, печатаемом ниже в разделении на синтагмы, читается:

1) 16ᵛ 9-13 **СВѢТІЛЬНИКЪ СЛ҃ЦА**
ВЪ ОБЛАЦѢ| МАТЕРНИ
ЧРЕВО ПОДАЕМАГО ПО|ЗНАВЪ
СЪИ МРАЧНАГО ЧРЕВА СЕЛЕНИИ
ПОКЛОНИ СЯ РАДѢА ВЪЗІГРА| ЖЕ.

самое, что *речевой акт* (см., например: [ван Дейк 1989]), но в большей мере направляет внимание исследователя на (как-либо зафиксированный) продукт речевой деятельности. Термин Textsorte весьма близок также предложенному богословами (К.Л. Шмидтом, М. Дибелиусом, Р. Бультманном и др.) понятию *текстовой, или литературной, формы*, вокруг которого сложилось целое текстологическое направление – Formgeschichte. Textsorte или Textform – это минимальная, по некоторому критерию однородная, структурная единица – фрагмент неоднородного текста. Неоднородным текстом является, в частности, Евангелие, и в нем выделяется длинный (и открытый для пополнения) ряд текстовых сортов, или форм: парадигма, новелла, легенда, паренеза, явное сравнение, скрытое сравнение (метафора), притча, заповедь, апофтегма, слово Господне, угроза, общинный устав, премудростное речение, парадоксальное речение (Paradoxie), окличка, наставление, предостережение, рассказ для примера (Beispielergählung), аллюзия, ссылка (на авторитет) и др. В настоящей статье мы еще обратимся к текстовому сорту *аллегорезы* (в отличие от *аллегории*), – аллегореза принадлежит к излюбленным приемам византийской гимнографии.

¹⁰⁴ Первое из "Двенадцати основных правил для практической критики текста" К. Аланда и Б. Аланд гласит: "Лишь *одно* чтение может быть первоначальным, сколько бы к данному месту ни было вариантов" [Aland 1989: 284] (курсив наш. – *Е.В.*).

¹⁰⁵ Ученый приводит ряд примеров [Michaelis 1788: 297–332]. 1) В эпизоде погребения Иисуса Христа стих Мф 27, 60 по древним источникам имеет разночтения: ὁ Ἰωσήφ ... ἔθηκε αὐτὸ ἐν τῷ κατῶ μνηρεῖῳ ("Иосиф... положил его в новом гробе") и... ἐν τῷ κεῖῳ μνηρεῖῳ ("...в пустом гробе"). Примечательно, что версия с последним вариантом была в распоряжении Иоанна Златоуста, и в своем Толковом евангелии он именно его разъясняет. Оба разночтения, по Михаэлису, дают "хороший смысл" (einen guten Sinn). 2) В апостольском послании (1 Петр 2, 3) разночтения также осмысленны: εὐέβασθε, ὅτι χρηστός ὁ κύριος ("вы вкусили, что благ Господь") и... ὅτι χρηστός ὁ κύριος ("...что Христос Господь"). В этих двух случаях "первоначальное чтение" можно установить на основании внешних критериев, но некоторые из подобных "похожих слов", т.е. паронимов, настолько распространились в рукописной традиции, что их приходится включать в аппарат критических изданий Нового Завета. Например, в Мф 23, 25 читается: ἔσωθεν δὲ υἷμοσι ἔξ ἄρταυῆς καὶ ἀκρασίαις ("внутри они полны хищения и невоздержания") – καὶ ἀκαθαρσίαις ("...и нечистоты"). Действительно, в изданиях Нестле и Аланда в аппарате не только показаны эти два варианта, но и прибавлен третий пароним: ...ἀδικίας. См. [Nestle, Aland 1963].

¹⁰⁶ Избирательный анализ паронимов не должен создавать впечатления, что различия между Ил и Тп сводятся к одной паронимии. Между источниками есть и синонимическое, и антонимическое, и словообразовательное, и синтаксическое (и прочее) варьирование, вплоть до разных переводов одного и того же греч. оригинала.

Здесь аллюзируется эпизод посещения Девой Марией, после Благовещения, непраздной Елизаветы, когда, распознав Богородицу, "выграл младенец (т.е. Иоанн) во чреве" своей матери (Лк 1,41), причем Предтеча поименован "светильником Солнца", т.е. Христа. Все слова тропаря осмысленны, и можно было бы не заметить *textus adulteratus*, если бы в Тп 3-я синтагма не имела чуть-чуть иного облика: **въ чрѣвѣ потакмаго познавъ. Подакмаго / потакмаго** – разница в одной букве, а в фонологических терминах даже в одном-единственном дифференциальном признаке. Оба слова дают смысл.

К греч. оригиналу ближе вариант Тп:
 уαστρος κατακρυπτόμενον¹⁰⁷ ἐπευνωσκώς
въ чрѣвѣ потакмаго познавъ.

В некоторых случаях варьирование всего одной буквы ведёт к противоположному смыслу; ср.:

2) 43^v 6 0 **невѣжествовъ съкровищъ дховныхъ**
Отъ невеществовъ съкровищъ дховныхъ.

Опять-таки Тп больше соответствует греч. оригиналу: ἄσυλος – 'неприкосновенный, неразрушаемый'. Версия Ил, как легко заметить, представляет собой *contradictio in adjecto*. Атрибут "невежественный" в приложении к "духовному сокровищу" – это явление, в классической текстологии называемое ἀπροσδόκητον 'неожиданное'¹⁰⁸. В подобных случаях текстологи готовы видеть порчу текста.

2. Межсписочные паронимы с варьированием всего одной буквы – это, конечно, редкие случаи. Гораздо чаще варьируются две-три буквы (и более), но тем не менее в протяженных словах и в этом случае паронимическая база (т.е. объем созвучия или одинакового написания) всё же остается достаточной: слова можно соотносить, что и является причиной взаимозамены. Ниже приводятся (в минимальных, но достаточных контекстах) наиболее показательные случаи из моря подобных, причем всякий раз приписаны и греч. соответствия:

1) 36^v 10-17 **θεῖαν ἐνέργειαν**¹⁰⁹

БЖИЕ ДАНИЕ

БЖИЕ ДЪВАННЕ;

2) 44^v 11-15 τοῦ λόγου διενομεύς¹¹⁰ γενόμενος

СЛОВЕСИ РАЗДѢЛИТЕЛЬ БЪВЪ

СЛОВЕСЪ РАЗДѢЛИТЕЛЬ БЪВЪ;

3) 46^v 2-7 τὴν ζωὴν προξενούντες¹¹¹ τὴν ἀληκτον

ЖИЗНЬ ПСХОДАЦЮ БЕСКОНЬЦНОЮ

ЖИЗНЬ ПСХОДАЦЮЩА БЕСКОНЬЦНОЮ;

4) 46^v 17-20, 47^r 1-3 τὸν ἡμᾶς ὁδηγοῦντα πρὸς τὴν μετάνοιαν

НАСТАВЛЯЮЩАГО НЪ НА ПОКАНИЕ

НАСТАВЛЯЮЩАГО НЪ НА ПОКЛАНАННЕ;

5) 48^v 4-8 Ἀπόστολος ἐκλελεγμένος τὴν δωδεκάριθμον φάλαγγα

АП(С)ЛЪ ИЗБѢРА ДЪВА НА ДЕСА|ТИ ТРЖЕУ

ДІЛЪ ЖЕ ИЗБѢРАНЪ ДЪВОНАДЕСА|ТЕНСЬНОУ ТЪЛПЪ;

¹⁰⁷ Катаκρυπτω – 'прятать, утаивать, скрывать(ся)'.

¹⁰⁸ В понятие ἀπροσδόκητον, в частности, входит появление в тексте слова из гетерогенного тематического ряда.

¹⁰⁹ Греч. текст почерпнут из [Ягич 1886: 580].

¹¹⁰ Διανομεύς – 'разделитель'.

¹¹¹ Προξενέω – 'посредничать, хлопотать за кого-л.'.

6) 50^v 2-10 (паронимы содержатся во второй синтагме)

и дѣж[дѣ] лѣѣши мѣро нстачага
ἔθεν διαπνεύσας¹¹² ταῖς ἀπίστοις καρδίαις
тѣмь о|дѣхновавъ невѣрна срѣца
тѣмь оуχновавъ невѣрна срѣца;

7) 54^r 9-12

καὶ ἡμεῖς ὡς θεοχώρητον¹¹³ σκηνὴν ἀνυμνοῦμέν σε
и мѣи ѡко богомаститѣу горж поемъ тѣ
и мѣи ѡко богѡвзмѣстимоуоу сѣнь вѣпоемъ;

8) 67^v 4-9 ἔθεν ἀναπτερώθης¹¹⁴ τοῦ σοῦ Νυμφίου τῷ ἔρωτι

тѣмже вѣзвесеши| сѣ твоѣго жениха любѣвѣю
тѣмже и вѣзвѣсиши сѣ твоѣго жениха любѣвѣю;

9) 86^v 1-6 διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψομεν

тѣмже поимце вѣзвѣпиемъ
сѣ нимже хвалѣце вѣспоимъ;

10) 105^v 5-9 Ἐν πυρὶ βαπτίζει τελευταίω Χριστὸς

Огньмь чрѣствитѣ коньчнѣимъ хс|
Огньмь крѣститѣ коньчнѣимъ хсѣ;

11) 110^v 17, 111^r 1-6 εὐτρεπίζων δέχεσθαι¹¹⁵

оутоговѣа чѣтѣши

и оутоговѣа жѣдѣши;

12) 116^v 15-17, 117^r 1-3 Ἴδεῖν ἠξιώθης τὰ μακρόθεν

Видѣти сѣподобн сѣ даннѣ
Видѣти сѣподобн сѣ дальнѣнѣ;

13) 144^r 7-12 τὰ λείψανα τῆς βρώσεως ἀνευδότης¹¹⁶

останѣкѣи н| брашьно славьно
останѣкѣи брашьнѣ неослабѣно.

Близкий и подобный материал далеко не исчерпан.

3. Частным случаем паронимии выступает метатеза отдельных графем или целых слогов;

1) 30^v 13-17 н|збави прѣгрѣшениа и радовани|а, ч(с)та,
прегрѣшени избавление нѣнѣ дарованне, чѣта.

Поскольку в данном случае (канон Димитрию Солунскому) греч. текста нет, судить относительно первичного чтения можно только на основе внутренних критериев, и представляется, что с контекстом лучше согласован вариант Тп.

Два дальнейших случая особенно интересны:

2) 68^v 12-18 λοιμικῶν παθήματων λῶβην ἀφανίζουσαι

сѣсенне страстьм| и неджгѣи оуврачюѣта
осзпнѣиа страсти нцѣлаѣта.

¹¹² Διαπνεύω – ‘испаряться, издавать запах’.

¹¹³ Χώρα – ‘страна, область, определенное место’.

¹¹⁴ Ἀναπτερώω – ‘окрывать, возвышать’.

¹¹⁵ Δέχομαι – ‘принимать, поджидать, встречать в готовности’.

¹¹⁶ Ἀνευδότης – букв. ‘не уступающий дороги’, перен. ‘упорный, настойчивый’.

Строка заимствована из совместного тропаря свв. Варваре и Иулиании, и по смыслу сочинителя оригинала¹¹⁷, воспроизведенному в Тп, речь идет о врачевании святыми особенно тяжелой болезни – *оспы*¹¹⁸.

4. Особым случаем межсписочной паронимии является взаимозамена слов, написанных под титлами:

1) 9^г 2-8 ἡς ὁ Σταυρός τὸ κράτος καὶ στερέρωμα

ИИЖЕ ХС| ДЪРЖАВА И ОУТВЪРЖЕННІЕ

ИИЖЕ КРЪСТЪ ДЪРЖАВА И ОУТВЪРЖЕН[НІЕ].

Строка взята из последования Крестовоздвижению, поэтому упоминание о кресте диктуется контекстом праздника, но и предикация о Христе – уместна;

2) 28^г 6-15 Συγγενής κατὰ σάρκα τοῦ Ἰησοῦ

Рожденикъ пльтнѣхъ истъ

Рожьникъ пльтнѣхъ нсвн.

Речь идет об ап. Иакове, прозываемом Малым (из числа 70-ти апостолов). Поскольку Иаков по плоти был сыном Иосифа, обручника Девы Марии, его постоянный атрибут – *брат Господень*. Соответственно тропарь называет его *συγγενής*, и предикация Ил, хотя она и отклоняется от греч. оригинала, не содержит ошибки.

3) 43^г 1-8 τῆ σῆ συμπαθεία δυσώπησον.

СВОЕЯ МОЛITBOЯ, ОЧЕ, ПОМОЛИ СЯ|

СВОЮ МЛТНЮ ПОМОЛИ СЯ;

4) 49^г 2-4 δύο γεγέννηκας ἠνωμένας, Ἄγνη,

ТЪ ДВѢ ПОРОДИ СВЪЗКЖПЛЕННІ ЧЛВЧСТѢ

ТЪ ДВѢ ПОРОДИ СВЪЗКОУПЛЕНѢ, ЧСТА.

5. Еще один частный случай межсписочной паронимии: два (морфологически раздельных) слова Ил в "сумме"¹¹⁹ имеют соответствием одно (цельнооформленное) созвучное слово в Тп, причем это последнее согласуется с греч. оригиналом. Несомненно, возможность подобных модификаций обусловлена *scriptura continua* греч. и слав. рукописей. Конечно, и в данных случаях наблюдаются метатеза и смешение слов под титлами:

1) 36^г 13-20, 36^в 1-2 ψυχοφόρα πάθη

ДШАМЪ И ТѢЛЕСНЫЯ|ИА СТРАСТИ

ДШТАЛѢННЪИА СТРАСТІ,

2) 57^г 58-12 ὡς ἐχώρησας

ИАКОЖЕ ВЪ ТЪМѢ

ИАКОЖЕ ВЪМѢСТИЛЪ ЕСИ;

3) 83^в 18, 84^г 1-4 ὅλον οὐσιῶται

ВЪСЕГО СЖЩСТВО ИСТЬ

ВЪСЕГО СОУЩСТВУЮТЬ¹²⁰;

¹¹⁷ Λοιμός – 'зараза, язва, гибель, пагуба', в спец. значении – 'сыпь при оспе'. В Супр (45, 3–4) лексема *оспы* передает соответствующий греч. медицинский термин *λοιμική νόσος* и *оспами нача болѣти страна та*.

¹¹⁸ Именованье болезни производно от симптома – многочисленных (=высыпаяющих, ср. *сыпь*) язв на теле больного.

¹¹⁹ В терминах классической текстологии это явление называется *κράσις* 'смешивание', в спец. значении 'слитие двух слов в одно'.

¹²⁰ Версия Син. 162.

4) Нижеследующий текст примечателен в двух отношениях. Во-первых, его первая строка показывает, что иногда прибавление "лишнего" слова в Ил может объясняться не паронимией, а другими причинами (в данном случае – приемом *экспликации*, характерным, кстати сказать, для переводческого искусства Кирилла и Мефодия; см. подробнее [Верецагин 1997: 91–101]). Во-вторых, третья строка – это (в приложении к паронимии) яркое подтверждение текстологического принципа *lectio difficilior – lectio potior*.

47^v 16-19 Φθαρείσας πάθει τῆς ἀνθρωπότητος

Прѣистлѣвъша нстѣство члѣче стра|стѣми

Прѣистлѣвъша стра(с)ми члѣцства

ἐμβληθεῖς θεῖον ἄλας παρὰ Χριστοῦ ταύτης

в|зложенъ бж҃на соль ѿ х҃а то|го

в|зложенъ бж҃на соль ѿ х҃а того

ἀπεξήρανας τὴν σηπεδόνα τὴν δεινήν

и сжцства гноинни лютом

исоучая гноинни лютом.

В Тп действительно содержится, по сравнению с Ил, *lectio difficilior*¹²¹. В аллегории и аллегорезе¹²² греч. тропаря ап. Филиппу (из жития которого известно, что он практиковал исцеление болящих) отразилось архаическое (восходящее к античности) представление о сущности болезни как влажном гниении и о ее врачевании как высушивании гноя. Метафорически Божественная соль Христа, содействуя испарению влаги, высушивает¹²³ рану или опухоль. Данный образ адекватно передан только в Тп: *исоучая гноинни*.

6. Как правило, паронимическая замена приводит к тому, что нарушается когерентность песнопения (ниже случай 1). Примечательно, однако, что на фоне обычной смысловой рассогласованности между контекстом и паронимом в Ил всё же встретился тропарь, который (вероятно, во время очередного копирования) был перестроен таким образом, чтобы сгладились противоречие фоновой семантике паронима (ниже случай 2). В текстологии это явление описывается под именем *аккомодации*.

Поскольку нас в данном разделе интересуют широкие контексты, выписываем оба гимна полностью. Чтобы трехстрочные сопоставления не сливались, они напечатаны в шахматном порядке:

1) 48^v 4-8

Νεμομένην καὶ λυγαίνομένην βλέπων τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ

Жироуѣща и врѣжающа зьра льстива|го врага

Жироуѣщюу и врѣжающюу зьра льсть вражню

τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος τὰ σα βέλη τὰ ἡκονημένα

члѣчьскаго рода стрѣлзѣ тво|и нззоцрени

члѣчкын родъ стрѣлз(и) твоя нзострени

¹²¹ Под понятие подводятся не только случаи возможного непонимания антиграфа писцом (вследствие нехватки знаний), но и предпочтение им более частотных и привычных слов и выражений.

¹²² *Аллегория* или *развернутая метафора* – распространенное (по многим пунктам) и скрытое (без спецификаторов типа *словно*) уподобление; *аллегореза* – заданный автором единственный (и вынятый для реципиента) путь истолкования аллегорического текста. Типичным примером сочетания аллегории с аллегорезой является евангельская притча о сеятеле (Мк 4, 13–20). Относительно метафоры см.: [Теория метафоры 1990].

¹²³ ἔραϊνω – ‘высушивать, осушать’. О семантике *исоушити* / *исжчити* см. в [SJS] и [CCC].

τοὺς Ἀποστόλους τείνας ἐξἀπέστειλας

ап(с)лы си налѣцавъ испѣсти|

аплѣ си налѣцавъ поустн

καὶ διήνοιξας¹²⁴ θώρακος¹²⁵ πτύξιν¹²⁶, Χριστέ, τοῦ δράκοντος¹²⁷

и разъгъбавъ брънамъ съгъбение, х̄е, изнимова

и ѿврзлѣ иси пьрси съгъбениемъ, х̄е, змиивамъ

ἅπαντας τῆς αὐτοῦ λύμης καὶ φθορᾶς, Σῶτερ, ἰώμενος.

всѣхъ ис тѣла и вреда него,| сп̄се, ицѣлева.|

и вса ис тѣла и врьда же,| сп̄се, ицѣлева.

Образность тропаря такова: чтобы поразить врага человеческого рода, здесь мыслимого в качестве змия-дракона, Христос, напрягши лук, выпустил острые стрелы, а именно: своих апостолов, а «разогнув» (= «открыв») панцирные кольца дракона, избавил всех от гибели. Смысл строки Ты [Христэ,] раскрыл панцирные кольца змия (т.е. погубил его) в Ил, вследствие паронимической замены, совершенно утратился. В Тп же, напротив, упоминание о змие – присутствует¹²⁸.

2) 48г 4-8 Ἰὸν¹²⁹ ψυχόλεθρον τοῦ ἐχθροῦ

Ада дшѣтлѣньнаго врага

Ада дшѣтлѣ(нь)нъ вражини

ταῖς ἀλεξικάκοις¹³⁰ σου, Θεορρημον, παλάμαις¹³¹ ἐξήρανας

врачѣствоимъ, б̄огласе, ѿгъналъ иси

врачѣствьнама си, б̄огласе, дланьма исоушналъ иси

τοὺς θανατηφόρῳ κекρατῆμένους βυθῶ

с̄мьртоно|сьною каростниж одържанъи

с̄мьртоносънзимъ глаубенною оудържанъи

χαλεπῆς ἀλυηδόνοϛ ἀναρρούμενοϛ

из лютъи|а напастн избавлѣа.|

из лютъи|а болѣзни избавлѣа вса.

¹²⁴ Διανόγω – ‘разгибать, разворачивать, раскрывать’.

¹²⁵ Θώραξ – это (в прямо значении) ‘туловище, корпус’, особенно ‘грудная область’, отсюда (в военной тематической сфере) ‘тело, защищенное панцирем’ и затем (в спец. значении) ‘панцирь, латы’.

¹²⁶ Πτύξις и πτύξις (от πτύσσω ‘сгибать, изгибать, приспособлять [к какой-либо форме]’, отсюда ‘плотно прилегать’ [например, о платье или коже животного]) – это (в данном случае) одно из колец прочной оболочки (панциря), защищающей туловище. Панцирем может быть защищено туловище как человека, так и животного.

¹²⁷ Δράκων – змей, в том числе и Змий, искусивший прародительницу Еву. Мифические змеи-драконы, о которых говорится в средневековых источниках, – в том числе в житиях святых, – были защищены кольцами панциря.

¹²⁸ Нельзя сказать, чтобы тщательная сверка Тп с греч. оригиналом привела к совершенному переводу. В Тп полисемичная лексема θώραξ понята в значении ‘грудь’, отсюда вследствие пословного перевода получилось невразумительное сочетание: пьрси съгъбение. В Ил, напротив, лексема θώραξ понята в специальном значении и в сочетании с πτύξις семантически адекватно передана как ‘кольца брони’: брънамъ съгъбение.

¹²⁹ Ἰὸς – ‘яд, отравы’, причем, согласно фоновой семантике, – жидкой консистенции. В Тп имеем точное семантическое соответствие адъ, а в Ил – пароним адъ.

¹³⁰ Ἀλεξικάκος – ‘отвращающий зло, несчастье’; в спец. значении ‘врачующий’.

¹³¹ Παλάμη – ‘ладонь, рука’, в переносном смысле – ‘прием, средство, искусство’. Таким образом, словосочетание ταῖς ἀλεξικάκοις παλάμαις в прямом смысле означает ‘отвращающими зло руками», а в переносном – ‘врачебным искусством’.

Версия Тп, в полном согласии с греч. оригиналом, следует аллегории из медицинской сферы: ап. Филипп, которому посвящен тропарь, «врачующими дланями» – «иссушил» – «лютые болезни». Между тем в Ил «длани» опущены, вместо «иссушил» и «болезни» употреблены слова-губки¹³² «отогнал» и «напасти», и соответствующие предикации стали *общими местами*. Правда, рефлексом греч. источника в Ил осталось упоминание о «врачевстве». В целом же видим, что содержание тропаря перестроено таким образом, чтобы образовался когерентный по отношению к адъ лексический ряд, – аллегория исчезла. Объяснить, откуда в Ил вместо *иссушилъ кси* появилось даже и паронимически далекое *Ѡгъналъ кси*, как представляется, можно только при допущении, что решившийся на правку тропаря книжник уже имел перед собой не *адъ*, а *адъ*, то есть не видел слова, содержащего фоновую долю мокроты, влаги. Жидкая отравка-*адъ* допускает представление о возможности ее высушивания (и тем самым лишения действенности), тогда как *пекло-адъ* содержит пресуппозицию суши.

7. Имеются случаи лексического отклонения Ил от Тп, причиной которых является паронимия не славянских, а греческих слов¹³³.

1) 67^r 15-19 Θερμῶς ἐστῆλίτευσας

Тепло обанчилъ кси

τῶν δυσωνύμων τροφίμων τοῦ Μάνεντος¹³⁴

ДВОНМЕНЬНОМЪ ОУЧЕНИЕМЪ МАНЕНТЪ

ЗЛОМЕНИТЪЮЪ ОУЧЕНИКЪ МАНЕНТОВЪ

τὴν βλάσφημον ἀσέβειαν

ХЖЛННОЕ БЕ-ЩЬ|СТНН.

Переводчик протографа Ил прочитал греч. текст с паронимическим смешением: вместо *δυσωνύμων* – *δωνύμων*. Может быть, паронимическая замена содержалась уже в самом греч. оригинале.

2) 86^r 7-13 Ἐλκει Βαβυλῶνος ἡ θυγάτηρ δωροκτῆτους¹³⁵ Δαυὶδ ἐκ Ζιῶν

ВЛѢЧЕТЪ ВАВУЛОНА ДЪЦН ОТРОКЪ| ДАРОСЛАВЪНЪ| ДѢДЪЪ Ѡ СИОНА¹³⁶

ВЛѢЧЕТЪ ВАВУЛОНА ДЪЦН ОТРОКЪ| ПЛѢНЪНЪ| ДАВЪЦДОВЪ ОТЪ СИОНА.

Δωροκτῆτους было прочитано (или имелось в греч. антиграфе слав. переводчика) как *δωροκτῆτους*.

8. Хотя и сравнительно редко, но бывает, что Тп дальше от греч. оригинала, а Ил – ближе. Собственно, в нашей коллекции таких случаев всего два:

1) 115^v 4-7 τῷ φόρτῳ τῶν πολλῶν ἀμαρτημάτων

ВРЕМЕНЕИМЪ МНОГЪ ПРѢГРѢХЪ

ВРЕМЯМЪ МНОГОПРѢГРѢШЕНИИ;

2) 145^v 10-14 προφῆτας χρίων διὰ Πνεύματος

ПРЪЪ ПОМАЗАИ ДХОМЪ

ЦРЪТВА ПОКАЗА ДХМЪ.

¹³² В немецкой текстологической традиции речение излишне высокой степени абстракции называется «Leerformel», что по-русски, смягчив, можно передать как «привычная формулировка».

¹³³ Близкую проблематику в свое время исследовала М.А. Момина [Момина 1983].

¹³⁴ Имеется в виду Мани, основатель манихейства; отсюда его (обычный для ересиархов) атрибут – *злоименитый*. Иоанн Дамаскин, которому посвящен тропарь, действительно обличал современных ему иконоборцев и уподоблял их манихеям. В Ил иконофильская направленность тропаря оказалась утраченной.

¹³⁵ Δωροκτῆτος – ‘приобретенный силой копья (оружия)’, в спец. значении ‘пленный’.

¹³⁶ Поскольку в Тп данного текста нет, цитируется минея РГАДА, ф. 381, № 98.

На этом заканчивается рассмотрение межсписочной паронимии Ил и Тп. За редкими исключениями, Ил дальше отстоит от греч. оригиналов, тогда как Тп ближе к ним или совпадает с ними.

Подчеркнем, что Ил в рассматриваемом аспекте – **уникальный источник**. Все другие служ. минеи XI–XIII вв., повседневные и праздничные, – может быть, лишь рукопись РГАДА, ф. 381, № 98 отчасти (только отчасти!) стоит особняком, – следуют традиции Тп¹³⁷.

Приступаем к общей интерпретации изложенных наблюдений.

Во-первых, многочисленные паронимы в Ил, противопоставляющие ее другим служ. минеям и удаляющие от греч. оригинала, – это всего лишь одна примета. Если же последовательно сличить **весь текст** Ил с греч. последованиями, то легко убедиться, что и он отходит от них гораздо дальше, чем текст Тп и остальных миней.

Композиционные рамки журнальной статьи не позволяют умножать материал, но да судит читатель по части о целом. Достаточно обратиться к напечатанным выше относительно большим фрагментам из Ил (например, 6-1 и 6-2), чтобы заметить в Ил, по сравнению с греч. текстом и текстом Тп, ряд отличий:

перемены синтаксических связей (например, греч. версии: βλέπων τὴν πλάνην τοῦ ἔχθρου точно соответствует версия Тп: зьра льсть вражню, тогда как в Ил – синтаксическая перестройка: зьра льстиваго врага);

перемены в грамматических характеристиках (например, ἀπαντας ... ἰώμενος и вса ... ицѣлаа, но всѣхъ ... ицѣлева);

пропуски слов и соответственно перестройки словосочетаний (ταῖς ἀλεξικάκοις σου ... παλάμας и Ил врачествонама си ... дланьма, но в Тп просто врачествомь);

синонимические замены – возможно, вследствие ошибок запоминания, но может быть, что и в намерении осовременить текст (τὰ σὰ βέλη τὰ ἠκουημένα и Тп стрѣлы (і) твоа изострены, но Ил стрѣлы твоа изъощрены);

замены лексики вследствие переосмысления (ἐξήρανας и Тп исоушилъ кси, но в Ил ѿгъналъ кси) и т.д.

Всё это временами ведет к искажению замысла гимнографа: так, в греч. оригинале и в Тп сказано, что Христос употребил для распространения веры – самих людей (τὸ τῷ ἀνθρώπῳ γένος, Тп члѣчкыи родъ), но поскольку в Ил вместо аккузатива стоит генитив: [врага] члѣчьскаго рода, данная немаловажная догматическая предикация утратилась¹³⁸.

Однажды мы уже практиковали заключение по аналогии. В данном вопросе снова прибегнем к нему: поскольку паронимы в Ил, за малым исключением (см. выше группу № 7), являются результатом бытования текста ее протографа на слав. почве¹³⁹, точно так же и большинство остальных модификаций протографа возникло вследствие многократного копирования в слав. среде.

Настойчивое приближение Тп и других миней к греч. оригиналу свидетельствует о высоком уровне переводческого мастерства слав. справщиков. А ценность Ил состоит в том, что она, являясь памятником длительного бытования минеи на слав. почве, свидетельствует об умении книжников вносить смысл в слова, подвергшиеся искажению¹⁴⁰. На самом деле, в Ил нет следов небрежности: она не только написана

¹³⁷ В справедливости сказанного можно убедиться хотя бы на материале опубликованных последований за сентябрь–ноябрь, в которых отражены 10 источников [Ягич 1886], и на 19 дней декабря, в которых содержатся коллажи из 6 источников [Rothe, Verešagin 1993–1997].

¹³⁸ Правда, только отчасти, поскольку далее следует сохраненный двойной аккузатив при переходном глаголе (стрѣлы твоа ... ап(с)лы си ... испѣсти).

¹³⁹ Ведь паронимы, будучи созвучными, отражают близость только слав. лексем.

¹⁴⁰ Впрочем, это универсалия. Ср. свидетельство Б. Пастернака (Доктор Живаго, XI, 4), покоящееся на живом наблюдении: «На шее у убитого [телефониста] висела ладанка на шнурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась зашитая в тряпицу [...] бумажка. [...] Бумажка содержала извлечение из девяностого псалма

каллиграфически, но и практически не содержит лексической или синтаксической бессмыслицы¹⁴¹. Упомянутая ранее установка книжника на автономность лексики, — хотя, конечно, и лишала временами текст семантической когерентности, — всё же как правило предотвращала абсолютную «асеомографию»¹⁴².

Таким образом, Ил является памятником неконтролируемого (т.е. не подлежащего исправлению по греч. образцам) бытования слав. минейного текста. Ей присущ общий признак подобных источников, известный в классической текстологии под именем *tepesitas* (*устойчивости искажений*), а именно: с течением временем невольные (ошибочные) модификации при копировании не исправляются (не возвращаются к первоначальной форме) и не утрачиваются. Напротив, когда поколения книжников вносят вклад в осмысление неисправного традированного текста, то ошибочные прочтения могут накапливаться в больших массах¹⁴³. Вследствие *tepesitas* каждая новая копия текста неконтролируемой традиции отклоняется от антиграфа и соответственно всё дальше уходит от протографа. Ильина книга как раз и представляет собой подобный (значительно удалившийся от протографа) список.

Во-вторых, если Ил — это (для нас конечное) звено в цепи копирования богослужебной книги, то следует предположить довольно продолжительный период бытования текста от протографа до списка. Абсолютные хронологические суждения едва ли возможны, но поскольку текстология — это наука, в которой принимается как довод апелляция к здравому смыслу¹⁴⁴, то, с учетом темпов неконтролируемого изменения¹⁴⁵, было бы разумно предположить по крайней мере вековую историю бытования праздничной минеи в том (более или менее устойчивом) составе, который отразился в Ил.

Анализ состава, как было показано выше, не только не препятствует тому, чтобы отнести возникновение протографа Ил к Кирилло-Мефодиевскому времени, но, пожалуй, благоприятствует такому заключению. В частности, под избранными слоужь-

с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника от повторения к повторению. [...] В псалме говорится: 'Живый в помощи Вышняго'. В грамотке это стало заглавием заговора: 'Живые помощи'. Стих псалма: 'Не убоишия ... от стрелы летящая во дни (днем)' превратился в слова ободрения: 'Не бойся стрелы летящей войны'. 'Яко позна имя мое' — говорит псалом. А грамотка: 'Поздно имя мое'. 'С ним есмь в скорби, изму его...' стало в грамотке: 'Скоро в зиму его'». Как видим, три изменения из четырех имеют причиной паронимию.

¹⁴¹ Редчайшие исключения, подчеркивая «норму», парадоксальным образом только усиливают общий вывод. Например, в каноне обретению главы Иоанна Предтечи в Ил встретилось слово, которое мы не смогли осмыслить (в Тп оно устранено); ср.:

οὐδὲ ξίφει ἐπέσχευ ἢ δόλια μοιχαλίζ
ни мечь оудръжа окаана тччѣѣва
ни мечь оудръжа окаана люבודѣнца.

¹⁴² Ἀσπιογραφία — 'неясное письмо', перен. 'бессмыслица текста'.

¹⁴³ Этот признак книг, переписка которых хотя и предполагала пиетет и тщательность, но не предполагала справки по образцу, подробно разбирается в руководстве [Aland 1989: 295 и сл.]: «То, что однажды возникло, — продолжает бытовать».

¹⁴⁴ Эта позиция развернуто изложена в руководстве [Aland 1989: 299], причем его авторы сослались даже на «аргумент от Писания» (христианской закон — это «здоровое учение» ὑγιαίνουσα διδασκαλία; 1 Тим 1, 10). Поскольку практически все конъектуры и другие догадки текстолога, не подтверждаемые текстами, имеют вероятностный характер, без их оценки с точки зрения здравого смысла прогресс в текстологии был бы заранее исключен. Руководствуясь здравым смыслом, текстолог не станет настаивать на теоретически возможных, но маловероятных и тем более заведомо нереальных предположениях. Например, применительно к Ил логически можно допустить, что она переведена с греч. минеи, которая уже содержала искаженный текст и которая утрачена (вариант *argumentum ex silentio*), но практический опыт текстологической работы не позволит сделать из этого допущения барьер для дальнейших разысканий. Здравый смысл, далее, не остановит сопоставительное исследование слав. служ. миней по той причине, что пока еще нет соответствующего критического издания греч. оригиналов. (В обозримое время такое издание и не появится.)

¹⁴⁵ Имеются в виду постоянно и интенсивно копируемые тексты, а переписка миней никогда не останавливалась.

вами церковными, перевод которых первоучителями упоминается в 15-й главе Про странного жития Мефодия (см. [Климент Охридски 1973: 191]), допустимо, наряду с другими интерпретациями, видеть также или тот тип книги, который К. Ханник назвал канонарем, или ту книжную разновидность, которая литургистами-историками по традиции называется праздничной минеей¹⁴⁶.

В-третьих, хотя выше исследовались различия между Ил и Тп, всё же в них безусловно свидетельствуется представленность одного и того же архаичного перевода. Действительно, те песнопения, которые являются общими как для Ил (праздничной минеи), так и для Тп (повседневной минеи), несмотря на все различия между ними, восходят к единой исходной версии текстов, а не к двум разным.

Д.С. Лихачев подробно описал переводческую деятельность на Руси эпохи Яро-слава Мудрого (после 1037 г.), о которой упоминает русский летописец. Тогда была учреждена русская митрополия, заложена церковь св. Софии, затем прибыл греч. митрополит (Феофемпт) [Строев 1877: 4], а с ним, как пишет Д.С. Лихачев¹⁴⁷, «не-сомненно должен был прибыть целый греч. клир, который и привез с собой собрание книг для перевода» [Лихачев 1962: 413]. Однако к этой начальной эпохе переводов на Руси создание повседневных миней не относится.

Архиеп. Сергей связывал их появление со временем после 1065 г., когда благодаря усилиям преп. Феодосия Печерского на Руси был введен Студийско-Алексеевский устав, предполагающий наличие (по крайней мере в монастырях) миней с последо-ваниями на каждый день года¹⁴⁸.

Началось пополнение и изменение первоначальной праздничной минеи: отсутство-вавшие в ней последования (особенно студитского круга) были переведены заново; напротив, «лишние» блаженны и триодные службы были исключены; вопреки прак-тике Ил, на один день стали приходиться по два канона (и более); был изменен порядок следования жанров песнопений (стихиры и седальны поместились перед ка-нонами).

В понятие преобразования праздничной минеи в повседневную входит и сверка ее последований с греч. образцами. Налиествовавшие слав. службы, видимо, были признаны достаточно «хорошими», так что новые переводы не потребовались, – да и сказался в этом отказе, надо думать, и пиетет перед древностью, – но всё же их надлежало систематически просмотреть и пересмотреть, т.е. исправить. Исправить не только в том смысле, что устранить опiski и унифицировать орфографию, а – со-гласовать с греч. оригиналами. Переводчики второй половины XI в., несомненно, имели под руками полный годовой круг греч. служ. миней.

Таким образом, вслед за М.А. Моминой [Molina 1990] мы полагаем, что введение Студийско-Алексеевского устава на Руси во второй половине XI в. сопровождалось сличением и исправлением бытовавших богослужебных текстов по греч. образцам.

Действительно, исправность богослужебного текста – неременное условие возмож-ности его литургического употребления. Сошлемся на традиционную каноническую практику.

Собственно, по вопросу допустимости и качества переводов богослужебных текстов (на родные языки обращенных в православие народов) канонико-дисциплинарная по-зиция Константинопольского патриархата, которая была бы изложена письменно и

¹⁴⁶ Мнение, по которому под *избранными церковными службами* следует понимать частное богослужение, т.е. последования треб [Чифлянов 1981: 45], менее вероятно, чем предположение о переводе минеи. Последнее можно подкрепить еще и ссылкой на сообщение летописи под 898 г., согласно которому первоучители, закончив перевод Апостола, Евангелия и Псалтыри, *приложиста ... худтанкѣ и прочаѣ книги* [ЛЛ 1926: 27]. С октоихом тесно соотнесены именно служ. минеи, и в Ил мы встречаем отсылки к октоиху (ср.: 12^о 13 сти(х). въ охтанц. гла(с). ѿ.; так же 41^о 21). *Прочаѣ книги* – это, вероятно, не одни минеи, а собирательно-богослужебные книги, однородные октоиху, стало быть, в том числе и минеи.

¹⁴⁷ Со ссылкой на В.М. Истрина.

¹⁴⁸ О Студийском уставе, введенном на Руси, см. [Лисицын 1911]. Относительно общей истории бого-служебного устава см. [Мансветов 1885; Скабалланович 1910–1915].

относилось бы к IX–XI вв. – не известна. Тем не менее она существовала, и ее в самом конце XII в. четко подытожил великий канонист Феодор Вальсамон, патриарх Антиохийский (ок. 1140 – ск. не ранее 1195 г.)¹⁴⁹. Вальсамон, как известно, толковал канонические тексты, написанные задолго до него, – например, при патр. Фотии и раньше, – так что и в его авторитетном определении относительно переводного богослужения не-ромеев усматривается отражение многовековых воззрений.

Отвечая на вопросы патриарха Александрийского Марка, в частности на 5-й вопрос¹⁵⁰, он указал¹⁵¹, что православные не-ромей вправе священнодействовать на родных языках, но (лишь) при условии, что они «имеют совершенно одинаковые»¹⁵² списки принятых святых молитв, переведенные¹⁵³ с исправно переписанных греческих литургических книг¹⁵⁴» [Migne 1865: 957].

Феодор Вальсамон, как представляется, фактически выставил не одно условие, а два, пусть и сопряженных. Во-первых, все литургические книги на местном языке должны быть одинаковыми (что ведет к постоянному сличению списков между собой). Во-вторых, эти литургические книги должны содержать точные переводы с греческого (отсюда, в частности, требование постоянной сверки списков с греч. оригиналами)¹⁵⁵. Поскольку в какой-то момент обычно замечалась порча многократно переписанных книг, постоянной компонентой бытия Русской Церкви является сверка (*справа*) как Свщ. Писания, так и литургических книг по греч. образцам¹⁵⁶.

Ил отражает состояние минейных книг на Руси до sprawy второй половины XI в., и ее текст является представителем до-студийского извода¹⁵⁷. Тп отражает результат sprawy и является представителем после-студийской редакции¹⁵⁸.

Поскольку других памятников древнейшего минейного извода мы пока не знаем¹⁵⁹, Ильина книга есть краеугольный камень слав. минейной филологии¹⁶⁰.

¹⁴⁹ Подробнее о личности и трудах Феодора Вальсамона см. [Beck 1977: 657–658; Красножен 1911].

¹⁵⁰ «Нет ли ущерба при совершении священными действиями на местном диалекте православными верующими, сирийцами или из Армении, а также из других областей, или им необходимо священнодействовать по греческим книгам?» [Migne 1865: 957].

¹⁵¹ Поскольку разыскать 5-й канонический ответ Вальсамона нелегко, приводим его здесь в подлиннике:

ΟΙ γοῦν Ὀρθοδοξοῦτες ἐν πᾶσι, καὶ ὡς τῆς Ἑλληνίδος φωνῆς πάντων ἀμέτοχοι, μετὰ τῆς ἰδιᾶς διαλέκτου ἱεροουργήσουσι, ἀντίγραφα ἔχοντες τῶν συνήθων ἁγίων εὐχῶν ἀπαράλλακτα, ὡς μεταγραφέντα ἐκ κοιτάκιων καλλιγραφήθειντων διὰ γραμμάτων Ἑλληνικῶν [Migne 1865: 957].

¹⁵² Переводческим эквивалентом *совершенно одинаковые* (можно было бы также сказать: *ни в чем не отличные*) мы передаем (употребленный патр. Феодором) ключевой патристический термин ἀπαράλλακτος. В словаре [Lampe 1976: 174–175] он толкуется как: *invariable, unchanging, precisely similar, identical, in no way varying or differing*.

¹⁵³ Употребленный здесь в подлиннике глагол μεταγράφω в медиопассиве означает 'переводить с языка на язык'.

¹⁵⁴ Словосочетанием *литургические книги* мы передали оборот оригинала ἐκ κοιτάκιων. Κοιτάκιον – это не только жанр литургической поэзии, сопряженный с именем Романа Сладкопевца, но и тип литургической книги – род служебника, содержащий литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого и Преждеосвященных Даров [Lampe 1976: 768]. В данном контексте термин употреблен в расширительном смысле.

¹⁵⁵ «Время от времени оригинал может вторгаться в жизнь перевода: то перевод подвергается вторичной выверке по оригиналу, то в различные виды взаимодействия входят отдельные переводы того же памятника и т. д.» [Лихачев 1962: 419].

¹⁵⁶ Приведшая даже к расколу. Об исправлении служ. миней в XVII в. см. [Никольский 1896].

¹⁵⁷ Извод – это «тот или иной вид текста, возникший стихийно, нецеленаправленно, в результате многократной переписки текста» [Лихачев 1962: 125].

¹⁵⁸ Редакция – это «такая переработка памятника, которая была произведена с определенной целью, будучи вызвана или какими-либо общественными событиями, или чисто литературными интересами и вкусами книжника, или с целью обрусить самый памятник (например, со стороны языка) и т. п. – одним словом, такая переработка, которая может быть названа литературной» [Истрин 1922: 59]. Это определение редакции Д. С. Лихачев назвал наиболее точным [Лихачев 1962: 124].

¹⁵⁹ Упомянувшиеся рукописи (РГАДА, ф. 381, № 98; ГПБ, Q. п. I. 12), которые отчасти еще хранят следы до-студийского извода, все же уже испытали на себе влияние после-студийского редактирования.

¹⁶⁰ Авторы выражают искреннюю признательность О. Н. Трубочеву и А. Н. Шаламовой, прочитавшим статью в рукописи. Сделанные ими замечания были приняты во внимание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абрамович Д.И. 1916 – Жития свв. мучеников Бориса и Глеба и службы им / Пригот. к печ. Д.И. Абрамович. Пг., 1916. (Памятники древнерусской литературы. Вып. 2).
- Вайан А. 1952 – Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
- Ван-Вейк Н. 1957 – История старославянского языка. М., 1957.
- ван Дейк Т.А. 1989 – Язык, познание, коммуникация. Сборник работ. М., 1989.
- Васильев Л.Л. 1972 – Труды по истории русского и украинского языков. München, 1972.
- Введение 1916 – Введение во храм пресв. Богородицы / Под ред. М.(Н.) Скабаллановича. Киев, 1916.
- Верещагин Е.М. 1994 – Последование под 30-м января из Минеи № 98 (ф. 381) РГАДА (Москва) – предполагаемый гимн первоучителя славян Кирилла // *Palaeobulgarica*. 1994. XVIII (1).
- Верещагин Е.М. 1996а – Христианская книжность Древней Руси. М., 1996.
- Верещагин Е.М. 1996б – «Написание о правой вере» Константина-Кирилла Философа: билинейно-спатическая публикация источника; представление и оценка нового издательского метода. Статья вторая // *Русистика сегодня*. 1996. № 4.
- Верещагин Е.М. 1997 – История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.
- Верещагин Е.М., Юрченко А.И. 1996 – «Написание о правой вере» Константина-Кирилла Философа: билинейно-спатическая публикация источника; представление и оценка нового издательского метода. Статья первая // *Русистика сегодня*. 1996. № 3.
- Воздвижение 1915 – Воздвижение честнаго креста / Под ред. М.(Н.) Скабаллановича. Киев, 1915.
- Вост. – Востоков А.Х. Словарь церковнославянского языка. Т. 2. СПб., 1861.
- Гарднер И.А. 1978 – Богослужбное пение русской Православной Церкви. Сущность, система и история. Т. 1. Джорданвилл, 1978.
- ГВНП – Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
- Гиппиус А.А. 1990 – Из истории взаимодействия региональных изводов церковнославянского в древнейшую эпоху (формы номинатива действительных причастий на *-*onts*) // *Сов. славяноведение*. 1990. № 1.
- Гранстрем Е.Э. 1971 – Греческие параллели к гимнографическим текстам Минеи Дубровского // *Русский язык. Источники для его изучения*. М., 1971.
- Даль В.И. – Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М., 1955.
- Деяния 1996 – Деяния вселенских соборов. Т. I: I, II, III соборы. СПб., 1996.
- Досева Ц. 1991 – Имена со значением лица в Новгородских минеях 1095–1097 гг. // *Имя и глагол в исторической перспективе*. Рига, 1991.
- Дурново Н.Н. 1925–1926; 1926–1927 – Русские рукописи XI и XII в. как памятники старославянского языка // *ЖФ*. 1925–1926. 5; 1926–1927. 6.
- Дьяч. – Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. (Допечатка) М., 1993.
- Жолобов О.Ф. 1997 – Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте. Казань, 1997.
- Зализняк А.А. 1993 – К изучению языка берестяных грамот // Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
- Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Иванова-Константинова К. 1971 – Два неизвестни азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней // Константин Философ. Доклади от симпозиума, посветен на 1100-годишнината от смъртта му. София, 1971.
- Иорданиди С.И., Крысько В.Б. 1995 – Древнерусские инновации во множественном числе именного склонения. II // *ВЯ*. 1995. № 5.
- Истрин В.М. 1922 – Очерк истории древнерусской литературы домонгольского периода. Пг., 1922.
- Карнеева М.И. 1918 – Язык Службной минеи 1095 г. (редакция Н.Н. Дурново) // *РФВ*. 1917. № 3–4. Казань, 1918.
- Карский Е.Ф. 1979 – Славянская кирилловская палеография. М., 1979.
- Каталог 1988 – Каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР. Ч. I. М., 1988.
- Климент Охридски 1973 – Събрани съчинения. Т. 3. Пространни жития на Кирил и Методий / Подгот. за печ. Б.С. Ангелов и Х. Кодов. София, 1973.
- Кожухаров С. 1984 – Песенното творчество на старобългарския книжовник Наум Охридски // *Литературна история*, (София), 1984, 12.
- Кожухаров С. 1995а – Канон за Димитър Солунски // Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. II. София, 1995.
- Кожухаров С. 1995б – Канон за Климент Римски // Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. II. София, 1995.
- Козловский М.М. 1885–1895 – Исследование о языке Остромирова Евангелия // *Исследования по русскому языку*. Т. 1. СПб., 1885–1895.

- Красножен М. [Е.] 1911 – Толкователи канонического кодекса Восточной Церкви Аристин, Зонара и Вальсамон. Юрьев, 1911.
- Крысько В.Б. 1994 – Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.
- Крысько В.Б. 1996 – Маргиналии к «Старославянскому словарю» // ВЯ. 1996. № 5.
- Крысько В.Б. 1997 – Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. М., 1997.
- Крысько В.Б. 1998 – Поправки к I–IV томам *Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)* // Rling. 1998. V. 22. № 3.
- ЛЛ – Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. Вып. 1: Повесть временных лет. Л., 1926.
- Лавров П.А. 1930 – Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности // Труды Славянской Комиссии (Академии Наук СССР). Л., 1930.
- Лисицын М. [А.] 1911 – Первоначальный славяно-русский Типикон. Историко-археологическое исследование. СПб., 1911.
- Лихачев Д.С. 1962/1983 – Текстология. На материале русской литературы X–XVII вв. М.; Л., 1962 (2-е изд. – 1983).
- ЛН – Новгородская харатейная летопись. М., 1964.
- Макарий (Булгаков, митр.) 1995 – История Русской Церкви. Кн. 2. М., 1995.
- Мансеров И. [Д.] 1885 – Церковный устав (типик), его образование и судьба в греческой и русской церкви. М., 1885.
- Мецгер Б.М. 1996 – Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала (Пер. с англ.) М., 1996.
- Миркович 1961 – Л. Мирковић. Хеортологија, или историјски развитак и богослужење празника Православне источне цркве. Београд, 1961.
- Мирчева Б., Бърлиева С. 1987 – Предварителен списък на Кирило-Методиевските извори // Кирило-Методиевски студии. Кн. 4. София, 1987.
- Мошина М.А. 1983 – Греческие разночтения в славянских гимнографических текстах // Византийский временник. Т. 44. М., 1983.
- Мошина М.А. 1998 – Самоподобные песнопения аѡтѡцѡла в церковнославянских богослужебных рукописях // Русь и южные славяне. Сб. статей к 100-летию со дня рождения В.А. Мошина (1894–1987) / Сост. и отв. ред. В.М. Загребин. СПб., 1998.
- Мурынов М.Ф. 1981 – О Минее Дубровского // ВЯ. 1981. № 1.
- Мурынов М.Ф. 1991 – Страницы гимнографии Киевской Руси // Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян. М., 1991.
- Нечунаева Н.А. 1998 – Майская минея и рукопись Q.п. I.25 из собрания А.Ф. Гильфердинга // Русь и южные славяне. Сб. статей к 100-летию со дня рождения В.А. Мошина (1894–1987) / Сост. и отв. ред. В.М. Загребин. СПб., 1998.
- Никольский К. [Т.] 1896 – Материалы для истории исправления богослужебных книг. Об исправлении Устава церковного в 1682 г. и месячных миней в 1689–1691 гг. СПб., 1896.
- Никольский К. [Т.] 1907 – Пособие к изучению Устава богослужения Православной Церкви. СПб., 1907.
- НОС – Новгородский областной словарь. Вып. 6. Новгород, 1994.
- Обнорский С.П. 1912 – О языке Ефремовской Кормчей XII века. СПб., 1912. (Иссл. по русск. яз. Т. 3. Вып. 1).
- Обнорский С.П. 1925 – Исследование о языке Миней за ноябрь 1097 года // ИОРЯС. 1924. Т. 29. Л., 1925.
- Петрухин В.Я. 1995 – Начало этнокультурной истории Руси IX–XI вв. Смоленск, 1995.
- Покровский А.А. 1916 – Древнее псковско-новгородское письменное наследие. Обзор пергаменных рукописей Типографской и Патриаршей библиотек в связи с вопросом о времени образования этих хранилищ. М., 1916.
- Пятидесятница 1916 – Пятидесятница / Под ред. М.(Н.) Скабаллановича. Киев, 1916.
- Розенфельд А. 1899 – Язык Святослава Изборника 1073 г. // РФВ. 1899. Кн. 1.
- Рождество Богородицы 1915 – Рождество пресв. Богородицы / Под ред. М.(Н.) Скабаллановича. Киев, 1915.
- Рождество Богородицы 1916 – Рождество Христово / Под ред. М. (Н.) Скабаллановича. Киев, 1916.
- Рубан Ю.(И.) 1994 – Сретение Господне. Опыт историко-литургического исследования Ю. Рубана. СПб., 1994.
- СбТр. – *Popovski J., Tomson F.J., Veder W.R. The Troickij sbornik: Text in transcription. Nijmegen, 1988. (Полата кѣнигописнаѣ; № 21–22).*
- СБУ – Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971.
- СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–4 – М., 1988–1991–.
- Семенов П. 1865, 1867 – Географическо-статистический словарь Российской империи. Т. 2, 3. СПб., 1865, 1867.

- Сергий 1901 – Архиеп. Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Восточная агиология. Владимир, 1901.
- СИ – Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в. Т. 1–3 (1,2). Szeged, 1989–1995.
- СК – Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984.
- Скабалланович М. [Н.] 1915 – Толковый Типикон. Вып. III. Киев, 1915.
- Сл XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–23–. М., 1975–1997–.
- Соболевский А.И. 1900 – Церковнославянские тексты моравского происхождения // РФВ. 1900. № 1–2.
- Соболевский А.И. 1907 – Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907.
- Срезн. – Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 1–3. М., 1989.
- Срезневский И.И. 1882 – Древние памятники русского письма и языка (X–XIV вв.). Общее повременное обозрение. СПб., 1882.
- Срезневский И.И. 1885 – Славяно-русская палеография. СПб., 1885.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 21. Л., 1986.
- Станчев К., Попов Г. 1988 – Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988.
- Строев П. [М.] 1877 – Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877.
- ССС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Зейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.
- Супр – Супрасълски или Ретков сборник. Т. 1–2. София, 1982–1983.
- Теория метафоры 1990 – Теория метафоры. Вступительная статья и составление Н.Д. Арутюновой. М., 1990.
- Толстой Н.И. 1988 – История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
- Толстой Н.И. 1998 – Избранные труды. Т. II. Славянская литературно-языковая ситуация. М., 1998.
- Туницкий Н.Л. 1913 – Св. Климент, епископ Словенский. Его жизнь и просветительская деятельность. Сергиев Посад, 1913.
- Тышкевич С. 1954 – Краткий латинско-русский богословский словарь. Нью-Йорк, 1954.
- Успение 1916 – Успение пресв. Богородицы / Под ред. М.(Н.) Скабаллановича. Киев, 1916.
- Фасмер М. 1986 – Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1986–1987.
- Филарет 1902 – Архиеп. Филарет (Гумилевский). Исторический обзор песнопевцев и песнопения греческой церкви. СПб., 1902.
- Флоренский Н. 1860–1881 – История богослужебных последований Православной восточной церкви. М., 1860; Киев, 1881.
- Чифлянов Б. 1981 – Кирилло-Мефодиевская проблематика в свете литургической науки // Журнал Московской Патриархии. 1981. № 5.
- Шахматов А.А. 1957 – Историческая морфология русского языка. М., 1957.
- ЭС 1894 – Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. XIII. СПб., 1894.
- Ягич И.В. 1886 – Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь. В церковнославянском переводе по русским рукописям 1095–1097 г. СПб., 1886. (Памятники древнерусского языка, т. I).
- Янин В.Л. 1991 – Новгородские акты XII–XV вв.: Хронологический комментарий. М., 1991.
- Aland 1989 – K. Aland, B. Aland. Der Text des Neuen Testaments. Einführung in die wissenschaftliche Ausgaben sowie in Theorie und Praxis der modernen Textkritik. Stuttgart, 1989.
- Analecta 1976 – Analecta Hymnica Graeca [...] / Ed.J. Schiró. T. IV. Roma, 1989.
- Beck H.-G. 1977 – Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. München, 1977.
- Benseler 1962 – Benselers Griechisch-Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1962.
- Birnbaum H., Schaeken J. 1977 – Das altkirchenslavische Wort: Bildung – Bedeutung – Herleitung // Altkirchenslavische Studien I. München, 1977.
- Diels P. 1932 – Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932.
- Dissertationes 1985 – Dissertationes Slavicae. V. XVII. Szeged, 1985.
- Dostál A., Rothe H. (Hrsg.) 1977–1990 – Der altrussische Kondakar'. T. III–VI. Giessen, 1977–1980; Köln, Wien, 1990.
- Gülich E., Rauble W. (Hrsg.) 1975 – Textsorten. Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht. Wiesbaden, 1975.
- Hannick Ch. 1972 – Studien zu liturgischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Wien, 1972.
- Hannick Ch. 1978 – Aux origines de la version slave de l'Hirmologion // Fundamental problems of early Slavic music and poetry / Ed. by Ch. Hannick. Kopenhagen, 1978.
- Hannik Ch. 1989 – Das Hirmologion in der Übersetzung des Methodius // Международен симпозиум «1100 години от блажената кончина на св. Методий». Т. 1. София, 1989.
- Hannick Ch. 1991 – Die byzantinischen liturgischen Handschriften / Kaiserin Theophanu – Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends / Hrsg. P. Schreiner. Münster, 1991.
- Hannick Ch. 1994 – Early Slavic liturgical hymns in musicological context // Recherche slavistique. V. XLI, 1994.
- Hanselmann J., Swarat U. (Hrsg.) 1987 – Fachwörterbuch Theologie. Wuppertal, 1987.

- Interpretation 1994 – Die Interpretation der Bibel in der Kirche // Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 115. Päpstliche Bibelkommission. Bonn, s.a. [1994].
- Jagić V. 1913 – Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913.
- Lampe 1976 – A Patristic Greek lexicon / Ed. by G.W.H. Lampe. Oxford, 1976.
- Lépissier J. 1968 – Les Commentaires des Psaumes de Théodore (version slave): Étude linguistique et philologique. P., 1968.
- Lunt H.G. 1968 – On the *Izbornik of 1076* // Studies in Slavic linguistics and poetics in honor of Boris O. Unbegaun. N.Y.; L., 1968.
- Michaelis J.D. 1788 – Einleitung in die göttlichen Schriften des Neuen Bundes. 4. Ausgabe. Göttingen, 1788.
- Migne 1865 – Patrologiae Cursus Completus ... Series Graeca ... accurate J.-P. Migne. T. CXXXVIII. 1865.
- Miklosich F. 1862–1865 – Lexicon palaeoslovenico–graeco–latinum. Vindobonae, 1862–1865.
- Momina M.A. 1990 – Zum Problem der Korrektur slavischer gottesdienstlicher hymnographischer Bücher in der Rus' des XI. Jh. // ZSIPh. Bd. L. 1990.
- Müller P.-G. 1985 – Lexikon exegetischer Fachbegriffe. Stuttgart, 1985.
- Nestle, Aland 1963 – Novum Testamentum Graece / Ed. by Eb. Nestle, Er. Nestle et K. Aland. Stuttgart, 1963.
- Pokorny J. 1959 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Bd. Bern; München, 1959.
- RHSJ – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Sv. 75. Zagreb, 1962.
- Rothe H., Vereščagin E.M. (Hrsg.) 1993, 1996, 1997 – 1) Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts. Служебная минея за декабрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям. Facsimile der Handschriften CGADA f. 381 Nr. 96 und 97. Köln, Weimar, Wien, 1993; 2) Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts. Служебная минея за декабрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям. Т. 1: 1. bis 8. Dezember. Opladen, 1997; 3) Т. 2: 9. bis 19. Dezember. Opladen, 1997.
- SJS – Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1958–1997–.
- Stecher G., Schnelle U. 1989 – Einführung in die neutestamentliche Exegese. Göttingen, 1989.
- Tarnanidis I.C. 1988 – The Slavic manuscripts discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988.
- Toivonen Y.H. 1955 – Suomen kielen etymologinen sanakirja. I. Helsinki, 1955.
- Vaillant A. 1932 – Notules // Slavia. 1932. R. 11. Seš. 1.
- Vaillant A. 1974 – Grammaire comparée des langues slaves. T. IV: La formation des noms. P., 1974.
- Vondrák W. 1910 – Kirchenslavische Chrestomatie. Göttingen, 1910.
- Ἀνθολόγιον 1967–1968 – Ἀνθολόγιον τοῦ ὄλου ἐνιαυτοῦ. Ἐν Ῥώμῃ, 1967–1968.
- Βεργωτῆ Γ.Θ. 1988 – Λεξικὸν λειτουργικῶν καὶ τελετουργικῶν ὄρων. Θεσσαλονίκη, 1988.
- Εἰρημολόγιον 1932 – Εἰρημολόγιον ἐκδιδόμενον ὑπὸ ... Σ. Εὐστρατιάδου. Chennepières-sur-Marne, 1932.
- Μηναῖα 1888–1901 – Μηναῖα τοῦ ὄλου ἐνιαυτοῦ. Ἐν Ῥώμῃ, 1888–1901.
- Μηναῖον – Μηναῖον τοῦ Σεπτεμβρίου (Ὀκτωβρίου, Νοεμβρίου et c.), Ἀθήναι, s.a.
- Τωμαδάκη Ν.Β. 1993 – Ἡ Βυζαντινὴ Ὑμνογραφία καὶ Ποίησις. Τ. 2. Θεσσαλονίκη, 1993.

© 1999 г. Л.Г. ЗУБКОВА

ТИПОЛОГИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ В СВЕТЕ ИХ СЕМАТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

*Памяти
Николая Сергеевича Трубецкого
(1890–1938)*

Едва ли не самые значительные трудности в создании содержательно ориентированной цельносистемной типологии, по свидетельству Г.А. Климова, связаны с включением в состав структурных признаков языкового типа парадигматических характеристик фонологического уровня [Климов 1983: 208, 211]. Такое включение предполагает как минимум определенную скоординированность парадигматики фонем с грамматическим строем языка. Между тем создатель общей систематики фонологических оппозиций Н.С. Трубецкой, касаясь недостаточно проработанного, по его мнению, вопроса о соотношении звуковой системы с грамматическим строем, в 1931 г. писал: "...Если под системой разуместь инвентарь, то соотношения никакого нет (могут быть два языка с совершенно одинаковым фонологическим инвентарем и совсем различными строями – напр., мордовский и русский и т.д.); но если брать функцию и статистику фонологических элементов, то получаются различия, находящиеся, по-видимому, в какой-то связи с грамматическим строем" [Трубецкой 1987: 420–421].

Действительно, при сравнении функций и комбинаторных возможностей фонем в русском и мордовском он обнаруживает в последнем "полный параллелизм между фонологическим и грамматическим строем" и, в частности, связывает с агглютинацией тот факт, что мордовская фонология "...редко обращается к свободному использованию коррелятивных противопоставлений и оперирует преимущественно архифонемами" [Трубецкой 1987: 66].

Тем не менее свою классификацию фонологических оппозиций Н.С. Трубецкой никак не соотносит ни с типологией языков вообще, ни с типологией языковых значений в частности. В его понимании в общей систематике фонологических оппозиций «"различение" ("дистинкция") в фонологическом смысле, то есть способность к смысло-различению, – это нечто такое, что не подлежит дальнейшему расчленению» [Трубецкой 1960: 100]. Хотя фонологические оппозиции могут дифференцировать либо значения слов (включая сюда и значения отдельных грамматических форм слова), либо значения предложений, однако разделение оппозиций на словоразличительные (лексические) и фразоразличительные (синтаксические), как считает Н.С. Трубецкой, применимо лишь к отдельным языкам. Он объясняет это отсутствием корреляции между типом оппозиции и ее функцией: "...все фонологические оппозиции, которые в одном языке выступают с фразоразличительной функцией, в другом языке могут быть наделены словоразличительной функцией" [Трубецкой 1960: 100]. Такое положение кажется тем более правомерным, что оно вполне согласуется с представлением об условном характере экспликативных средств звуковой стороны языка [Трубецкой 1960: 34], о произвольности языковых знаков.

Позднейшие попытки создания цельносистемной типологии, в частности опыт построения контенсивной типологии исходя из способа передачи субъектно-объектных

отношений, привели к пессимистическому выводу о том, что поиск фонологических импликаций континентального языкового типа в парадигматике фонологических систем обречен на неудачу [Климов 1983: 211]: "...не приходится ожидать какой-либо координированности фонемной парадигматики языка с содержательным принципом, отображаемым на его более высоких уровнях" [Климов 1983: 43].

И все же... Все же представляется возможным доказать обратное, опираясь прежде всего на самого Н.С. Трубецкого, но ориентируясь в иерархии функций фонологических оппозиций не на различение самостоятельных значащих единиц языка – слов и предложений, не на различение именных и глагольных классов, участвующих в передаче субъектно-объектных отношений, а на выражение основных типов языковых значений – лексических и грамматических, заданных первичным делением содержательной сферы языка. Основы такого подхода заложены в трудах классиков языкознания – В. фон Гумбольдта и И.А. Бодуэна де Куртенэ.

В. фон Гумбольдту казалось совершенно очевидным существование связи между звуком и его значением [Гумбольдт 1984: 92]. Более того, он указывал на связь **определенных звуков с определенными** понятиями [Гумбольдт 1984: 92], на **аналогию** понятий и звуков, особенно устойчивую при обозначении общих отношений [Гумбольдт 1984: 94], вследствие чего "словам со сходными значениями присуще также сходство звуков" [Гумбольдт 1984: 94].

Вслед за В. фон Гумбольдтом И.А. Бодуэн де Куртенэ не просто признает связь значения со звуком, но рассматривает ее как двустороннюю, допуская "...влияние известных звуков на значение и, наоборот, влияние значения на качество звуков" [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 81]. При этом И.А. Бодуэн де Куртенэ особо выделяет "известные противоположности (параллели) звуков" (различие мягких и твердых, звонких и глухих, долгих и кратких, ударенных и неударенных и т.п.), именно потому, что "...они находятся в тесной связи со значением слов и их частей" [Бодуэн де Куртенэ 1963, I: 80–81].

За различением значений слов и их частей у И.А. Бодуэна де Куртенэ стоит различение представлений семантических (внеязыковых) и представлений морфологических, т.е. представлений "структуры слов как единств, состоящих из морфем" [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 165].

Так как "каждый из психических элементов произносительной стороны языка ассоциируется или с морфологическими представлениями языка, или с семантическими, семасиологическими представлениями" [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 164], И.А. Бодуэн де Куртенэ вводит понятия морфологизации и семасиологизации фонетических представлений – произносительно-слуховых элементов фонем (кинем, акусм, кинакем) и соответствующих "противоположностей", противопоставлений фонем [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 164–174, 276–280]. Тем самым классификация фонем увязывается с их важнейшей функцией – быть экспонентами внеязыковых (семасиологических) и чисто языковых (морфологических) различий [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 185], т.е. с выражением лексических и грамматических значений. Таким образом закладываются основы функционального подхода к анализу звуковых средств языка.

С типологической точки зрения немаловажно, что, по И.А. Бодуэну де Куртенэ, избирательность в использовании произносительно-слуховых различий свойственна только морфологизации: морфологизируются, т.е. "ассоциируются с представлениями структуры слов, с представлениями некоторых форм и морфологических типов" [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 165], в разных языках разные произносительно-слуховые различия. [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 329]. Однако типологически значимыми, в частности для различения флективных и агглютинативных языков, И.А. Бодуэн де Куртенэ считает не столько типы морфологизируемых фонетических различий, сколько само наличие/отсутствие психофонетических, морфологически утилизированных альтернатив одних и тех же морфем (в том числе в качестве самостоятельных морфологических экспонентов) [Бодуэн де Куртенэ 1963, II: 184–185], а также регрессивное или прогрессивное направление звуковых влияний и изменений звуков [Бодуэн де

Куртенэ 1963, I: 104]. И то, и другое отражает господствующий принцип морфологического структурирования слова и его форм – воспроизводимость во флективных языках, производимость в агглютинативных языках (подробнее см.: [Зубкова 1990: 147–154]).

Дальнейшее развитие лингвистической мысли подтвердило перспективность поиска фонологических импликаций языкового типа именно в направлении, заданном И.А. Бодуэном де Куртенэ, т.е. в связи с выражением лексических и грамматических значений (ср.: [Jakobson, Waugh 1979: 53–55; Мельников 1997]) и тем общим соотношением лексических и – материально выраженных – грамматических средств, на основании чего Ф. де Соссюр выделил и противопоставил два типа языков как “два полюса, между которыми движется вся языковая система, два встречных течения, по которым направляется движение языка” [Соссюр 1977: 165], – лексические языки, где преобладает склонность к употреблению лексических средств и немотивированность знаков достигает своего максимума, и грамматические языки, где предпочтение оказывается грамматическим средствам и немотивированность знаков снижается до минимума [Соссюр 1977: 165–166].

На примере таких полярных языков, как ультралексический, по Ф. де Соссюру, китайский язык [Соссюр 1977: 166] и ультраграмматический арабский язык, который по индексу грамматичности, т.е. по отношению числа аффиксов и служебных слов к общему числу морфем в тексте, превосходит даже санскрит, отнесенный Ф. де Соссюром к образцам ультраграмматических языков [Квантитативная типология 1982: 320–321], Г.П. Мельников показал принципиальную выводимость системы фонем, в частности типов противопоставлений согласных, из детерминанты языка, в данном случае из тенденции к “лексикализации”, максимальной непроизводности корней в китайском и тенденции к максимальной мотивированности слов, максимальной деривационной “производительности” корней в арабском [Мельников 1968] (см. также изложение концепции Г.П. Мельникова в кн.: [Рождественский 1969: 55–58]). Тонкий системный анализ на основе детерминантного подхода позволил Г.П. Мельникову объяснить, например, почему в семитских языках столь развито противопоставление согласных по месту образования и чрезвычайно ограничено противопоставление согласных по способу образования.

Вслед за этим было показано также, что тип языка – и именно его лексичность/грамматичность – задает вычленяемость и степень автономности звуковых единиц по отношению к морфеме, их идентификацию, классификацию и функциональную нагрузку [Зубкова 1995; 1997; Zubkova 1997].

В таком случае естественно предположить, что и типология фонологических оппозиций должна, очевидно, соотноситься с основными типами языковых значений: одни оппозиции должны – по крайней мере, в тенденции – больше “подходить” для выражения индивидуальных лексических значений и, следовательно, для различения слов, другие – для выражения общих грамматических значений (прежде всего собственно грамматических, реляционных) и соответственно для различения словоформ. Основанием для такого разделения фонологических оппозиций могут служить различия между лексикой и грамматикой в характере семантических отношений.

В разграничении лексических и грамматических значений, лексических, словообразовательных и грамматических группировок слов, как показал Ю.С. Степанов, действует закон формальной логики об обратном отношении содержания понятия к его объему. Чем большее количество слов охватывают парадигматические группировки, чем они регулярнее, тем меньше признаков включает их содержание, тем беднее они семантически. В соответствии с увеличением объема группировок от лексических к словообразовательным и, далее, к грамматическим в том же направлении уменьшается число признаков, мыслимых в содержании, и возрастает степень обобщенности категориальных семантических признаков [Степанов 1975: 156].

В результате “по соотношению с лексическими значениями грамматические всегда характеризуются каким-либо одним признаком, но этот признак охватывает множе-

ство разнообразно названных предметов и соответственно группирует множество слов-названий" [Степанов 1975: 126]. Так как "...противоположения грамматических категорий б и н а р н ы", то, по мнению Р.О. Якобсона, "...понятие морфологической корреляции... должно быть положено в основу анализа грамматических систем" [Якобсон 1985: 212].

В отличие от грамматики для лексики более характерны не корреляции (противопоставления по одному основанию), а дизъюнкции (противопоставления по нескольким основаниям) в силу того, что лексическое значение как явление, однотипное с понятием, содержит в себе более чем один признак. По данным логического анализа семантических отношений лексических единиц, п р и в а т и в н ы е оппозиции ограничены в лексике отношениями между гиперонимом и гипонимом (*цветок* – *тюльпан*) и отношениями квазиантонимов, основывающихся на несовместимых противоречащих понятиях (*молодой* – *немолодой*), э к в и п о л е н т н ы е оппозиции характеризуют отношения согипонимов (*тюльпан* – *роза* – *ландыш*...), частичную синонимию (*ватник* – *стеганка* – *телогрейка*) и истинную антонимию (*молодой* – *старый*), д и з ъ ю н к т и в н ы е – ассоциативную полисемию (*аудитория*₁ ‘помещение для чтения лекций’ – *аудитория*₂ ‘слушатели лекции в таком помещении’), омонимию (*брак*¹ ‘супружеские отношения’ – *брак*² ‘недоброкачественное изделие’) [Новиков 1982: 136–147, 258]. В количественном отношении полисемия преобладает над синонимией, антонимией и тем более гипонимией.

ЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ

Вследствие известного изоморфизма в структурной организации плана содержания и плана выражения и их взаимосвязи [Ельмслев 1960: 318, 307] указанный выше закон логики должен действовать и в звуковой форме языка. Если прав Р.О. Якобсон (а он, очевидно, прав) и "...группировка фонем и система грамматических (шире, *языков* – Л.З.) значений в одинаковой мере подчинены одному и тому же принципу: с т р а т и ф и к а ц и и з н а ч и м о с т е й (superposition des valeurs)" [Якобсон 1972: 256], то в языке как системе, связывающей значение со звуком, не могла не сложиться определенная корреляция между систематикой фонем и систематикой значений. Естественно, эта корреляция прежде всего охватывает соответствующие "крайние точки" – самые общие и первичные противоположения. В семантической сфере основополагающим является противоположение лексического и грамматического. В системе фонем при их логической классификации двумя крайними точками, по определению Н.С. Трубецкого, оказываются нейтрализуемые привативные пропорциональные одномерные оппозиции, с одной стороны, и изолированные неоднородные многомерные оппозиции, с другой стороны [Трубецкой 1960: 94].

Надо полагать, что для выражения индивидуальных лексических значений больше подходят члены изолированных многомерных эквиолентных (равнозначных) и, следовательно, ненейтрализуемых оппозиций, максимально далекие друг от друга по степени родства и максимально неясные в отношении фонологического содержания, т.е., короче говоря, члены **дизъюнктивных** противопоставлений. Поскольку лексические значения в отличие от грамматических гораздо более многочисленны и образуют открытый список, то неудивительно, что в системе фонологических оппозиций "...многомерные противоположения численно превышают одномерные" [Трубецкой 1960: 76], а "...изолированные оппозиции гораздо многочисленнее пропорциональных", так что "...наибольшую группу образуют изолированные многомерные оппозиции" [Трубецкой 1960: 78]. Наконец, среди оппозиций, выделяемых по отношениям между их членами, "эквиолентные оппозиции – самые частые оппозиции в любом языке" [Трубецкой 1960: 83].

Для выражения грамматических значений, особенно словоизменительных (модифицирующих), напротив, более пригодны члены одномерных пропорциональных прива-

тивных оппозиций, т.е. **корреляций**. Члены таких оппозиций "...состоят между собой в близком родстве" [Трубецкой 1960: 93] и вследствие родства, как заметил Р.И. Аванесов, "...представляют собою не только различие, но и единство" [Аванесов 1956: 182]. Поэтому они могут использоваться для того, чтобы соотносительность грамматических форм подкрепить соотносительностью их звукового выражения, в частности с помощью морфонологических чередований.

Если степень звуковых различий соотносительна со степенью семантических различий, то можно предположить, что чередования коррелирующих парных фонем в составе корня (основы) должны предпочтительнее использоваться при словоизменении. Такие чередования, с одной стороны, служат различению словоформ, с другой стороны, подчеркивая соотносительность последних, обеспечивают единство, тождество слова как системы словоформ, а с третьей, через тождество отношений между парными фонемами соотносительного ряда подчеркивают тождество отношений между членами грамматических оппозиций, закрепляя таким образом грамматическую категоризацию.

При деривации, когда мотивационные отношения связывают хотя и родственные, но все же разные лексические единицы, чередования дизъюнктивных фонем логически так же целесообразны, как чередования коррелирующих фонем: первые – для указания на различие, на лексическую самостоятельность производящего и производного членов словообразовательной пары, вторые – для указания на их родство.

Эти предположения подтверждаются, в частности, на материале русского языка. В самом деле, по наблюдениям Н.С. Трубецкого, когда чередование является единственным средством передачи формального противопоставления, то, за единичными исключениями, "в словоизменении могут использоваться только чередования с коррелирующими альтернантами" [Трубецкой 1987: 134]. Это, во-первых, чередования "коррелирующих видов" гласных – сильных (ударных) и слабых (безударных) – при передвижении ударения в словоизменительной парадигме, а во-вторых, чередования согласных по тембру. В первом случае чередуются аллофоны гласных, находящиеся не просто в близком, но ближайшем родстве, во втором – твердые и мягкие согласные, различие между которыми еще не стало вполне фонематическим. В словообразовании при тех же условиях используются чередования как с коррелирующими, так и с дизъюнктивными альтернантами, причем чередуются почти исключительно согласные, являющиеся основными носителями лексической информации (см. ниже) [Трубецкой 1987: 135–136].

Можно заметить также, что степень разграничения чередований с коррелирующими и дизъюнктивными альтернантами в словоизменении и словообразовании определенно зависит от лексичности/грамматичности части речи. Поэтому данное разграничение последовательно проводится в самой знаменательной, самой лексичной части речи – в имени существительном и отсутствует в глаголе, в котором "...больше, чем в других частях речи, пересекаются, причудливо взаимодействуя, лексическое и грамматическое" [Уфимцева 1974: 128]. Соответственно "именное словоизменение, в сущности, знает лишь чередования с коррелирующими альтернантами (передвижение ударения, чередование согласных по тембру), и то в довольно ограниченных масштабах. ... Чередования с дизъюнктивными альтернантами выступают у неглагольных корней и суффиксальных морфем только в основообразовании; при этом чередования гласных данного типа весьма редки, а чередования согласных продуктивны и хорошо засвидетельствованы только у k, g, x, с в исходе основы. Напротив, в глагольных корневых морфемах и основах богато представлены все виды чередований (даже выпадение согласного!) как в основообразовании, так и в словоизменении" [Трубецкой 1987: 136–137], причем в обоих видах формообразования живыми и продуктивными являются чередования зубных и губных, но не заднеязычных [Трубецкой 1987: 123–128].

Поскольку модификация корня/основы при формообразовании есть свойство флективно-фузионных языков, то и корреляции особенно необходимы для этих языков. В агглютинативных языках, где модификация корня/основы не участвует в выражении

грамматических значений, нет, вообще говоря, необходимости в корреляции фонем.

В этой связи представляется вполне закономерным, что, несмотря на наличие корреляций, "...коррелятивные противопоставления в мордовском *используются сравнительно меньше, чем в русском*" [Трубецкой 1987: 65–66]. Ведь "мордовский не знает никаких грамматически значимых изменений звукового облика корня. Единственным средством формообразования является агглютинация, то есть прибавление, пристегивание строевых элементов к неизменяемому корню" [Трубецкой 1987: 66].

Показательно и то, что в предлагаемой Н.С. Трубецким фонетической системе искусственного международного языка, который, по мнению Н.С. Трубецкого, должен обладать по возможности наиболее простой как грамматической, так и звуковой системой, нет других коррелятивных пар согласных, кроме р–m, t–n, образованных членами первичных, по Р.О. Якобсону, консонантных противоположений [Якобсон 1972: 248–249, 253–255]. Более того, Н.С. Трубецкой считает, что "...в звуковой системе этого языка нужно во что бы то ни стало избегать так называемых корреляций. В искусственном международном языке для различения слов не должны использоваться ни различия долгих и кратких гласных, ни различия между звонкими и глухими, соответственно интенсивными и слабыми или придыхательными и непридыхательными согласными, ни различия в месте ударения. Тем более, что все эти различия совершенно неизвестны большей части языков земного шара" [Трубецкой 1987: 17].

Таким образом, завершая анализ логической классификации фонологических оппозиций, можно сделать вывод о функциональной сопряженности дизъюнктивных противоположений фонем с выражением лексических значений, а коррелятивных противоположений фонем с выражением грамматических значений. Такая скоординированность парадигматики фонем с планом содержания покоится на том, что в лексике преобладают дизъюнкции, в грамматике – корреляции.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИКА ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ

Неодинаковые потенциальные возможности фонологических различий в выражении лексических и грамматических значений обнаруживают не только логически выделяемые типы оппозиций, но и противоположения по отдельным фонетическим признакам. В первую очередь это относится к самым общим противоположениям – сегментных и суперсегментных средств, согласных и гласных.

Грамматические значения по самой своей природе – в силу (широко понимаемой) реляционности – требуют для своего выявления более или менее длинного линейного ряда (что вполне очевидно не только в случае синтагматически выявляемых реляционных категорий, но и референциальных). Поэтому для их выражения лучше всего подходят и прежде всего используются интонация и другие суперсегментные средства, характеризующие этот ряд как целое, а значит, и гласные, которые представляют собой "длительные состояния" и потому являются основными носителями просодической информации, обеспечивающими фонетическую целостность предложения, синтагмы, слова.

Следует особо подчеркнуть закрепленность интонации за выражением именно грамматических значений. Даже тогда, когда за интонацией признают знаковые свойства и фразоразличительные средства считаются самостоятельными знаками [Трубецкой 1960: 254], когда выделяются собственно содержательные единицы интонации, речь идет о внутриязыковой семантике, о выражении отношений – противопоставления, пояснения и т.п. [Николаева 1977: 21], о грамматикализованности интонационных фигур [Николаева 1977: 26].

Немаловажно и то, что число этих фигур, как и других типов суперсегментных единиц, ограничено и "...материально они часто эквивалентны одному признаку (напр., долгота, высота тона)" [Виноградов 1990: 556].

Сравнительно с суперсегментными сегментные единицы – фонемы – в силу большей

членораздельности сегментной сферы – и более многочисленны, и более сложны в меризматическом отношении ("...фонема – всегда комплекс признаков" [Виноградов 1990: 556]), а следовательно, обладают большими различительными возможностями. Поэтому открытое множество лексических единиц конституируется прежде всего сегментными средствами, на которые в случае необходимости как бы "накладываются" суперсегментные.

Среди сегментных единиц – в соответствии с иерархией функций и возможностями субстанции выполнять ту или иную функцию [Мельников 1968: 11] – "...согласные приобретают фонологическую значимость раньше гласных" [Якобсон 1972: 255] и закрепляются за выражением первичных и иерархически самых важных из языковых значений, каковыми являются "вещественные", лексические значения. Эта закреплённость в той или иной мере сохраняется и после обретения гласными фонологической значимости. Функциональное разграничение согласных и гласных опирается на их пространственно-временные свойства и в первую очередь на наиболее общий различающий их признак – наличие/отсутствие артикуляционного фокуса. Четко локализованные в пространстве речевого тракта и ограниченные во времени согласные больше приспособлены к выражению множества вещественных, лексических значений, нежели не имеющие артикуляционного фокуса и менее ограниченные во времени гласные. Не случайно среди языков мира есть такие, в которых знаменательный корень экспонируется, как правило, одними согласными, но нет языков, в которых экспонентами корня выступают исключительно гласные.

Из основополагающей роли наличия/отсутствия артикуляционного фокуса в различении звуков проистекает, с одной стороны, первостепенная значимость признаков локализации для выражения лексических значений, а с другой – неодинаковая функциональная нагрузка данных признаков у согласных и гласных. Локальные различия всегда существенны для специализирующихся на выражении лексических значений согласных, но не для гласных, в большей мере закреплённых за передачей грамматических значений. В самом деле, "есть языки, где эти признаки гласных не обладают смыслоразличительной функцией" [Трубецкой 1960: 108], но "нет ни одного языка, в котором локальные признаки согласных были бы фонологически несущественными" [Трубецкой 1960: 142]. Неудивительно, что там, где знаменательные корни экспонируются только согласными, противоположения по локальным признакам оказываются особенно развитыми.

Фонологическая систематика согласных определенно сопряжена с логической. Пожалуй, наиболее четко такую сопряженность обнаруживают противоположения согласных по месту и способу образования, т.е. по локальным и модальным признакам. Уже в 1931 г., анализируя консонантизм восточнокавказских языков, Н.С. Трубецкой обратил внимание на то, что "противопоставления, основанные на различиях по месту образования, д и з ь ю н к т и в н ы, то есть каждый локальный ряд противопоставлен всем остальным. ... Напротив, признаки с п о с о б а о б р а з о в а н и я шумных фонем – не дизъюнктивные, а коррелятивные категории, то есть каждый артикуляционный класс специально противопоставлен какому-нибудь другому, так что в языковом сознании они всегда выступают парами" [Трубецкой 1987: 287].

Позднее, в "Основах фонологии", на огромном языковом материале Н.С. Трубецкой вскрывает логическую неоднородность локальных противопоставлений. При этом оказывается, что функциональная нагрузка локальных консонантных противопоставлений дифференцируется не только в зависимости от их логической квалификации, но и в соответствии со стратификацией фонологических противопоставлений. Лексически нагружены прежде всего основные локальные ряды, ибо "основные ряды относятся друг к другу, как члены многомерных гетерогенных оппозиций. Однако во многих языках некоторые из этих основных рядов расщепляются на два близкородственных ряда, которые относятся друг к другу как члены одномерной эквиполентной оппозиции, а к другим (основным или близкородственным) рядам той же системы – как члены многомерной оппозиции. Наконец, каждый локальный ряд может расщепляться на ря-

ды, относящиеся друг к другу как члены (фактически или логически) привативной оппозиции. В той мере, в какой подобное расщепление охватывает несколько локальных рядов той же консонантной системы, возникает либо тембровая, либо авульсивная корреляция" [Трубецкой 1960: 163]. Эти последние способны получить нагрузку в выражении грамматических значений. Примером может служить противополжение согласных по признаку твердости–мягкости в русском языке: чередования твердых согласных с парными мягкими и наоборот широко используются при словоизменении и словообразовании. Симптоматично, что корреляция согласных по твердости–мягкости развивается в русском языке в тесной связи с модальными корреляциями по способу образования и глухости–звонкости, вычлняясь из них [Иванов 1968; Степанов 1975: 261–262].

В отличие от противополжений по локальным признакам оппозиции по модальным, резонансным, а также просодическим признакам логически более однородны: все они, согласно Н.С. Трубецкому, имеют коррелятивную природу (или во всяком случае тяготеют к ней) [Трубецкой 1960: 167–246]. Вследствие своей коррелятивности данные признаки чаще морфологизуются. К числу морфологизованных принадлежат, например, корреляции смычный–щелевой в новогреческом [Трубецкой 1960: 170], ирландском [Герценберг 1970: 84–86, 102–103] и нивхском [Панфилов 1968: 412–413, 424–425], глухой–звонкий и звонкий–носовой в ирландском [Герценберг 1970: 86], глухой–носовой в индонезийских языках [Зубкова 1974: 23–30], придыхательный–непридыхательный в бирманском [Касевич 1986: 27, 30] и т.д. Чередующиеся члены резонансной (назальной) и разнообразных модальных корреляций согласных принадлежат к одному локальному ряду. Это касается не только морфонологических, но и автоматических чередований, наблюдаемых, например, на стыке морфем в агглютинативных языках [Золхоев 1980]. Благодаря устойчивости локальных признаков – в силу многомерности оппозиционных связей между основными локальными рядами – на эти признаки, естественно, ложится бóльшая нагрузка в передаче лексических значений.

Таким образом, в отсутствие жестких разграничительных линий и в плане содержания, и в плане выражения все же можно говорить о предпочтительном использовании одних звуковых средств для выражения лексических значений, а других – для выражения грамматических значений: сегментные единицы, прежде всего согласные и в особенности их локальные признаки ориентированы на выражение лексических значений; суперсегментные средства, гласные и модальные признаки согласных – на передачу грамматических значений.

Из анализа фонетической систематики фонологических оппозиций следует, что, помимо соотношения дизъюнктивных и коррелятивных противополжений, стратификация значимостей в группировке фонем, с одной стороны, и в системе значений, с другой стороны, отражает историческую последовательность появления тех и других.

Многочисленные исследования становления грамматических форм, проводившиеся на протяжении XIX–XX вв., позволяют заключить, что "...грамматические категории системы номинации при своем возникновении проходят сначала этап лексической абстракции и являются при этом лексическими категориями, а затем этап, когда они являются категориями словообразовательными" [Степанов 1975: 156], т.е. становление языковых значений осуществляется в последовательности: «лексическое – словообразовательное – грамматическое».

В системе фонем, согласно Р.О. Якобсону, тоже действует универсальный иерархический порядок, вследствие чего "...выбор дифференциальных элементов внутри того или иного языка далеко не случаен и не произволен" [Якобсон 1972: 257]. В соответствии с тенденциями универсального и постоянного характера в русском языке, например, фонологические противополжения согласных формируются в следующем порядке. Прежде всего согласные противопоставляются по активному речевому органу и месту образования, и эти противополжения закрепляются за выражением лексических значений. Затем развиваются противополжения по способу образования и

глухости–звонкости. И, наконец, появляется противоположение по твердости–мягкости, служащее главным образом выражению грамматических значений.

По данным языков различных типов, принадлежащих к разным языковым семьям, конститутивная нагрузка противоположений фонем в сегментной организации слова также соотносена с иерархией языковых значений [Зубкова 1990].

"Лексикализация одних фонематических противоположений и грамматикализация других, отражая стратификацию фонологических и семантических различий в языковом развитии, указывает на их взаимосвязь: первичности лексических значений по отношению к грамматическим соответствует первичность консонантных противоположений по отношению к вокалическим и, далее, первичность локальных консонантных различий по отношению к модалным" [Зубкова 1990: 241].

Из соотносительности членений в семантической и звуковой сферах следует: "...чем древнее фонологическая оппозиция и чем больше расщеплений пережила она на своем веку, тем меньше ее участие в словообразовании (и ничтожно в словоизменении), но тем больше ее участие в неотчетливых и нерегулярных, паронимических противопоставлениях слов" [Степанов 1975: 262]. Иначе говоря, "...словоизменение построено на новейших фонологических оппозициях, словообразование – с меньшим участием новейших оппозиций и большим участием более старых, регулярные отношения в лексике – с еще меньшим участием новейших оппозиций и еще большим участием старых оппозиций, нерегулярные отношения в лексике типа паронимии построены в очень малой степени на новейших оппозициях и главным образом на оппозициях старых и очень старых" [Степанов 1975: 262–263].

Так перекрещиваются отношения в лексике, словообразовании и словоизменении, с одной стороны, и в фонологии – с другой.

Большая или меньшая закрепленность одних звуковых средств и фонологических оппозиций за выражением лексических значений, других – за выражением грамматических значений с возможной дальнейшей дифференциацией словообразовательных и словоизменяемых отношений указывает, далее, на то, что в тенденции фонемы обладают не только смысловозначительной, но и "смыслообозначительной", по А.Ф. Лосеву [Лосев 1989: 77], или, иначе, собственно сигнификативной (от лат. *significare* 'обозначать'), функцией, не сводимой к различению значащих единиц [Зубкова 1990: 240].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р.И. 1956 – Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
Бодуэн де Куртене И.А. 1963 – Избранные труды по общему языкознанию. Т. I–II. М., 1963.
Виноградов В.А. 1990 – Фонология // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Герценберг Л.Г. 1970 – Морфологическая структура слова в ирландском языке // Морфологическая структура слова в индоевропейских языках. М., 1970.
Гумбольдт В. фон. 1984 – Избранные труды по языковедению. М., 1984.
Ельмслев Л. 1960 – Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
Золотов В.И. 1980 – Фонология и морфонология агглютинативных языков (Особенности функционирования системы фонем). Новосибирск, 1980.
Зубкова Л.Г. 1974 – Оппозиция смычных согласных в индонезийском языке // *Asian and African Studies*. X. Bratislava, 1974.
Зубкова Л.Г. 1990 – Фонологическая типология слова. М., 1990.
Зубкова Л.Г. 1995 – Типология фонологических систем в свете сущностных свойств языка // III Международная конференция "Языки Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Африки". Тезисы докладов. М., 1995.
Зубкова Л.Г. 1997 – Лексичность/грамматичность языка и его звуковой строй // Фонетика в системе языка. Вып. I. М., 1997.
Иванов В.В. 1968 – Историческая фонология русского языка. М., 1968.
Касевич В.Б. 1986 – Морфонология. Л., 1986.
Квантитативная типология 1982 – Квантитативная типология языков Азии и Африки. Л., 1982.
Климов Г.А. 1983 – Принципы континентальной типологии. М., 1983.

- Лосев А.Ф.* 1989 – В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. М., 1989.
- Мельников Г.П.* 1968 – Системный анализ причин своеобразия семитского консонантизма. М., 1968.
- Мельников Г.П.* 1997 – О природе фонетических и фонологических единиц в свете понятий современной системой лингвистики // Фонетика в системе языка. Вып. 1. М., 1997.
- Николаева Т.М.* 1977 – Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
- Новиков Л.А.* 1982 – Семантика русского языка. М., 1982.
- Панфилов В.З.* 1968 – Нивхский язык // Языки народов СССР. Т. V. Монгольские, тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские языки. Л., 1968.
- Рождественский Ю.В.* 1969 – Типология слова. М., 1969.
- Соссюр Ф. де.* 1977 – Труды по языкознанию. М., 1977.
- Степанов Ю.С.* 1975 – Основы общего языкознания. М., 1975.
- Трубецкой Н.С.* 1960 – Основы фонологии. М., 1960.
- Трубецкой Н.С.* 1987 – Избранные труды по филологии. М., 1987.
- Уфимцева А.А.* 1974 – Типы словесных знаков. М., 1974.
- Якобсон Р.О.* 1972 – Звуковые законы детского языка и их место в общей фонологии // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- Jakobson R., Waugh L.* – The sound shape of language. Brighton, 1979.
- Zubkova L.G.* 1997 – The typological determinant and sound structure of language // Typology: prototypes, item orderings and universals. Proceedings of LP'96. Acta Universitatis Carolinae 1996. Philologica. Prague, 1997.

© 1999 г. И. МАЙЕР

ПРОШУ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА...

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ФОРМЫ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
В ФУНКЦИИ ВИНИТЕЛЬНОГО

В научной литературе о развитии категории одушевленности в истории русского языка не раз обращалось внимание на тот факт, что употребление родительного падежа¹ в функции винительного окказионально могло распространяться на имена существительные среднего и женского рода ед. числа. В монографии В.Б. Крысько "Развитие категории одушевленности в истории русского языка" – "исследовании на порядок более тщательном и подробном, чем предшествующие работы" [Timberlake 1997: 49], – указывается: "... ряд фактов наводит на мысль о том, что закрепление ВП, омонимичного генитиву, у одушевленных *o-masculina могло вести к постепенному распространению РП вместо аккузатива у всех имен, независимо от рода. Окказиональные примеры подобного типа с именами среднего рода деklinационно тождественными masculina, отмечены еще в старославянском языке" [Крысько 1994: 188–189], ср.: "ВИДЪВЪ... ХА ПРАВЪДНААГО СЛЪНЬЦА" (из Супрасльского сборника); "ПРОПИНАЪИ НЕБА ЪКО И КОЖЪ" (из Синайской псалтыри; см. также [Вайан 1952: 206; Vaillant 1964: 177]). Аналогичные формы наблюдаются в русско-церковнославянских памятниках: "въсхотѣ послати бѣна своего и слова" (Лобковский Пролог, 1262 г.; см. [Крысько 1994: 189]). В примерах из Супрасльского сборника и из Пролога имело место непосредственное влияние формы мужского рода; в примере из Синайской псалтыри можно допустить персонификацию.

Для среднерусского периода мы также можем привести пример В=Р от неодушевленного neutrum, подвергшегося персонификации. В пятом томе "Вестей-Курантов" (далее – В-К), первой русской рукописной газеты XVII в.², нами отмечена следующая любопытная конструкция со словом *ружье*: "и хотя самъ вышнии бгъ **ншего ружя** такими мѣрами *благодарил* [что] мы в розных временах ншего неприятеля побили" (V, 29.29³). Цитированный отрывок относится к переводу своего рода "открытого письма" шведского короля Карла X Густава правлению города Гданьска от 1656 г.; приведем также соответствующий фрагмент из немецкого первоисточника⁴:

¹Далее в статье приняты сокращенные обозначения падежей: ИМ – именительный, РП – родительный, ДП – дательный, ВП – винительный, МП – местный, В=Р – винительный, совпадающий по форме с родительным, В=И – винительный, совпадающий по форме с именительным.

²В настоящее время этот памятник издается Институтом русского языка РАН; до сих пор вышло пять томов с "вестями" первых шести десятилетий XVII в. – В-К I–V.

³При цитировании В-К римская цифра указывает на том, первая арабская цифра на номер текста, вторая – на лист рукописи; буква П означает "приложение", а знак равенства указывает на другой список с идентичной формой. Графические варианты типа *w, s, i, ъ* не сохраняются; выносные буквы вносятся в строку, а в тех случаях, когда они обозначают мягкий согласный или двухфонемное сочетание, – ставятся в скобки. Реконструируемые нами написания даются в угловых скобках. Самое важное дополнение в роли прямого объекта и согласованные с ним определения выделяются полужирным шрифтом, а управляющий глагол или предлог – курсивом.

⁴Подробно об иностранных оригиналах к В-К см. [Schibli 1988: 85–107; Maier 1997: 34–82].

"und entgegen gleichwol der gütige GOTT unsere Waffen solcher Gestalt gesegnet / daß dieselbe dem Feinde zu unterschiedenen Mahlen obsieget". Используемую в русском переводе форму В=Р имени среднего рода *ружье* с некоторой натяжкой можно оценить как результат персонификации, так как речь идет об оружии вместо людей, которые этим оружием пользуются. Таким образом, имя существительное среднего рода, осмысляемое как обозначение одушевленного предмета, включено в категорию одушевленности, о чем свидетельствует форма В=Р⁵.

Ряд примеров с В=Р демонстрируют "семантически одушевленные *neutra* и *feminina* (равно как и *masculina* на -a), использовавшие генитивные формы в функции аккумулятива уже в период окончательного закрепления В=Р" [Крысько 1994: 189], ср.: "прибирал поручную запись, что стрелца **Васки Шаповала... поставим(ь)** в Новѣгородѣ на срокъ" (из КДРС; 1668 г.); "*Хватила она дитятка за белые волосы*"; "*Уж он брал княгини девяти годов*" (из фольклора). В литературном языке XVIII–XIX вв., по словам В.Б. Крысько, отмечены редкие примеры, ср.: "там (в Европе) мало-мальски замечательного духовного лица если не заживо, то тотчас после смерти *знают* во всех его замечательных чертах" (Н.С. Лесков). Два аналогичных (еще не опубликованных) примера из древнерусских рукописей нам любезно сообщил В.Б. Крысько: "и се доилица *видѣвши своего телѣте*. тече к нему ровуци" (Сильвестровский сборник второй половины XIV в., 426-в); "Тресвѣтлаго **единого божества** блгоч(с)тивнѣ поемъ" (Шереметевский требник конца XIV в., 133).

Однако в то время как подобные случаи являются окказиональными, нам удалось установить одну область, где формы РП ед. числа в функции ВП у имен среднего и – хотя и реже – женского рода употребляются со сравнительно большой частотностью, причем этот феномен не ограничивается ни в одной работе об одушевленности в русском языке. Речь идет о титулах среднего рода типа *благородие, величество, высочество, высокоможество, дражайшество* и женского рода типа *высокость, милость, (пре)святость*. В ходе работы над монографией о глагольном управлении в В-К (см. [Maier 1997; Майер 1997]) нам встретилось слишком много примеров такого типа, чтобы их можно было считать чисто случайными; впервые на это явление было обращено внимание в книге [Maier 1997: 121].

Приведем сразу характерный и совершенно однозначный пример употребления В=Р от существительного среднего рода *величество* из четвертого тома В-К: "За два часа до полудня его **королевского величества** от Синта Якубуса *проводил* полкъ пѣшие салдаты з знамянами и з барабанами и партизанщики а коро(л) шел пѣшь а за ним и перед нимъ шли шляхтичи и дворяня многие без шляпъ, а дховного чину доктур Юксонъ да полковникъ Томлинсонъ которой владѣеть над первонача(л)ным regimentом или ротою шли за королем и говорили с ним во всю дорогу идучи до переграды и до коморы гдѣ начеваль" (IV, 10.30).

Приведенный фрагмент текста из В-К относится к переводу печатного листа на шведском языке. Речь идет о казни английского короля Карла I Стюарта 31 января 1649 г.; шведская газета, которая служила первоисточником для данного перевода и, по всей вероятности, была напечатана в ближайшие дни после описанного события, к сожалению, еще не найдена. Мы специально привели широкий контекст, чтобы показать характерную для В-К форму о б и х о д н о г о русского языка того времени,

⁵Укажем еще один пример, тоже из В-К, на этот раз с именем существительным мужского рода, но семантически в принципе неодушевленным: "гсднѣ маюр Са(л)тыр... которова вша милость добръ знает и добръ вѣдае какъ тот камчюгом обдержим был что ево водили и носили и как ис того колодезя принял и онъ исцелен стал тако (ж) и инои ученои члвкъ из Ге(л)мѣстета которой девя(т) лѣт камчюгом в постеле лежал и то(г) тако (ж) всемогущен гсдъ изцелил тако (ж) *про того изцеленного колодезя* въ ево особном писмѣ *выражуеиш*" (III, 48.293–294; =П8.33–34 – в немецком оригинале: "...Im massen dieser selbigen Brunnens oregon..."). *Колодец*, в принципе, является обозначением неодушевленного предмета, но в данном случае, когда колодец наделен сверхъестественной силой и может исцелять людей, он мог войти в категорию одушевленности.

ориентированную на повседневную речь образованных слоев русского общества и сильно отличающуюся от основной массы "гибридных" русско-церковнославянских памятников XVII в.⁶

Из приведенного примера ясно, почему титулы среднего рода типа *величество* могли войти в категорию одушевленности: будучи семантически одушевленными, они могли, употребляясь в форме В=И, восприниматься как субъект предложения; ср. переформулировку процитированного выше примера с формой В=И: "За два часа до полудня его **королевское величество** от Синта Якубуса проводил полкъ...". Сразу становится неопределенным, кто кого проводил: король полк или полк короля! Иными словами, употребление формы В=Р в сфере титулов среднего рода явно способствует синтаксической однозначности, отграничению объекта от субъекта предложения, т.е. преодолению синтаксической омонимичности. Титулы среднего рода интегрировались в категорию одушевленности по той же причине, что и **o-masculina*.

"Вести-Куранты" с их богатством рассказов о разных королях, курфюрстах и других "величествах" и "высочествах" и с письмами монархам, в частности царю Михаилу Федоровичу, дают широкий фактический материал, поддерживающий утверждение о более или менее регулярном переходе титулов среднего рода в категорию одушевленности. Формы В=Р от титулов среднего рода употребляются в В-К чаще, чем формы В=И. В памятнике нам встретились следующие титулы среднего рода (порядок отражает относительную частотность употребления данного титула): *величество*, *дражаишество*, *высочество*, *высокоможство*, *пресвѣтльишество* (*просвѣтльишество*), *пресвѣтльство*, *пресвѣтльиство*, (*добро*)*шляхетство*, *свѣтльишество*, *доброродство*. В релевантных для нас примерах в функции винительного падежа ед. числа фигурируют *неutra величество*, *дражаишество*, *пресвѣтльишество*, *доброродство* и *шляхетство*. Формы В=Р и В=И распределены следующим образом⁷:

	В=Р	В=И
<i>Величество</i>	5	10
<i>Дражаишество</i>	14	
<i>Пресвѣтльишество</i>		1
<i>Доброродство</i>		1
<i>Шляхетство</i>	1	2
Итого	20	14

В приведенную статистику входят только показательные примеры с формами ед. числа⁸, т.е. не включены случаи с РП после отрицания, например, "и **королевско(г) величества** здесь *не застали*" (I, 3.5); хотя глагол *застать* сам по себе вряд ли мог в XVII в. управлять РП лица (см. об этом [Maier 1997: 147–148]), такое управление при отрицании вполне регулярно. Подобным же образом не учитывались случаи с РП при глаголах, которые в XVII в. демонстрировали вариативное управление РП и ВП, типа *ждать*, *ожидать*, *дожидать*, например: "*ожидают королевского величества сюда*" (III, 24.23) – при глаголе *ожидать* в В-К (как и в других памятниках XVII в.)

⁶О понятии "гибридный церковнославянский" ("Hybrid Slavonic") см. [Mathiesen 1984: 47].

⁷Статистика для титулов *дражаишество*, *пресвѣтльишество*, *доброродство*, *шляхетство* проведена по всем томам В-К, а для титула *величество* – только по первому и третьему томам. Во всех пяти томах В-К лексема *величество* встречается свыше 1000 раз; чаще всего налицо ИП, РП приименной типа *посол его королевского величества* и ДП. (Если в одном и том же примере находятся показательные формы и В=Р, и В=И, обе формы включаются в статистику.)

⁸В одном-единственном случае в В-К фигурирует форма ВП мн. числа от имени *величество*, а именно В=Р; ср. следующий отрывок из мирного договора между Швецией и Данией, переведенного со шведского языка (1645 г.): "велено ему их **обоих величествъ уговарива(т)** и воспомина(т) внешнее христианское временное пребывание" (III, 8.126 – "medh ordre at remonstrera begges theras M:ter M:ter Christenheetennes tillstånd"). В более поздних памятниках нам тоже встретилась одна подобная конструкция, но с формой В=И: "Его королевское величество пруское прочие их **величества** весьма прилежно *просили*, дабы..." (ПБП IX, 423).

преобладает РП, хотя нами отмечено и значительное число примеров с ВП, в частности в сочетании с объектами конкретной семантики (ср. [Maier 1997: 121–122]). Случаи с формами В=И всегда однозначны, в то время как в некоторых примерах с формой РП неясно, родительный это падеж или В=Р.

Все 14 примеров с титулом *дражайшество* в ВП обнаружены в одном и том же тексте – переводе печатного вестового листа, сделанном в Стокгольме 7 октября 1649 г. (вероятно, со шведского языка) и напечатанном в четвертом томе В-К (текст 40, с. 156–162); в этом же тексте зафиксирована и одна конструкция с В=Р от титула *величество*. Приведем все примеры употребления титулов среднего рода ед. числа из данного текста (речь идет о том, как принимают "его дражайшество" шведского посла "Бентъ Шкута" (Bengt Skytte) в Дании в августе 1649 г.): "его дражайшество господинъ посол из королевских серебрянных столовыхъ судов потчиван [исправлено из: **его дражайшества** господина посла... *потчивали*]" (40.108); "августа въ Θ д(е) **его дражайшества** посла тѣ пре(ж) помянутые господа и шляхтичи... х Копногаву *проводили*" (109); "однако *про* **его дражайшества** посла по королевски все готовлено было" (109); "августа въ АІ д(е) до полдень ме(ж) Θ(г) и І(г) часа пришли *по* **его дражайшества** посла два тѣвка королевственные думные люди" (110); "послѣ то(г) **его дражайшества** посла тѣ же провожатые до его покоев *проводили*" (110); "е(г) **дражайшества** посла... *проводили* в королевскую светлицу" (110–111); "по тому мочно было види(т) что е(г) **дражайшества** господина посла нарочно *звали*" (113); "а туды **его дражайшества** посла велѣл его королевское величество *звати*" (113); "послѣ обеда пришли е(г) **дражайшества** *навеста(т)* дацкие господа гдрственны думные" (113–114); "и коро(л)... е(г) **дражайшества** посла сшед с кри(л)ца на дворѣ *встрѣтил*" (114); "августа въ К д(е) послѣ обеда въ Дм часу *проводили* **его дражайшества** посла на пос(л)ство к отпуску" (114); "еѣ королевина величества королева свѣиская **его дражайшества** в послѣх *велѣла* бы(т)" (115)⁹; "и тѣ всѣ **его дражайшества** до корѣты *проводили*" (116); "в Фриденсъбурхе по королевскому приказу прежней же гдрстенно(г) адмирала сынъ Го(л)харвиндъ *про* е(г) **дражайшества** бо(л)шой стол велѣл изг(о)тови(т)" (116); "и по прямой достойной мѣре е(г) **королевско(г) величества** дацко(г) тако же и его подданных во всѣхъ славныхъ дѣлах мочно *похвали(т)*" (116).

Во всем этом рассказе в связи с титулами *дражайшество*, *величество* ни разу не употреблена форма В=И. Интерпретацию флексии *-а* как графической замены номинативно-аккузативного *-о* вследствие аканья можно исключить. Такому толкованию противоречит, во-первых, прилагательное *королевско(г)* в сочетании *королевско(г) величества* в последнем примере и, во-вторых, тот факт, что титул *дражайшество* в роли подлежащего в данном тексте никогда не пишется с окончанием *-а*, ср.: "на другой де(н) августа въ І де **его дражайшество** держал постѣ со всѣми своими дворовыми лю(д)ми и слугами" (109); "августа въ ІІ де ѣздил **его дражайшество** посол на остров имянуетца Амах" (113); ср. также правку в первом примере: формы РП (в функции ВП) *дражайшества господина посла* последовательно исправлены в форме ІП *дражайшество господинъ посол*. Во всех приведенных примерах в качестве управляющей лексемы употреблены однозначно транзитивные глаголы (*потчивать*, *проводить*, *звать*, *навестать*, *встрѣтить*, *похвалить*) или предлоги, сочетающиеся с ВП (*про*, *по*).

Однако, поскольку все указанные примеры с титулом *дражайшество* относятся к одному и тому же тексту, следует учесть возможность отражения индивидуальной особенности данного переводчика. Поэтому приведем сразу еще несколько

⁹Для *велѣть* управление ВП не характерно. Возможно, переводчик скалькировал шведскую конструкцию, где, вероятно, фигурировал глагол *befalla*, объект которого мог восприниматься русским переводчиком как форма ВП – своего рода "accusativus cum infinitivo". (В шведском языке XVII в. формы ВП ед. числа не отличаются от формы ДП.)

показательных примеров с аналогичным употреблением формы В=Р из разных томов В-К: "а по семъ я **внего шлехетства** бгу всемогущему *предаю*" (I, 32.25); "и послы повѣтвые выслушавъ королевскихъ рѣчи. сперва **просили королевского величества**¹⁰ что(б) начальных людей чины устроилъ" (39.111); "и о чем у них здумано и на чем ме(ж) собою положили о томъ **королевско(г) величества просили**" (39.112) – в обоих примерах употребление РП в функции ВП снимает синтаксическую двусмысленность, поскольку форма *королевское величество* могла быть воспринята и как подлежащее (если допустить глагольную форму мн. числа при сингулярном субъектном актанте, своего рода "pluralis maiestatis"); "градские владѣтели его **королевского величества поздравляли**" (IV, 26.57). Однозначное ограничение субъектного актанта от объектного кажется особенно важным при глаголе *просить*, при котором и субъектная, и объектная валентность нередко остается синтаксически невыраженной. В следующих отрывках такой явной необходимости употребить В=Р нет, поскольку управляющий глагол – в инфинитиве: "я его **црского величества** (ВП) **црвчю** (ДП) стану *поздравля(т)* со всякимъ добрым желань[ем]" (II, 25.122 – при глаголе *поздравить / поздравлять* в В-К преобладают конструкции с ВП: 13 ВП, 6 ДП – ср. [Maier 1997: 232–234]; в процитированном отрывке мы видим контаминированную конструкцию); "и о том *извести(т)* его **королевского величества** (ВП) датцкому (ДП) за три ндди до приходу ратных людей" (III, 8.144–145¹¹ – глагол *известить* в XVII в. в подавляющем большинстве случаев управлял ДП (ср. [Maier 1997: 220–222]); опять бросается в глаза контаминированная конструкция, с одной стороны – с традиционным при этом глаголе ДП, а с другой – с вероятно уже вошедшим в разговорный язык ВП); "и по прямой достойной мѣре е(г) **королевско(г) величества** дацко(г) тако же и его подданных во всѣхъ славныхъ дѣлехъ мочно *похвали(т)*" (IV, 40.116)¹².

Хотя В=Р в связи с титулами среднего рода употребляется в В-К с достаточно большой последовательностью, В=И тем не менее тоже встречается, как явствует из статистики, приведенной выше. Для иллюстрации вариативности этих форм приведем перевод (с датского оригинала?) сообщения об избрании датского короля Фредерика III голштинским герцогом (1648 г.), напечатанный в четвертом томе В-К (с. 73–74; указываются все случаи употребления титула среднего рода в роли прямого объекта): "в цркве было пѣнья и бжью слову росказанье ровно два часа а после пѣнья его **королевское величество проводили** из цркви тѣм же обычаем до ратхуза" (IV, 6.2); "а

¹⁰Форму *королевского величества* едва ли допустимо интерпретировать как РП. По нашим наблюдениям, в В-К РП при глаголе *просить* довольно сильно преобладает над ВП в сочетании с предметным объектом (*просить чего/что*; см. [Maier 1997: 151–158]). В данном примере, однако, представлен личный объект, случаи с личным объектом в форме РП при глаголе (*въ-, въс-*) *просити/въ-, въс-*) *прамати* отмечены в научной литературе для древнерусского языка (см. [Крысько 1997: 170], где приводятся три примера XIII в.), но в среднерусском языке такие случаи неизвестны – в В-К в данной функции, помимо ВП, отмечен только ДП, причём всего лишь в окказиональных случаях (ср. [Maier 1997: 231]).

¹¹В шведском первоисточнике отражена пассивная конструкция: "och at thet skal... notificeras Hans M:tt i Danmarck och thess successorer".

¹²В следующем отрывке мы сначала тоже толковали форму *королевского величества* как аккузатив: "и его цесарское величество и курфистръ Брандебурской его королевского величества свѣского в немецких мѣстахъ воздержаной воины преж сего *утишили*" (V, 43.8). Однако сравнение с немецким текстом – вероятным первоисточником данного русского перевода – убедило нас в том, что тут речь идет о немецких владениях шведского короля; ср.: "daß der... von der Röm. Käyserl. Majest. und dem Churfürsten zu Brandenburg in Sr. Majest. von Schweden Teutschen Provinzlien geführte Krieg mit ehestem gestillet... werden möchte" (ср. Theatrum Europæum VIII, 1244). Русский перевод получился здесь неудачным, но совершенно ясно, что дополнением к глаголу *утишить* ("stillen") является выражение *воздержаной войны* ("der... geführte Krieg" – ИП в немецком языке, где представлена пассивная конструкция). Тем самым глагол *утишить* в данном случае управляет РП – т.е. здесь имеет место конструкция с "немотивированным РП", которая в книге [Maier 1997] не оговорена. (Во всех остальных показательных примерах в В-К – их одиннадцать – этот глагол управляет ВП.)

после стре(л)бы его **королевского величества** в город *проводили*" (6.3); "его **королевского величества** Фредерикуса датцого и норвеиского Третеи тѣмъ имянемъ от настоятели и от рыцарев и от шляхтичовъ и от городцкихъ людей... здѣсь в городе в Флянсбурхе в ратхузе избранъ" (6.3–4; синтаксическая конструкция получилась неудачной в связи с тем, что переводчик в ходе работы перешел от активной конструкции к пассивной, видимо наличествовавшей в оригинале); "и пре(ж) выше помянутого его **королевского величества** въ Ом часу от пре(ж) помянутыхъ настоятели и шляхтичев¹³ из города *проводили* до цркви Свтыи Марии" (6.4); "господин Голстенские земли державец господин Християн Рансвиу говорил рѣчь от настоятели и от шляхетныхъ людей и *поздравляя* его **королевского величества** от всякихъ чиновъ людей и покорно бил челом" (6.5). Таким образом, из пяти конструкций со словосочетанием *королевское величество* в функции прямого объекта один раз употреблена форма В=И, а четыре раза – В=Р.

Как уже было сказано выше, В=Р употреблялся с целью уточнить синтаксическую функцию титула среднего рода. Когда нет необходимости с помощью флексии определить синтаксическую функцию, преобладает В=И. Примеры подобного типа отмечены нами в первую очередь в формульных выражениях писем или речей, обращенных к монархам. Приведем несколько таких примеров из В-К: "к вашему королевскому величеству посла своего прислал безо всякого замешка(н)я и *возхваляет* **ваше королевское величество** в том что *ваше королевское величество* попечение имѣете о миру и о покое всего хрестыянства" (I, 6.68, речь польского посла Ежи Оссолинского к английскому королю Якову I Стюарту в 1621 г.¹⁴); "*сохрани* бгъ **ваше црское величество**" (18.12); бгъ *сохрани* **ваше црское величество**" (25.6); "а по сем *предаю* **ваше црско(г) величество** в сохране(н)е бга всемогущаго" (13.5; последние три примера из писем царю Михаилу Федоровичу) – в последнем примере отмечается некоторое колебание в употреблении падежей, что весьма характерно для состояния с варьирующимся узусом; "и по семъ *предаю* **ваше шляхетство** со всѣмъ его благодатнымъ домомъ в сохранене бга всемогущаго" (II, 56.163). Во всех приведенных примерах налицо формульные фразы, что снимает потребность в синтаксически однозначном выражении.

Нет необходимости уточнять синтаксическую функцию члена предложения также и после предлога, поэтому в этой позиции нередко находим формы В=И. Приведем примеры: "Ста(г)и договору что *ме(ж)* ево **кесарское величество** и слескихъ людей было в городе в Дрезене" (I, 6.55; язык в данном примере, правда, не очень грамотный – предлог *меж(ду)* с явным винительным падежом!); "устойте же в своемъ слове что вы реклися *зрите* на **королевское величество**" (I, 22.52); "что *про* **королевское величество** то подлинно куплено и плачено" (III, 58.65 – перевод с голландского оригинала мирного договора между Нидерландами и Испанией 1648 г.: "dat soude gekocht ende betaelt zijn van wegen sijn voorsz. Majesteyt"). Подобным образом нельзя спутать ВП с ИП и после инфинитива: "и еѣ **королевино величество** *уговорить* и к тому привесть" (III, 8.127 – перевод со шведского оригинала мирного договора между Швецией и Данией 1645 г., где представлена пассивная конструкция: "Hwarföre och Hennes Kongl. May:tt bewekt"). Наконец, в следующем примере форма определения, *датцого (короля)*, обеспечивает однозначность синтаксической функции: "Его **королевское величество** датцого в короткое время из Регенсбурха в Копенгавъ *дожидают*" (III, 53.385; = 54.314).

Значительно реже в В-К отмечаются примеры с титулами женского рода ед. числа в форме В=Р. Общее количество титулов женского рода в В-К не меньше, чем среднего рода, – нами отмечены: *милость, любовь, свѣтлость, пресвѣтлость, вы-*

¹³Вероятно, переводчик сохранил выражение агенса из пассивной конструкции оригинала, типа "fördes av.../geführt von...".

¹⁴В голландском первоисточнике, на основе которого, по всей видимости, был сделан русский перевод, нет соответствия данной конструкции.

сокость, шляхетность, доброта; но в достаточно недвусмысленной функции ВП встречаются только три из этих титулов – *милость*, *свѣтлость*, *высокость*¹⁵. Привести точную статистику на распределение падежных форм титула *милость* мы не можем по двум причинам: во-первых, это существительное во всех пяти томах В-К фигурирует, вероятно, не намного реже, чем *величество*, т.е. приблизительно тысячу раз; во-вторых, только редкие употребления этого имени отражены в указателях пяти томов В-К – наверное (хотя это кажется нам неправильным), в связи с тем, что данное слово, когда оно употреблено в функции титула, чаще всего пишется сокращенно, *млсть*¹⁶. По этой причине мы отказываемся от попытки дать представительную статистику форм ВП этого титула и ограничимся статистикой титулов *свѣтлость* (который отмечен нами пять раз в форме В=И и два раза – в форме В=Р) и *высокость* (с одним-единственным примером формы В=Р). Приведем все примеры с титулами *свѣтлость* и *высокость*; начнем при этом с примеров, однозначно содержащих форму ВП (В≠Р): "покорно вшу свѣтлостъ наве[щан]о о вших ста(т)ях посланых в Рыгу" (II, 26.155); "а по том вшу гсдрьскую свѣтлостъ гсду бгу поруч[аю]" (Там же); "вшу свѣтлостъ гд[у] бгу поручаю" (27.116); "девиц [далее утрачено 4–5 букв] вшу свѣтлостъ покорно здравству [далее утрачено 4–5 букв]" (70.439); "прошу (вашу) свѣтлостъ что(б) ко мнѣ обо всем вскорѣ отписа(л)" (70.441).

С титулом *милость* отмечены, например, следующие конструкции (по причинам, оговоренным выше, исчерпывающий список не приводится): "поздравляют вашу кня(ж)скую млсть" (II, 28.176); "предаю по сем вашу кня(ж)скую млсть в сохренье [так в ркп.] бжие" (59.348; = III.6.339).

С формой В=Р зарегистрированы следующие примеры: "послы... просили короля его млсти и сенаторов что(б)... и король его млсть им сказал что..." (I. 39.113); "и для того прошу вашей княжской млсти что (б)..." (II, 25.124); "я его графской млсти гсдря графа Во(л)демара... к вашей княжской млсти послал" (28.168); "Доброхотной гсдрь вшей княженецкой мл[ости] прошу что(б) всѣ тѣ ста(т)и отданы были" (41.56); "прошу вшей свѣтлости извести [так в ркп.] о том его црьско[му] величеству что(б)..." (27.116); "Просим вшей свѣтлости..." (70.440); "просим вшей вы[со]кости что(б) мои посыланные листы во Псков..." (70.439); "какова рѣ(ч) была от еѣ королевина величества свѣские против гсдна королевственнова канцлѣра рѣчи какъ ево млсти ноябрю въ КЗ д(е) ≠ АХМЕ году королева пожаловала графскимъ чином" (III, 15.178). Приведенные примеры, по нашему мнению, достаточно однозначно свидетельствуют об окказиональном переходе также и титулов женского рода в категорию одушевленности. К сожалению, во многих примерах управляющим глаголом является *просить*, который, как уже было сказано выше (см. сноску 15), в крайне редких случаях мог управлять и ДП. Однако ввиду того факта, что в большинстве показательных примеров в В-К этот глагол управляет ВП лица (ср. [Maier 1997: 230–231]), у нас мало оснований для интерпретации данных падежных форм как ДП – и тем более РП лица, который в XVII в. был бы невероятным анахронизмом; ср. также приведенный выше пример с явной формой ВП в сочетании с глаголом *просить* – *прошу (вашу) свѣтлостъ* (70.441) из того же текста – перевода латинского письма, что и последние два примера с глаголом *просить* + В=Р. Примеры с глаголами *послать* (*кого*) и *пожаловать* (*кого чем*) не оставляют никаких сомнений в том, что и титулы женского рода окказионально могли вовлекаться в категорию одушевленности.

¹⁵Причиной некоторой неуверенности является тот уже оговоренный факт, что глагол *просить*, употребляющийся довольно часто в сочетании с титулами, иногда управлял и личным объектом в ДП, так что в принципе каждый раз, когда встречается конструкция типа *я прощу вашей милости*, нельзя исключить и понимание данной падежной формы как ДП.

¹⁶Так, в указателе к пятому тому В-К совсем не фигурирует ни лексема *милость*, ни *милостивый*.

Однако если формы В=Р в связи с титулами среднего рода в объектной позиции в В-К встречаются чаще, чем формы В=И (которые отмечены прежде всего в формульных выражениях и после предлогов), в случае титулов женского рода формы В=Р гораздо более редки. На наш взгляд, это объясняется тем обстоятельством, что при neutra употребление формы В=Р чаще всего способствует синтаксическому уточнению, в то время как при feminina – скорее наоборот: РП женского рода *i-склонения омонимичен ДП, так что во многих контекстах синтаксическая функция члена предложения в форме В=Р осталась бы двусмысленной; тогда как форма ВП – особенно в тех случаях, когда при существительном имеется прилагательное или местоимение типа *ваша (милость)*, – в синтаксическом отношении совершенно однозначна. Когда при титуле *i-склонения женского рода нет "склоняемого" определителя, форма ВП совпадает с формой ИП; в последнем из процитированных выше примеров налицо именно такой случай; и тут употребление В=Р действительно способствует однозначному пониманию синтаксической структуры. Во многих других примерах синтаксическая структура, напротив, стала бы гораздо более двусмысленной; ср. "сконструированный" пример с подстановкой формы В=Р вместо В=И: "*предаю по сем вашей кня(ж)ской млсти в сохраненье бжие*" (ср. В=И в процитированном выше реальном контексте – П, 59.348). В данном случае выражение *вашей княжской милости* скорее всего толковалось бы как косвенный объект в ДП к глаголу *предавать*.

Когда же в русском языке появились титулы среднего и женского рода? Оказывается, это явление очень старое, восходящее к древнерусскому периоду. Первая фиксация титула среднего рода, обнаруженная нами, относится к XII в.: "*Вашиимь прѣподобьствиемъ*" (Ефр. Корм., 438; цитируется по [Сл XI–XVII, 19: 25]; в греческом первоисточнике τῆ ἱετέρα δολότητι (по варианту: τῆ δολότητι). Как явствует из греческого оригинала, речь идет о лице духовного сана. Морфологический вариант *преподобство* в значении титула впервые лексикографически зафиксирован в тексте начала XV в., восходящем к XIII в.: "Но аще повелить *твое преподобство* написати..." (Патерик Печ., 96 [Сл XI–XVII, 19: 25]). Первая словарная фиксация титула женского рода почерпнута из договора киевского князя Олега с греками 912 г.: "*Наша свѣтлость* [...] многажды право судихомъ" (Лавр. лет., 33 [Сл XI–XVII, 23: 146]; ср. греч. λατπρότης).

Таким образом, ранние употребления титульных названий либо прямо связаны с передачей греческой титулатуры, либо (в случае с наименованием духовного лица в Киево-Печерском патерике) восходят к греческой традиции. Использование титулов данного типа применительно к русским и западноевропейским монархам, князьям и т.п. в оригинальных памятниках деловой письменности наблюдается лишь с конца XIV в. Наиболее ранняя фиксация титула *ваша милость* (причем в форме РП или, что менее вероятно, В=Р) представлена в сильно полонизированной по языку грамоте молдавского воеводы к польскому королю, датируемой 1388 г.: "*Просимъ вашей милости, штобы есте учинили иньи листъ*" (АЗР, 23; ср. [Срезн., 2: 1568]). Древнейшая цитата с титулом *величество* в [Сл XI–XVII, 2: 70] относится к 1488 г.; с титулом *милость* – к 1493 г. [9: 156]. Первый пример на *пресвѣтльишество* в [Сл XI–XVII, 19: 38] датируется 1581 г., на *благородие* [1: 215] – 1619 г., на *пресвѣтлость* [19: 39] – 1674 г. (первое употребление в В-К – 1620 г.)¹⁷. Особенно широкое распространение рассматриваемые титулования получают в среднерусском языке XVI–XVII вв. Предполагаем, что немалую роль в этом процессе сыграло влияние со стороны Литовской Руси через старобелорусское посредство. Так, в АЗР – "Актах, относящихся к истории Западной России" (1340–1506 гг.) – некоторые документы изобилуют формами титула

¹⁷Из отмеченных нами в В-К титулований четыре – *высочество*, *доброта*, *дражаишество* и *просвѣтльишество* – не указаны в Сл XI–XVII; под словом *иляхетство* в значении титула в КДРС не имеется карточек.

милость; ср.: "Про то панове ихъ *милость* казали вашей *милости*, братьѣ своей, повѣдяти: ижъ положили ихъ *милость* соймъ у Вилни... и казали вашей *милости*, братьѣ своей, мовить, ажъбы есте на тотъ день тамъ къ ихъ *милости* ѣхали..." (АЗР, 116); "И то тежъ передъ нами ихъ *милость* повѣдили, ижъ черезъ нѣкоторое всказанье его *милости* отца нашего естъ то вашей *милости* свѣдомо. Про то я прошу и жадаю вашей *милости*, и волю свою повѣдаю вамъ... ажъбы ваша *милость* остаточную волю и розказанье его *милости* пополнили, яко пана своего ласкавого, якожъ ваша *милость*, и за живота его *милости*, вѣрнѣ его *милости* служили и прыяли и присягами ся къ его *милости* утвердили: по его *милости* животѣ, никого собѣ паномъ мѣти, только сына его *милости*" (АЗР, 116–117; обе цитаты датируются 1492 г. – ср. также цитату из памятника 1388 г., приведенную в [Срезн. 2: 1568]). В АЗР засвидетельствованы и другие титулы, например, *величество*, *государствие*, *господьствие* (*господьство*), *ясность*; ср.: "Кралеvское *величество* и мой наимилостивый государь о семъ мене послалъ: нѣкие брани и валки промежъ свѣтлѣйшаго *государствиа* вашего и начялникомъ государемъ Александромъ, великимъ княземъ Литовскимъ, *величество* кралеvское слышель... паче жъ сиа брань, иже промежъ наяснѣйшимъ *господьствиемъ* вашимъ и свѣтлѣйшего князя Александра дѣлается... Вѣрить и молить твоему свѣтлѣйшему *господьствию*, аки брату и свату своему, да наяснѣйшее *господьствие* твое [...] примет... О семъ его кралеvское *величество*, якожъ предъ реченно, жаелаетъ и просить [...], не сумняется о свѣтлѣйшемъ *господьствии* твоёмъ..." (АЗР, 216; 1501 г.); "Далѣй вашей королевской *ясности* панъ нашъ милостивый казалъ повѣдати тую свою пригоду..." (221; 1501 г.); "Послахомъ до свѣтлости *господьствиа* вашего сего вѣрнаго нашего... гетмана дворныхъ нашихъ... Помыслихомъ не тайти вашего наяснѣйшаго *господьства*, коликимъ попечениемъ, разумомъ, трудомъ и мудростию святѣйший господинъ нашъ учиняетъ миръ и съединение всѣхъ начальниковъ христианскихъ противу Турецкого бѣшенства" (251; 1502 г.).

Как видно из процитированных отрывков, язык данного памятника богат полонизмами. К полонизмам мы относим также обильное использование титулований. Древнейшие цитаты на титул *miłość* в [SSP, IV: 264–265] датируются несколько более поздним временем, чем первое употребление титула *милость*, обнаруженное нами в АЗР, – а именно 1420–1430 гг.¹⁸ (Титулы *światłość*, *jasność*, *wielkość* не фигурируют в SSP.) Наиболее активно титулы используются в письмах, а самые древние письма, написанные на польском языке, датируются первой половиной XVI в. Ср. из письма Сигизмунда I: "Oświecona Księżno, corko nasza miła. Dano nam list T(wej) M(iłości), z chtorego iżesmy srozumieli T(wą) M(iłość) być brzemięną... Ale nas z drugiej strony list Książęcia Jego Miłości małżonka T(wej) M(iłości) zasmuciel, z chtoregosmy wielką żalność wzięli,..." (Chrest. star., 220; 1539 г.); ср. также из письма дворянина Страша львовского архиепископу того же года: "Miłościwy Panie! Racz wasza mość wiedzić, iż co się tycze sprawy waszey mości, która była przed Jego Królewską Mością z Makarym i szlachtą Ruską o podanie namiesnictwa, wyszedł był dekret za waszą mością..." (ДАИ, 144). Польский титул (*jego, ich...*) *miłość* употребляется так активно, что он часто сокращается до *Imc* (*Imci,...*); ср. следующий отрывок из дневника, написанного в 1606 г. о пребывании польского посольства в Москве: "Tytułu tego, ktorego Wasza Hospodarska Mość od Króla Imci i Rzeczypospolitey domagać raczysz, z tey przyczyny Król Imc Waszey Hospodarskiej Mości niedawa, że przodkom Waszey Hospodarskiej Mości żaden z przodków Jego Królewskiej Mości i sam Król Imc niepisał i niedawał..." (АИ II, 100).

Что же касается форм старобелорусских (а также польских) титулований в ВП, то

¹⁸ В староукраинском языке первые словарные фиксации титула *милость* (*милость, милост, милости*) относятся к первой половине XV в. [ССУМ, I: 592].

мы зафиксировали лишь несколько случаев с явным ВП, и в них фигурирует только В=И как при neutra, так и при feminina; ср.: "восхотѣ честнѣйший господинъ гардиналъ легатъ, властию посолства своего мноу ваше господство свѣтлѣйшее *подвигнути*..." (АЗР, 254; 1501–1503 г.); "...и онъ не могъ къ тебѣ съ тѣми рѣчи притти, а прислалъ тѣ государя нашего рѣчи со мноу въ писаньѣ; а *молитъ* твое господство, чтобы твоя государская свѣтлость за то на него не позазрилъ" (там же); "И тотъ непрытель господаря нашего, великий князь Московский... тотъ завжды до господаря нашего своими послы наказывалъ, хотѣчи твою *милость змирить* и зъединачити зъ нашимъ господаремъ" (АЗР, 210; 1500 г.); та же ситуация наблюдается в староукраинском языке, ср.: "про то(ж) *прошу* твою *мл(с)ть*, учини на(м) правду за тоты люди" (1434 г. [ССУМ, 1: 592]).

Итак, представляется, что новая титулатура активизировалась в русском языке при старобелорусском посредстве. Между тем в среднерусский период, когда эти титулы, развиваясь словообразовательно и лексически, стали закрепляться в русском языке, категория одушевленности уже полностью утвердилась при **o-masculina* ед. числа. (Что касается мн. числа, то в данный период еще встречаются примеры с формой В=И, но, вероятно, из разговорного употребления они уже в основном вышли; ср. [Крысько 1994: 119–120]). Можно предположить, что титулования среднего рода, коль скоро они стали восприниматься как нормальные русские слова, тут же и стали более или менее регулярно использоваться в уже давно привычной для **o-masculina* форме В=Р.

Более ранних примеров с В=Р при титулованиях, чем приведенные выше из В-К, нам найти не удалось¹⁹. Это и не удивительно, если учесть, тот факт, что в В-К отражено большее число титулований, чем в Сл XI–XVII и в КДРС, а иногда и намного более ранние фиксации. В-К – это гораздо более разносторонний источник, чем, например, издания с письмами царям, в которых если изредка и встречаются показательные примеры титулований в ВП, обычно налицо формульные выражения, не требовавшие, как было сказано выше, специального синтаксического разграничения; ср. следующий сравнительно ранний пример: "...и на наше **Царское Величество** въ томъ подлинную надежу держите..." (Рим. имп. д. II, 227; 1595 г.).

Какова же дальнейшая судьба данных оборотов? В XVIII в. нам еще удалось их отметить, хотя их удельный вес в материале не столь велик, как в В-К: формы В=Р от титулов среднего рода представлены в нашем материале более чем 90 примерами, тогда как В=И документируется сотнями употреблений. Так, просмотр большинства томов "Писем и бумаг императора Петра Великого" показал, что при neutra ед. числа приблизительно 80% аккузативных выражений имеют форму В=И, а 20% – форму В=Р²⁰. Приведем сначала несколько типичных примеров с В-И: "однако же его **курфистрское пресвѣтлѣйшество** *обнадеживаемъ*..." (I, 162); "Присемъ паки *обнадежить* его **королевское величество**, что всегда... союзъ содержати будемъ" (IV, 294); "При семъ ваше **королевское величество** Господу всемогущему въ сохранение *предаемъ* и счастливого многолѣтнего здравия желаемъ" (IV, 358); "При томъ же *просимъ*

¹⁹ Управление глагола *просить* – *Просимъ* вашей милости – в грамоте 1388 г. отражает, по нашему мнению, старопольскую сочетаемость глагола *prosić* с РП лица. Управление РП лица при глаголе *просить* было возможным и в староукраинском языке; ср.: "И *просил* есми дяди свое(го) князя Санкгоушка Федковича, а брата свое(го).... абы Их Милост печати свои приложили къ сей моей грамоте" (1454 г.); "И *просил* есми их *милости* [...] штобы печати свое к сему моему листу прывесили" (1475 г.; оба примера цитируются по [ССУМ, 2: 263] с графическими упрощениями). На фоне первого примера с явным РП при *просить* нам кажется уместным интерпретировать и форму *их милости* во втором как РП, а не как В=Р.

²⁰ Нами найдено 99 конструкций с В=И и 23 с В=Р. Не учитывался РП после отрицания, а также РП после глаголов с варьирующимся управлением ВП и РП (типа *ждать*, *ожидать*). Примеры, в которых издатели раскрыли сокращения типа "в. в." либо как "ваше величество", либо как "вашего величества", мы тоже не включали в нашу статистику; ср.: "Просить к(оролевское) (величество), чтобъ..." (ПБП IV, 168) – "Просить к(оролевскаго) (величества)... чтобъ..." (169).

ваше высокопочие, дабы..." (VI, 72); "И просим ваше королевское величество дружеско брацки..." (VIII, 383); "И обнадеживаю при том ваше королевское величество дружеско братски..." (X, 88). Контексты довольно стереотипные; управляющим глаголом почти всегда является либо *просить*, либо *обнадеживать*.

Примеры с В=Р из ПБП, обнаруженные нами, приводятся почти полностью: "нашь, великаго государя, нашего царского величества, зашли новые и ненадѣемые новины..." (I, 183); "О чемъ и повторяя, мы великий государь, наше царское величество, великаго государя, султана величества, просимъ и ждаемъ, дабы..." (I, 431); "Зело прошу вашего величества, чтобъ изволили... немедленной респонсъ учинить..." (IV, 106); "Но сему нынѣ заранѣй легко забѣжати мочно, егда его царское величество, какъ помянуто, его королевского величества *вспоможетъ* (IV, 197)²¹; "того ради *просить* царское величество королевского величества объ розыскѣ и о справедливости въ томъ" (IV, 245 – данный пример звучал бы странно с В=И, сразу после ИП *царское величество!*); "И того ради онъ королевского величества... нѣсколкократно *просить* повелѣлъ, дабы..." (IV, 246); "пѣхотному же войску *просить* царское величество его королевскаго величества, дабы вѣще 40 или 50 миль отъ рубежей своихъ не отдалятися всегда..." (IV, 315); "При семъ же *прошу* ваш(его) величества и любви, дабы..." (IV, 400 – в данном примере фигурирует и имя женского рода *любовь* в В=Р!)²².

В одном и том же тексте из шестого тома ПБП – "резолуции на пункты, вероятно, Литовского польного гетмана Григория Огинского" – встречается сразу пять подобных конструкций на двух страницах, все в довольно стереотипных контекстах (приводятся только три из них): "того ради *прошу* его царского величества..."; "*Прошу* такожъ его царского величества..."; "Чего ради *прошу* его царского величества о милость, респектъ и способы въ томъ утѣсненію" (VI, 114–115). Как показывает последний пример, в данном тексте есть полонизмы (*просить о что; въ... утѣсненію*), что может навести на мысль, не является ли полонизмом и выражение *прошу вашего величества*. Что касается исследуемого феномена вообще, то о польском влиянии говорить затруднительно. Как известно, в польском языке употребление В=Р в целом охватывает большее число существительных мужского рода, чем в русском языке; см. *tańcuć walca, grać w tenisa, mieć złotego, zjeść grzyba* (ср. [Kucala 1978: 98–101]). С другой стороны, в польском языке средний и женский род *о в с е м* не затрагиваются категорией одушевленности, даже во множественном числе (ср. *widzę zwierzę / zwierzęta; widzę kobiety*); кроме того, в польском языке практически отсутствуют титования среднего рода²³: есть, с одной стороны, имя мужского рода *majestat*, с другой – титулы, по происхождению своему относящиеся к женскому роду, типа *mitość (mość, jęgomość, waszmość...), wielmożność*. Поскольку, однако, в данном "литовском" тексте так сильно преобладает форма В=Р – пять конструкций при одной-единственной с В=И, – трудно не расценить именно эти примеры как кальки соответствующих

²¹ Глагол *помочь / помогать* изредка управляет ВП лица и в других памятниках как XVIII, так и XVII в.; ср. [Maier 1997: 247–250]. С префиксальным глаголом *вспомогати* в ПБП засвидетельствовано варьирующее управление ВП, ДП и *к +* ВП при выражении предметного объекта; ср. "*сие дело вспомогати хошет*" (IX, 421); "*их намерения усердно вспомогати*" (там же); "что и рѣчь послонята Польская къ сему дѣлу купно *вспомогати* будетъ" (I, 308).

²² В следующем примере следует допускать возможность толкования формы *вашего величества* как РП: "*сожалѣемъ* вашего величества отъ сердца, что..." (IV, 238–239), так как глаголы *жалѣть* и *жаловать* могли управлять и РП; ср. "*Жалѣть вина* не употчивать гостя" (Сим. Послов., XVII в. [Сл XI–XVII, 5: 70]; "И мы, г(осподи)не, *жалючи* тог(о) Савки, да жито ему отдали" (около 1492 г. [Сл XI–XVII, 5: 72]); см. также примеры с РП при этих глаголах в книге [Крысько 1997: 178, 225]. В КДРС тоже есть один явный пример РП при глаголе *сожалѣть*: "*сожелея дочери своей*" (Фрол Скобеев², 80; XVIII в.). Поскольку примеров с ДП нет, это может быть только РП.

²³ Титул *wieliczeństwo*, согласно словарю [Linde, 6: 294], является русским титулом; ср. *Jego carskie wieliczeństwo* [там же], *na rozkazanie Cesarskiego wieliczeństwa* (АИ II, 104).

польских конструкций, но это влияние, по нашему мнению, связано с тем фактом, что глагол *prosić* управлял РП лица еще в XVII веке; ср. следующие примеры из варшавской Картоотеки Словаря польского языка XVII и первой половины XVIII века²⁴ (KSJP): "gdy podrośnie **Pani matki prosi**, aby jej nie trzymała w domu" (К. Opaliński, Sztuka, 25; середина XVII в.); "**Prosił Jadwigi** o noc Bartosz chciwy..." (А. Morsztyn, Utwory zebrane, 79; 1638–1661 гг.) – ср. также употребляемые до сих пор формы обращения типа *proszę pani / taty / taty / cioci* с "реликтовым" РП, в отличие от конструкций *prosić panią / matkę / tatę / ciocię o coś* с "современной" моделью управления, то есть с ВП лица. (Ср. также староукраинский пример с РП при *просить*, приведенный в сноске 19.)

К документу польского происхождения относится и еще один пример ("Резолюции на докладных статьях Литовских сенаторов"): "Чего ради *просимь* его **царского величества**, дабы..." (VI, 117). Все остальные отрывки, однако, взяты из несомненно русских документов – ср. следующий пример из письма Петра датскому королю Фредерику IV: "тако *просимь* мы **вашего величества** и **любви** весьма дружески и брацки..." (VI, 146 – опять имя женского рода *любовь* в В=Р); далее: "Рабски *прошу* **вашего царского величества** о полку себе" (IX, 508); "*Просить* тотчас по приезде своем в Дацкую землю его **королевского величества** самому, или чрез посла царского величества, дабы..." (X, 301); "того ради мы взаимно **вашего величества** *обнадеживаем*, что мы..." (XII:2, 50–51); "И я *прошу* **вашего величества** и **любви** дружески..." (190 – третий пример с именем *любовь* в форме В=Р); "*прося* для того **вашего величества** дружески..." (220); "**Вашего королевского величества** *просил* я..." (238); "**Вашего королевского величества** *прошу* я о сем паки дружески..." (там же) – в последних двух примерах с обратным порядком субъекта и объекта выбор формы В=Р явно способствует пониманию синтаксической структуры.

К Петровской эпохе относятся и следующие примеры из других источников: "Въ тоже время Генераль Адмиралъ и прочие Флагманы и Министры *просили* Его **Величества**, дабы... принялъ... чинъ Адмирала" (ЖПВ II, 175); "...и *просилъ* Его **Величества**, чтобъ изволилъ заѣхать и посмотреть селитряныхъ заводовъ" (415); "Всемилюшій Государь! *просимъ* **Вашего Величества**, вели, государь, насъ въ миръ пуцать противъ ихъ каторжныхъ сидѣльцовъ..." (Ворон., а., 320; цитируется по КДРС); "Всеижайше *прошу* **Вашего Высочества**, Государыню дарагую мою племянницу..." (Псм гос., IV, 191).

Титулы женского рода в ПБП крайне редко фигурируют в форме В=Р – нами обнаружено всего лишь пять таких примеров. Три из них были уже процитированы выше; речь идет о сочетании (*прошу*) **вашего величества** и **любви** (см. примеры из ПБП IV, 400; VI, 146; XII:2, 190), где форма В=Р среднего рода повлияла на выбор соответствующей формы женского рода²⁵. Титулы женского рода в ПБП вообще менее частотны, чем среднего рода: *любовь* как титулование встречается почти исключительно в сочетании с другим титулом, обычно *величество*, но также *высочество* и (в крайне редких случаях) *святлость*. Вне сочетания *ваше величество* (*высочество*) и *любовь* нами зарегистрировано 13 конструкций с титулом женского рода в В=И и две – в В=Р²⁶. Приведем сначала несколько типичных примеров с формой В=И: "Присемъ мы, великий государь, наше царское величество, **вашу высоко-**

²⁴ Словарь польского языка XVI в. еще не дошел до слова *prosić*. В словаре [Linde, 4: 481] нет показательных примеров с глаголом *prosić* + РП лица.

²⁵ Форма В=И *ваше величество* и *любовь* зарегистрирована нами 19 раз. Сочетания **вашего величества* и *любовь* или **ваше величество* и *любви* не засвидетельствованы.

²⁶ Тем самым получается, что по нашей статистике приблизительно каждая седьмая конструкция имеет форму В=Р, т.е. эта конструкция менее частотна при титулах женского рода, чем среднего. Но надо сказать, что и сама статистика в данном случае гораздо менее показательна – примеров слишком мало!

возможность въ сохранение Господу Богу всемогущему *предаетъ*" (VI, 72); "его царское величество... *объѣщаетъ* его *свѣтлость*... на Полскомъ престолѣ и при достоинствѣ и власти королевской всѣми силами, оружіемъ и денгами... *содерживати*" (74); "И *обнадеживаем* мы *вашу высококняжюю светлость*, что..." (VIII, 141–142); "Между тем же *послал* его царское величество его *светлость* генерала князя Меншикова... к Полтаве, дабы..." (IX, 259). Все эти дополнения в ВП в синтаксическом отношении однозначны. Если же их заменить формой В=Р, некоторые из примеров становятся непонятными – омонимичность с ДП привела бы к тому, что в тех случаях, когда глагол управляет и ВП, и ДП (как *предавать кому что*; *обещать кому что*; *послать кому что*), дополнение в форме В=Р могло бы быть воспринято как а д р е с а т действия. В примере из ПБП VIII, 141–142 такой проблемы нет; тут синтаксис остался бы ясным и при подстановке В=Р (омонимичной с ДП), но, с другой стороны, и этот пример ничуть не выиграл бы от использования такой формы!

На фоне этого обстоятельства неудивительно, что форма В=Р при титулах женского рода встречается крайне редко. Приведем все однозначные примеры, которые нам удалось обнаружить в источниках Петровской эпохи: "А как я в прежнем желаемым усердием и публичным всей Украины ожиданием покорно *просил* *вашей королевской милости*, дабы..." (ПБП IX, 40)²⁷; "*Просят* его царского величества именем его *светлости* своего принципала всеподданнейше, что... 200 000 рублей вдруг им выданы были" (X, 163 – в данном примере определение *своего принципала*, вероятно, повлияло на выбор формы В=Р)²⁸; "*Прошу* *вашей свѣтлости* повелеть меня уведомить о вашемъ здравии..." (Псм гос. IV, 203); "При семъ *вашю светласть* прошу *попросить* за меня его *светлости*, чтобъ его *светласть* содержалъ меня по своей *миласти*..." (Псм гос. IV, 162–163; обращает на себя внимание вариативность форм). Особого упоминания заслуживают примеры с существительным *государыня*, которые демонстрируют распространение категории одушевленности с титулов-словосочетаний (типа *ваша / его милость*) на монолексемное титулование – хотя, очевидно, не без влияния предшествующего местоимения либо существительного мужского рода: "*Прошу* васъ *моей Государыни*, дабы въ писанияхъ своихъ меня не оставили..." (Псм гос. II, 8); "И *прашу* *вашей светласть* *напрасить* светлейшава князя и *дарагой* *нашей Государани* Марье Александровне, невестушъки *нашей*, чтобъ не пагневалися на меня..." (97 – флексия *-е* в *Марье Александровне*, по-видимому, отражает диалектное обобщение твердого и мягкого вариантов склонения).

Примеры с В=Р от титулов среднего рода отмечаются и в послепетровскую эпоху. Правда, в КС XVIII²⁹ для лексем (*высоко*)*благородие*, *высокомочество* (*-щество*), *высокомочие*, *высочество*, *превосходительство*, *свѣтльишество*, *сиятельство*, *шляхетство* вообще нет примеров в ВП; то же касается титулов женского рода *высокомочность*, *высокость*, (*пре*)*свѣтлость*, *шляхетность*; несколько примеров с В=И находятся под словом *милость*. Со словом *величество* имеется три примера в ВП (среди приблизительно 300 цитат), в том числе один с РП после отрицания – который, следовательно, нельзя считать В=Р; остальные два примера имеют форму В=И. На лексемы *высокопревосходительство*, *высокородие* и *пресвѣтльишество* имеется по одному примеру с В=И. Один пример с В=Р от имени *высокоблагородие* приводится в

²⁷ По отношению к некоторым примерам с глаголом *просить* можно было бы возразить, что формы типа *вашей королевской милости* допустимо интерпретировать и как ДП, но на основе всех (больше ста) примеров типа *просить* *ваше величество / вашего величества* (при отсутствии хотя бы одной конструкции типа **прошу вашему величеству*) в данном памятнике такое понимание кажется нам необоснованным.

²⁸ Сюда же нужно отнести и три примера с сочетанием *вашего величества* и *любви*, процитированные выше.

²⁹ За сообщение статистики и цитат из КС XVIII мы сердечно благодарим канд. филол. наук В.М. Круглова (ИЛИ РАН).

[Сл XVIII, 5: 34]: "*Прошу вашего высокоблагородия на меня на прогнѣваться, что вчера у вас не был*" (1765 г.).

Гораздо более богатый "улов" дал просмотр изданий с документами и письмами XVIII в.; приведем наиболее яркие примеры с В=Р, отражающие лексическое разнообразие как глаголов, так и существительных³⁰: "...ее³¹ **величества** короля великобританского... в приступление к сему союзу вообще *приглашать*" (Семил. в., 24; 1746 г.); "Всемильстивѣишая гсдрия *прошу* **вашего императорского величества** о семъ моемъ челобитѣе решение учини(т)" (Памятники XVIII, 177; 1747 г.)³²; "...**Вашего Превосходительства**, милостиваго государя, всепокорнѣише *прошу*... меня защитить и избавить" (Сб. РИО IX, 468; 1757 г.); "...всепокорнейше *прошу* **вашего высокографского сиятельства** милостивым известием не оставить и откуда повелено будет нас сикурсовать" (Семил. в., 647; 1760 г.); "**Вашего рейхсграфского сиятельства** имею честь еще *рапортовать*³³, что я в воскресенье пополудни в три часа из Берлина помаршировал..." (там же, 693; 1760 г.); "...**Вашего Высокопревосходительства** всепокорно *прошу* московскому почтамту предписать..." (Сб. РИО IX, 413; 1765 г.); "*Прошу* **Вашего Сиятельства** наставить меня, какъ я долженъ поступать..." (420; 1771 г.); "Я нижайше *прошу* **вашего сиятельства** почитающаго человеколюбие, послать к г. Демидову, дабы он... не требовал с меня..." (из письма А.П. Сумарокова Г.А. Потемкину; ПРП XVIII, 175; 1775 г.).

Ряд примеров почерпнут из писем Суворова последней трети XVIII в.: "*Поздравляю* **Вашего Превосходительства** с одержанною над турками... победой" (Суворов, 12; 1770 г.); "*Прошу* **Вашего Высокородия** меня уведомить, мне необходимо о том знать должно" (13; 1770 г.); "*Прошу* **Вашего Превосходительства** скорее тому споспешествовать" (33; 1773 г.); "...нижайше *прошу* **Вашего Высокографского Сиятельства** мне то простить..." (34; 1773 г.); "**Вашего Императорского Величества** всеподданнейше *прошу* всемильстивейше уволить меня волонтером к союзным войскам..." (274; 1794 г.); "...**Вашего Сиятельства**... новыми *увенчать* в пользу Отечества успехами..." (301; 1796 г.); "*Поздравляю* **Вашего Сиятельства** со взятием Фано" (349; 1799 г.) и др. Однако, при всей кажущейся частотности примеров с В=Р, в просмотренных нами памятниках XVIII в. в целом сильно преобладают формы В=И. Весьма показателен тот факт, что многие из найденных нами примеров с В=Р относятся к канцелярскому языку, отличающемуся большой консервативностью, в то время как мы не обнаружили аналогичных форм, например, в письмах Ломоносова. Надежные примеры с существительными женского рода в памятниках послепетровской эпохи вообще до сих пор не обнаружены.

Единичные примеры среднего рода засвидетельствованы даже в XIX в., но почти исключительно в военных документах. Приведем примеры: "*Извещаю* **вашего сиятельства**, что я предписал отпустить из сумм... всем раненым офицерам третное жалованье" (Поход р. а., 67; 1813 г.); "*Спешу уведомить* **вашего высокопревосходительства**, что я принужден был отменить намерение мое остановиться в здешнем местечке..." (там же, 176); "С первым нарочным *уведомлю* я подробно **вашего сиятельства** о всех предпринятых по сей части распоряжениях" (там же, 197). Нам кажется, что употребление таких форм в XIX в. уже является явным анахронизмом — это язык еще предыдущего века. Неудивительно, что все приведенные примеры

³⁰ Ряд примеров с В=Р из текстов XVIII в. любезно сообщила нам доцент Упсальского университета Л. Ферм.

³¹ Ошибочно вместо *его*.

³² Аналогичная формула содержится во всех 46 челобитных жителей Москвы с 1741 по 1772 год, опубликованных в данном издании.

³³ Глагол *рапортовать* в данном памятнике засвидетельствован с варьирующим управлением: *рапортовать кому / к кому / кого*.

относятся к военным документам; в переписке Лермонтова или Пушкина мы таких форм не встречали. Однако в одном из ранних произведений Л. Толстого "Утро помещика" (1856 г.): находим следующие любопытные примеры³⁴: "Мы всегда *за вашего сяса* (= сиятельства) богу молим..." (VII); "Помилуйте, васясо (= ваше сиятельство), мы, кажется, можем *понимать вашего сяса!*" (VIII). Форма В=Р в данных случаях используется писателем для стилизации речи крестьянина – обращает на себя внимание и конструкция *молить богу* (вместо *молиться*), тоже уже давно вышедшая из употребления³⁵.

Итак, можно подвести итоги. В конце XVI – начале XVII в. в русском языке стали широко употребляться титулования среднего рода типа *величество*, *высочество* и женского рода типа *милость*, (*пре)святлость*. Являясь обозначениями людей, т.е. одушевленных существ, эти слова более или менее регулярно входили в морфологическую категорию одушевленности. С большей регулярностью это происходило с титулами среднего рода, так как форма В=Р способствовала синтаксическому отграничению объекта от субъекта. Что касается титулований женского рода, почти исключительно относящихся к *i-склонению, то у них форма В=Р обычно совпадала с формой ДП (а также МП). Поскольку, тем самым, употребление формы В=Р при женских титулованиях редко приводило бы к уточнению синтаксических отношений, но, наоборот, часто делало бы предложение еще более многозначным, при них формы В=Р используются гораздо реже, чем при титулованиях среднего рода.

В начале XVIII в. подобные выражения еще встречаются, но уже гораздо реже, чем формы ВП, неомонимичные РП. В конце XVIII и даже в первой половине XIX в. еще обнаруживаются единичные примеры с В=Р от neutra, особенно в военных документах. В более поздних текстах XIX в. такие формы практически не наблюдаются; по-видимому, категория одушевленности окончательно утвердилась в том виде, в котором она существует в наше время: в единственном числе она затрагивает лишь masculina *o-склонения. Интегрирование в данную категорию некоторых neutra и feminina было лишь временным отклонением, промежуточным состоянием, в конечном итоге не увенчавшимся успехом³⁶.

ИСТОЧНИКИ

- АИ – Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек. Т. 2. СПб., 1842.
АЗР – Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 1: 1340–1506. СПб., 1846.
ДАИ – Дополнения к актам историческим, относящимся к России / Собраны в иностранных архивах и библиотеках и изданы Археографической комиссией. СПб., 1848.
В-К I – Вести-Куранты, 1600–1639 гг. М., 1972.
В-К II – Вести-Куранты, 1642–1644 гг. М., 1976.
В-К III – Вести-Куранты, 1645–1646, 1648 гг. М., 1980.
В-К IV – Вести-Куранты, 1648–1650 гг. М., 1983.
В-К V – Вести-Куранты, 1651–1652 гг., 1654–1656 гг. 1658–1660 гг. М., 1996.
ЖПВ – Журнал или Поденная записка...имп. Петра Великого с 1698 г. даже до заключения Нейштатского мира. Ч. 1–2. СПб., 1770–1772.
КДРС – Картотека Словаря русского языка XI–XVII вв. – хранится в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН (Москва).
КС XVIII – Картотека Словаря русского языка XVIII в. – хранится в Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург).

³⁴ На эти примеры любезно обратила наше внимание д-р филол. наук А.Н. Шаламова (ИРЯ РАН).

³⁵ О вариативности ВП/ДП для выражения личного объекта при глаголе *молить* в более ранние периоды см. [Maier 1997: 227–230].

³⁶ Автор искренне признателен профессору В.Б. Крысько, который не только побудил нас к написанию данной статьи, но и – прочитав первый ее вариант – сделал ряд ценных замечаний по содержанию и осуществил стилистическое редактирование окончательного текста.

- Памятники XVIII – Памятники московской деловой письменности XVIII века. М., 1981.
- ПБП I–XII – Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1–12. СПб.–Пг.–М.; Л.–М., 1887–1977.
- Поход р. а. – Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. Сборник документов. М., 1964.
- ПРП XVIII – Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.
- Псм гос. – Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 1–4. М., 1861–1862.
- Рим. имп. д. – Памятники дипломатических сношений с Римскою империею. Т. 2. СПб., 1852.
- Сб. РИО – Сборник Имп. Русского исторического общества. Т. 9. СПб., 1872.
- Семил. в. – Семилетняя война. Материалы о действиях русской армии флота в 1756–1762 гг. М., 1948.
- Сл XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–23–. М., 1975–1997–.
- Сл XVIII – Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1–8–. Л. – СПб., 1984–1995–.
- Срезн. – Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Репринт. изд. Т. 1–3. М., 1989.
- ССУМ – Словник староукраїнської мови. Т. 1–2. Київ, 1977–1978.
- Суворов – Суворов А.В. Письма. М., 1986.
- Chrest. star. – Wydra W., Rzepka W.R., Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław etc., 1984.
- KSJP – Kartoteka Słownika języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII wieku. Instytut języka polskiego PAN, Warszawa.
- Linde – Linde S.B. Słownik języka polskiego. T. 1–6. Lwów, 1854–1860.
- SSP – Słownik staropolski. T. 1–10–. Wrocław etc., 1953–1990–.
- Theatrum Europæum VIII – Theatri Europæi Achter Theil. Frankfurt-am-Main, 1667.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вайан А.* 1952 – Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
- Крысько В.Б.* 1994 – Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.
- Крысько В.Б.* 1997 – Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. М., 1997.
- Крысько В.Б., Maier I.* 1997 – R.Ling. 1997. V. 21. № 3. – Рец.: Вести-Куранты, 1651–1652 гг., 1654–1656 гг., 1658–1660 гг. М., 1996.
- Майер И.* 1997 – Русское глагольное управление XVII в.: проблема своего и чужого (на материале "Вестей-Курантов") // ВЯ. 1997. № 5.
- Kucala M.* 1978 – Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny. Wrocław etc., 1978.
- Maier I.* 1997 – Verbalrektion in den "Vesti-Kuranty" (1600–1660). Eine historisch-philologische Untersuchung zur mittelfrussischen Syntax. Uppsala, 1997.
- Mathiesen R.* 1984 – The Church Slavonic language question: An overview (IX–XX centuries) // Aspects of the Slavic language question. V. 1. New Haven, 1984.
- Schibli R.* 1988 – Die ältesten russischen Zeitungsübersetzungen (Vesti-Kuranty), 1600–1650: Quellenkunde, Lehnwortschatz und Toponomastik. Bern, 1988.
- Timberlake A.* 1997 – Чему кси слѣпилъ брать свои: Templates and the development of animacy // R.Ling. 1997. V. 21. № 1.
- Vaillant A.* 1964 – Manuel du vieux slave. 2. éd. Paris, 1964.

© 1999 г. Э.Г. ТУМАНЯН

О ПРИРОДЕ ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Вопрос о природе языковых изменений и сегодня не потерял своего интереса, продолжая привлекать пристальное внимание лингвистов различных профилей. В задачу данной статьи не входит подробный анализ обширной научной литературы и многочисленных работ по данной теме. Здесь отметим только, что проблема языковой эволюции рассматривалась в самых разных аспектах, крайние точки которых в обобщенном виде можно свести к двум, наиболее важным положениям. Сторонники одного из них, социолингвистического, придерживаются концепции, согласно которой языковые изменения обусловлены причинами внешнего, социального порядка. Сторонники другого тезиса полагают, что языковые изменения связаны исключительно с внутренними причинами.

Следует отметить, что сам факт изменчивости языка мало кем вообще оспаривается. Проблематичным остается вопрос о природе этих изменений и о причинах их появления, что далеко не так очевидно.

В настоящее время обе указанные, по существу, полярные концепции легли в основу единой теории языковых изменений, согласно которой последние могут носить как спонтанно возникающий характер, так и быть результатом креативной деятельности общества, итогом его целенаправленного вмешательства в языковые процессы. Этим по существу манифестируется положение о двуприродности языковых изменений, поскольку язык "проявляет двоякую зависимость своей эволюции – от среды, в которой он существует, с одной стороны, и от его внутреннего механизма и устройства, с другой" [Серебренников, Кубрякова 1970 : 198]. Вместе с тем применительно к конкретным языковым фактам оно не дает ключа к четкой дифференциации имманентно возникших изменений от искусственно привнесенных в язык вмешательством человека, к правильной оценке их генезиса. Отграничение спонтанных изменений в языках от общественно-детерминированных осложняется еще трудностью выявления социально-соотнесенных лингво-культурных феноменов на различных уровнях языка и связано, главным образом, с неразработанностью методов экспликаций, методов строгой и компактной дефиниции разноприродных явлений.

Основная задача данной статьи заключается в попытке на основе документально засвидетельствованных фактов показать языковые изменения, которые имеют совершенно разную природу, дать определение их "лица" и источника возникновения, сравнить и четко разграничить внутрискруктурные изменения имманентного характера от тех, которые являются плодом целенаправленного или стихийного воздействия общественных, внешних факторов.

Прежде чем перейти к основной задаче – анализу языковых фактов, необходимо дать краткий обзор существующих точек зрения.

Проблемы языковой телеологии и интерпретации причин и направлений языковых изменений имманентной природы и в настоящее время продолжают привлекать пристальное внимание лингвистов самых различных ориентаций. При этом в понимании движущей силы и самой природы языковых изменений нет единообразия и согласия [Николаева 1991; 1996]. Понимая язык как чистую структуру соотношений, многие исследователи пытаются устранить влияние внешнего, социального фактора. Пред-

полагается, что в границах лингвистических исследований внешние факторы не должны привлекаться, поскольку предметом интереса лингвиста должна быть внутренняя причинность языковых изменений [Курилович 1965 : 404–405]. Особенно остро при этом стоит вопрос о невыявленных причинно-следственных связях языковых изменений, о пружинах скрытых импульсов языковой эволюции. Примечателен факт, что первоначально проблема имманентных языковых изменений и поиски их причин решались в основном по данным фонетики и фонологии. Возможно это обстоятельство и дало повод некоторым исследователям сомневаться в возможности успеха в поисках первопричин внутрискруктурных фонетических изменений. Гораздо более результативными эти поиски оказались при изучении изменений, происшедших на различных уровнях языка под влиянием внешних факторов, особенно в условиях сознательного вмешательства общества в языковую структуру.

Занимаясь проблемой звуковых изменений, Л. Блумфилд пришел к выводу, что поиски причин этих изменений бесперспективны, поскольку еще никому не удалось установить связь между звуковым изменением и каким-либо предшествующим ему явлением. В итоге он оставляет вопрос о причинах звуковых изменений открытым [Блумфилд 1967 : 420]. А. Мартине в качестве движущей силы языковых изменений рассматривал в числе других также принцип экономии усилий, согласно которому человек «растрчивает свои силы лишь в той степени, в какой это необходимо для достижения определенной цели» [Мартине 1963 : 532–533]. Иная позиция по поводу языковых изменений у О. Есперсена. Появление аналитических конструкций в индоевропейских языках он трактовал в целом как процесс совершенствования языкового строя, как стремление к более совершенной языковой форме [Jespersen 1925 : 364]. Эта точка зрения представляется наиболее близкой к реальному положению вещей. Косериу полагает, что «язык изменяется именно потому, что он не есть не что готовое, а непрерывно создается в ходе языковой деятельности» [Косериу 1963 : 184]. Рассматривая вопрос о причинах языковых изменений Т.М. Николаева выдвигает гипотезу, согласно которой последние происходят благодаря наличию в языке тенденции «к передаче все большего количества информации в единицу времени», стремления конденсировать смысловую насыщенность в единицу времени [Николаева 1991 : 16]. Реализуется указанная тенденция при помощи компрессии и суперсегментации. Концептуальное содержание этой гипотезы представляет созвучным с принципом экономии в языке, предложенным Мартине: аллегорическая речь и компрессия – та же самая экономия языковых усилий. Данная гипотеза, безусловно, имеет свои плюсы, т.к. позволяет в ряде случаев выявить механизм языковых изменений. Но в то же время как быть с фактами тех изменений, которые реализуются не путем сокращения, а напротив, увеличения общего объема структурных единиц в пользу семантических уточнений. Примером может служить появление аналитических глагольных категорий во многих индоевропейских языках взамен флективно-синтетических. Что касается аллегорической речи, то она тоже, по-видимому, реализуется в ограниченных случаях. Во всяком случае в условиях полногласности вокализма, например, армянского языка принцип ускоренной речи вряд ли может иметь место.

Необходимо подчеркнуть, что в истории конкретного этноса удельный вес имманентных изменений в языке и их соотношенность с общественно-детерминированными не является постоянной величиной. В зависимости от внешних причин она может существенно меняться. Так, появление письменности и формирование из диалекта письменно-литературного языка дает значительный рост удельного веса общественно-детерминированных изменений по сравнению с более медленно и скрытно протекающими имманентными. В архисистеме языка, образованной из совокупности различных страт, наиболее подверженным влиянию общества, наиболее искусственным является литературный язык.

Следует отметить, что на глубинном диахроническом уровне изменения, происходящие в языке, имеют в конечном счете скорее общественно-детерминированный характер, поскольку сам язык – явление глубоко общественное. Однако источник

одних изменений лежит на поверхности, достаточно четко просматривается и увязывается с влиянием экстралингвистических факторов, с влиянием социума, пользующегося данным языком; источник же других не поддается конкретному определению и подобной трактовке. В самом деле, влиянием какого внешнего фактора могут быть интерпретированы звуковые изменения, отраженные в законе Вернера, согласно которому всякий неначальный глухой щелевой подвергался в германском озвончению, если ударение следовало за ним. Причем, если сам Вернер непосредственной причиной озвончения считал ударение, которому приписывается определяющая роль, то Соссюр объясняет эти изменения наличием спонтанной тенденции к озвончению спирантов внутри слова [СГГЯ 1962 : 212]. Остается неясным, что лежит в основе самой этой тенденции, каков движущий фактор.

Следует отметить, что факты языковых изменений, происходящих на различных уровнях языка довольно легко обнаруживаются диахронически, особенно при наличии письменных памятников. Они поддаются изучению, являясь предметом исторической лингвистики. Гораздо труднее установить внутренние причины, собственно механизм появления самих изменений, по существу противоречащих социальной потребности в постоянно устойчивом и упорядоченном языке.

Выше было сказано, что главная задача статьи – разграничить изменения, которые произошли «сами по себе», по каким-то неизвестным человеку внутренним законам, от тех, которые являются результатом акта «общественного насилия», итогом проникновения человека в недра «языковой кухни». Обратимся сперва к изменениям имманентного характера, в основе которых лежат внутренние импульсы. В любом языке заложен внутренний стимул к спонтанному развитию. Основой его является наличие внутренних противоречий в самой природе языка как определенным образом организованной субстанции, обладающей коммуникативными функциями. Характер внутренних противоречий во всех случаях отражает несовершенство отдельных уровней языка, ущербность ее организационной системы. Эти несовершенства, не нарушая заметным образом общего равновесия языка как коммуникативно-приспособленного механизма, являются первопричиной динамических изменений, происходящих в нем при определенных условиях. К их числу относятся, в первую очередь, феномен вариативности структурных элементов языка и их реализаций, наблюдаемых на всех ярусах, затем ущербность парадигм и систем оппозиций, образуемых ими и др.

Причины возникновения ущербных парадигм – самые разнообразны: проникновение диалектных элементов и образование дублетных форм, выпадение архаизмов без замещения образовавшихся пустот, недоразвитость определенных парадигм и, следовательно, нарушение установившихся в языке оппозиций и прочих системных связей, тенденция к экономии языковых средств, стимулирующая появление типового однообразия, приводящего к совпадению форм при наличии разности в значении и пр. Во всех этих случаях язык стремится восстановить и усовершенствовать внутреннюю систему самопроизвольным образом.

К документально зафиксированным фактам самопроизвольного включения языкового механизма с целью поднятия уровня информации можно отнести процесс превращения определенного постпозитивного артикля *n* (или *ə*) во флексию дательного падежа в новоармянском литературном языке [Туманян 1955]. Артикль этот представляет собой частицу, которая присоединяется к концу имени и определяет его. При склонении он ставится после падежной флексии: *mard* «человек вообще», *mard-n* «определенный человек», *mard-u-n* «определенному человеку». Артикль широко употреблялся в грабаре, а также в диалектах армянского языка. В современном литературном восточноармянском языке он приобрел новую особенность: перестал присоединяться к именам, стоящим в родительном падеже, в отличие от древнеармянского языка и диалектов. Ср. в грабаре *yaçags paterazmin Vaçarşakay ənd pontaçis* «По поводу войны Вагаршака с понтийцами». Возникает вопрос, почему определенный артикль у существительных в родительном падеже новоармянского литературного языка исчез? В процессе изучения категории артиклей мы натолкнулись на факты,

позволившие установить определенную точку зрения на этот вопрос. Анализ морфологии падежной системы показал слабое звено этой системы: все падежи как-то оформлены, кроме родительного и дательного, которые полностью идентичны. Так, именительный падеж особых окончаний не имеет, винительный сходен с именительным или дательным, отложительный, творительный и местный падежи имеют свою особую флексию. Что же касается родительного и дательного, то они, как было сказано, абсолютно тождественны. Совпадение форм этих падежей, сопряженное с семантической неточностью информации постепенно привело в новоармянском литературном языке к тенденции расподобить их. С этой целью был использован артикль в качестве своеобразной флексии, чему в значительной степени способствовала удобная его позиция в конце падежных форм. Произошло переосмысление функций артикля, превращение его в формальную частицу для дифференциации падежей, в результате которого родительный падеж полностью потерял определенный артикль, а в детальном падеже, наоборот, его употребление участилось настолько, что он ставится даже тогда, когда существительное заведомо неопределенно. Процессу закрепления определенного артикля за дательным падежом в качестве падежной флексии способствовало еще и то обстоятельство, что артикль стали терять и последние три падежа – отложительный, творительный и местный, обладающие собственными падежными флексиями. Произошел явный семантический сдвиг определенного артикля: стоит только к родительному падежу прибавить артикль, как он тотчас же воспринимается как детальный. Предложение *Zoravari hraman ekav* "Пришел приказ командира", где *zoravar* "командир" стоит в родительном падеже и без артикля, полностью переосмысливается, если к родительному падежу прибавляется артикль: *Zoravari-n hraman ekav* воспринимается как "Пришел приказ к о м а н д и р у". Можно привести массу примеров переосмысления артикля во флексию дательного падежа. Так, застывшие фольклорные формулы, сохранившие реликтовое артикли в родительном падеже в современном языке воспринимаются как образования с дательным падежом. Ср. *Es jin em jivarin* "Я лошадь наездника" (род. падеж с артиклем) стало восприниматься как "я лошадь наезднику". Причина описанных выше изменений в значении и соотносительно в функции артикля *n* (*ə*) заключается, прежде всего в снижении уровня информации при формальном совпадении двух разнозначных падежей. Спонтанно появляется внутренний импульс к повышению уровня взаимопонимания, включается языковой механизм для привлечения уже имеющихся в языке структурных элементов с их последующей смысловой перестройкой.

Приведем другой пример имманентных изменений из глагольной системы. Сравнение системы габара в V в. и современного армянского языка документально подтверждает наличие в габаре необратимой тенденции заменить унаследованные от общиндоевропейского состояния синтетические глагольные формы более жизнеспособными аналитическими конструкциями. Памятники габара свидетельствуют, что аналитические глагольные конструкции со вспомогательными глаголами первоначально подключались к лично-временным синтетическим чаще всего в тех случаях, когда последние недостаточно однозначно и четко выражали залоговые оппозиции. Следует отметить, что состояние залоговых оппозиций являлось наиболее уязвимым, слабым звеном в глагольной системе габара, особенно в системе презентных основ. Следует напомнить, что дифференциация глаголов действия и глаголов состояния в габаре шла одновременно с оформлением системы времен и наклонений на основе оппозиций двух основ – презенса и аориста. В системе презентных основ повсеместно наблюдалось противоречие плана выражения с планом содержания. Особенно противоречивым был тот факт, что все глаголы без исключения в имперфекте выработали лишь одну серию окончаний, общую для обоих залогов, благодаря чему оппозиция актив/пассив здесь полностью снималась, например *sirēi* означает "я любил" и "я был любим". Определенная непоследовательность в реализации плана выражения актив/пассив наблюдалась и в системе аористных основ, которые относительно лучше были оснащены для этой оппозиции. Но и здесь наблюдалось совпадение форм актива и

пассива, например, *dateçay* "я осудил" и "я был осужден". Все вместе приводило к тому, что больше половины всех возможных синтетических личных временных глагольных форм по своему значению были двусмысленными.

Для восстановления равновесия язык стал использовать уже готовые существующие в нем резервы. Таковыми оказались аналитические глагольные конструкции, образованные путем сочетания причастных форм со спрягаемыми формами вспомогательных глаголов. Система аналитических времен грабара образуется путем сочетания причастных форм полнозначных глаголов со спрягаемыми формами бытийных глаголов *em* "я есмь" и *linim* "я становлюсь" (ср. немец. *werden*). Центральное место занимают два причастия – прошедшее и будущее, на которые ложится основная смысловая нагрузка. Вспомогательные же глаголы выражают категорию лица, числа, отношения действия к моменту речи, т.е. соотношенность времен и наклонений. Указанные конструкции со вспомогательными глаголами подключались чаще всего в те парадигматические ряды, в которых синтетические формы давали повод к двойственному пониманию значения, т.е. были недостаточно дифференцированы в залоговом отношении. Особенно продуктивно функционирует в этих случаях глагол *linim* в имперфекте. Образованная при этом конструкция употребляется для выражения значения имперфекта пассивного залога, т.к. залоговая оппозиция в имперфекте не получила никакого формального выражения у всех типов спряжения, например, вместо двусмысленного *mecarēin* "они возвеличивали" и "они возвеличивались" употребляется аналитическая конструкция *mecareal linēin* "они возвеличивались". В целом аналитические глагольные конструкции оказались настолько жизнеспособными, что образовали новую, продуктивную систему, изменив тем самым весь глагольный видо-временной строй грабара. Таким образом можно констатировать возможность вычленения и дифференциации изменений, которые произошли в языке благодаря его способности к внутреннему саморегулированию и ликвидации системно-структурных противоречий, приводящих к двусмысленности содержания.

Перейдем к анализу социально-детерминированных изменений в языке, используя конкретные факты.

Проблема социальной управляемости языка, воплощающей творческий аспект общества довольно долгое время оставалась в тени в практическом плане, в стороне от магистрального пути развития эволюционной лингвистики. Не отрицая значение социального компонента в развитии языка, многие исследователи, замороженные потрясающей способностью последнего к саморегуляции, как бы не замечали стоящих за своей спиной носителей и заодно следов их реконструктивных акций, отраженных в языке. Оставаясь один на один с языком, лингвисты фиксировали свое внимание и усилия прежде всего на разгадку причин и специфики имманентно протекающих языковых изменений. Так это продолжалось, пока социолингвистика не подошла вплотную к изучению проблемы языковых изменений со своих позиций.

Одним из первых известных представителей социологического направления в лингвистике следует считать А. Мейе [Meillet 1926]. Изменения в языке Мейе связывал с социальными условиями существования носителей, поскольку сам язык существует только благодаря обществу. Продолжая эту идею А. Sommerfelt в свою очередь утверждал, что в конечном итоге все языковые изменения имеют социальный характер [Sommerfelt 1962]. В дальнейшем появилось целое поколение лингвистов-социологов, усматривавших в основе многих языковых изменений также и влияние внешних, социальных факторов, одновременно признававших и наличие внутривидовых, имманентных изменений.

В советской социолингвистике значительный вклад в изучение языка в общественном аспекте внесли Е.Д. Поливанов, Б.А. Ларин, А. Селищев и др. Последние в принципе опирались на идеи И.А. Бодуэна де Куртене и Ф.Ф. Фортунатова, которые ввели разграничение внутренней и внешней лингвистики, подхваченной в свое время Ф. Соссюром. Таким образом основы советской социолингвистики были заложены еще в 20–30-е годы, в эпоху формирования множества литературных языков из бывших

этнических диалектов и разработки принципов языкового строительства. Сама жизненная ситуация той эпохи и повседневная необходимость иметь дело с языковыми фактами, оперировать ими в повседневной деятельности дали мощный импульс формированию идеи о необходимости разграничения внешних и внутренних факторов воздействия на язык. Лингвистика повернулась лицом к языку и стала рассматривать его не как абстрактную знаковую систему, а как сугубо общественное явление, установив необходимость не только воздействовать на него, но и видоизменять его в какой-то степени. Эта позиция несколько не мешала Поливанову искать, например, внутренние причины звуковых изменений, вместе с тем, утверждая, что цель развития языка определяется его коммуникативной функцией [Поливанов 1968 : 212].

В дальнейшем, с развитием социолингвистики стали четко дифференцироваться внешние и внутренние причины языковых изменений. Можно считать, что именно российскими учеными была выдвинута и четко сформулирована идея о совместимости обоих типов языковых изменений в истории развития многих языков, как бы объединившая эти две концепции. Таким образом, в конечном итоге господствующей стала идея о наличии двух типов языковых изменений: возникших под действием внешних факторов и появившихся на основе внутренних импульсов, самопроизвольно.

* * *

На первых порах в социолингвистических исследованиях недостаточно интерпретированным оставался сам механизм воздействия социальных факторов на язык, недостаточно изученной была система самих факторов и особенности их воздействия. В связи с этим нередко общественно-детерминированные языковые изменения сводились к отдельным, частным случаям, минуя освещение их общественного масштаба. Недостаточно четко дифференцировалось стихийное влияние социальных факторов от целенаправленного воздействия общества на язык и пр. Нередко внешние причины языковых изменений сводились к какому-нибудь одному фактору. Так, например, Б.А. Серебренников причиной многочисленных изменений на различных уровнях языков народов СССР считает этно-языковые контакты [Серебренников, Кубрякова 1970 : 221–233]. При этом особенно восприимчивой сферой "для всякого рода иноязычных влияний является лексика" [Серебренников, Кубрякова 1970 : 230]. Описанные им факты языковых изменений в условиях контактов – достаточно распространенное явление. Но контакты – это далеко не единственный внешний фактор воздействия на язык. Существуют и такие действенные факторы, как целенаправленное сознательное воздействие общества на язык, языковая политика и языковое строительство и др. Сами контакты по существу представляют собой внешний фактор стихийного воздействия, нередко неуправляемый обществом.

Наиболее полную характеристику факторов внешнего воздействия дал, пожалуй, Ю.Д. Дешериев. Согласно его определению, социальный фактор – это системно организованное социальное действие разной структуры в обществе. Социальный фактор может быть представлен идеей, или целостной концепцией, которые влияют на язык в целом, определяют его судьбу, настоящее и будущее. Социальный фактор глобального значения влияет и на отдельные элементы языка (изменение смысла слов, его идеологии, например, русск. *совет* в значении органа государственной власти [Дешериев 1988 : 7]. Социолингвистическое исследование определяет в том числе и степень конкретного влияния социальных факторов на явления и элементы всех уровней структуры языка (лексико-семантического, фонологического, морфологического, синтаксического и стилистического) [Дешериев 1988 : 10]. Ю. Д. Дешериев выделяет социальные факторы максимального и минимального значения. К числу первых среди прочих относит, например, языковую политику, социально-экономическую формацию и пр.

Внешние, социальные факторы воздействия на языковые процессы могут носить

как сознательно-целенаправленный характер, воплощающий творческий аспект общества, так и стихийный. Последний зависит от специфики исторически сложившихся обстоятельств, в которых существуют языки и их носители и свойствен более ранним этапам развития человеческого общества. Примером стихийного внешнего воздействия на язык может служить формирование лексики языковых союзов, представляющих собой особую ареальную группу языков. В результате культурно-исторического взаимодействия у них вырабатывается общий лексический фонд, не обладающий общими звуковыми соответствиями. Однонаправленные изменения могут иметь место и на других уровнях языковой системы, но особый интерес представляет лексика. Ярким примером ее общественной детерминированности может служить выявленный О.Н. Трубачевым факт массового перехода древних и.-е. терминов плетения и гончарного производства на ткачество на основе действия закона семантических полей, реализация которого тесно связана с производственной и социальной жизнью разноязычного общества конкретного ареала [Трубачев 1966]. "Древнее соседство, – пишет О.Н. Трубачев, – не могло обойтись без языковых, изоглосных и других связей" [Трубачев 1984 : 26].

В языковых союзах, помимо наличия первичных генетических связей, стихийно формируются новые общие языковые инновации на основе культурно-экономических и исторических контактов. Так, в балканском языковом союзе (болгарский, македонский, албанский и др.) на основе интенсивного взаимодействия языков стихийно выработались на всех уровнях языков ряд схождений, особенно лексических, известных как балканизмы. Их появление обусловлено общностью социальных условий бытования, типов хозяйствования и пр. в определенном географическом ареале.

Особое место среди внешних факторов воздействия на язык занимает сознательная корректировка обществом языковых процессов.

Основной задачей общественно регулируемого воздействия на язык является изменение его функционального статуса либо в сторону расширения, либо, напротив, сужения, что в конечном счете определяется языковой политикой.

Расширение функционального статуса языка, т.е. сфер, которые он должен обслуживать, требует целенаправленной коррекции его внутривидовых возможностей: расширение объема лексики, развитие стилистических систем, внедрение различных инноваций во все уровни языка. Таким образом, можно резюмировать, что объектом вмешательства общества является, как правило, литературный язык – наиболее значимая страта общенародного языка; это вмешательство реализуется на основе выработанной обществом языковой политики.

Известно, что современные литературные языки отличаются от диалектов прежде всего тем, что являются объектом и результатом реконструктивного вмешательства общества, развиваются под его эгидой, изменяясь в нужном для него направлении. Это во многом искусственные языки, поставленные в жесткие общественные рамки. Признаки корректировки обществом внутренней структуры и функций языка в желательном для данного социума направлении, в отличие от имманентных изменений, достаточно прозрачно просматриваются на уровнях литературного стандарта, хотя и не всеми трактуются как общественно-детерминированные. Между тем именно отрицание фактора активного социального вмешательства в языковую структуру рождает и укореняет ошибочное представление об исключительно спонтанном характере языковых изменений.

Ниже мы перейдем к анализу фактов языковых изменений, которые нельзя трактовать как результат его имманентного саморазвития, поскольку эти факты имеют явно выраженный искусственный характер и являются итогом целенаправленной креативной деятельности человека, либо результатом воздействия других экстралингвистических факторов. В работе использованы данные литературных языков народов СССР доперестроечного периода, которые отражали языковую ситуацию на геополитическом пространстве СССР.

Одним из наиболее ярких примеров креативной деятельности человека в области

структуры и функций языка, в корректировке им языковых процессов является фантастический по своим масштабам и темпам реализации процесс превращения 50 бесписьменных языков народов СССР в письменно-литературные.

Из дореволюционных этнических диалектов различных народов буквально лепились на основании выработанной в программах языковой политики литературные стандарты, именуемые младописьменными. Этот грандиозный процесс в наиболее рельефной форме отражает позитивный в основном характер разумного общественно-детерминированного вмешательства в языковую жизнь, главным образом, в сферу литературных форм существования.

В понятие "младописьменный народ" вкладывается конкретный смысл: им обозначаются все ранее бесписьменные народы, обитающие на территории советского государства, которые до революции не имели литературных языков и только после 1917 г. получили письменность, сформировали литературные стандарты. Последние начали функционировать и постепенно наращивать репертуар общественных сфер особенно интенсивно начиная с 20–30-х годов.

Действительно, 20–30-е годы отмечены максимальным размахом, интенсивностью и плотностью исторических событий, связанных с языкостроительством, максимальной вовлеченностью в них экстралингвистических факторов [Туманян 1996]. Факт этот сам по себе уникальный по своим масштабам. Формирование новых языков состоялось в рамках лингвистических идей тех времен, которым отвечала и соответствующая языковая политика. В этот период в общественном сознании формируются и укрепляются основные постулаты языковой политики, предполагающей принципиально новую установку – и прежде всего ликвидацию неграмотности.

Последнее можно было реализовать лишь при помощи целенаправленной работы над внутривидовым развитием языка. Учебные пособия требовали наличия соответствующей терминологии, которая в принципе отсутствовала в языках при их диалектном состоянии. Поэтому одновременно с расширением функций прежних бесписьменных диалектов и последовательным их внедрением в новые сферы необходимо было искусственно и целенаправленно поднять эти диалекты до уровня литературных стандартов. Основной упор был сделан, прежде всего на значительном расширении лексики языка и разработке функциональных стилей. Такая работа была проделана почти во всех младописьменных языках. Главным же источником для расширения лексики и стилистики являлся русский язык. Этому способствовали и алфавиты, сконструированные на основе кириллицы.

Сверхзадачей создателей литературных языков в то время являлось, как было сказано, изменение функционального статуса этнических языков в сторону расширения сфер применения, что могло быть реализовано, прежде всего, на основе появления у них письменности, позволяющей ликвидировать неграмотность. Творческая работа общества над формированием младописьменных литературных языков шла, как говорится, в открытую, на глазах у истории и реализовывалась усилиями лингвистов, литераторов, прессой и пр. Возникает вопрос, в чем конкретно заключалось вмешательство общества в процесс формирования новых литературных языков, которое отразилось на функциональном и внутривидовом состоянии последних? Обратимся к фактам.

Для превращения диалекта в литературный язык необходимо было произвести ряд продуманных целенаправленных акций вмешательства в языковую жизнь.

1. Выбор диалектной базы. Бесписьменные народы обладали множеством, иногда далеко отстоящих друг от друга диалектов, один из которых должен был стать основой нового языка, придать ему свою специфику. Будущий структурно-функциональный облик нового литературного языка зависел первоначально именно от указанного выбора, который реализовался обществом.

2. Отобранный диалект необходимо было всесторонне изучить, особенно уровень фонетики: нельзя было приспособить вновь созданный алфавит к отобранной модели без досконального исследования и определения специфики ее фонетической системы.

Это позволяло отдельные фонемы, имеющие слишком узко-диалектный резонанс, выбрасывать из системы на основе сознательно продуманного отбора, необходимого для алфавитных рамок. Создание алфавитов, таким образом, в какой-то степени стимулировало отсев избыточных фонем диалекта, упорядочение будущего фонологического облика литературного языка, в котором явно просматривалась «рука человека».

Следует отметить, что описанная выше отборочная работа при установлении состава фонем диалекта с целью отдифференцировки их от звуков, не образующих фонологическую оппозицию и не обладающих смыслообразительными признаками была проведена в 20-х годах и позже со всеми 50-ю языками. Момент выбора тех или иных форм для последующего внедрения во вновь создаваемые литературные языки, или напротив, их ликвидации, присутствовал постоянно. Это весьма важный факт, если иметь в виду, что в процессе изучения диалектов были выявлены среди них такие диалекты, которые обладали весьма сложной фонетической системой, насчитывающей до 80 фонем (кавказские языки). Именно поэтому создание алфавитов для 50 бесписьменных народов с целью закрепления обработанного языкового материала, полученного после отборочной ревизии диалектного инвентаря, следует рассматривать как факт сознательного вмешательства общества в языковую структуру и ее корректировки, что в какой-то степени определяет будущий облик литературных языков.

К внутривидовым изменениям с явными следами влияния экстралингвистических факторов бесспорно следует отнести значительное расширение лексического фонда литературных языков, который является наиболее подверженным структурной реорганизации языковым уровнем. Вместе с тем, как будет показано позже, общественно-детерминированные изменения происходят в меньшей степени и на других языковых уровнях.

Обогащение лексики как младописьменных, так и старописьменных языков происходит глобально и, прежде всего за счет специфических, лексико-семантических единиц, именуемых советизмами. Советизмы являются особым феноменом в языках народов бывшего СССР, порождением новых условий бытия, результатом перестройки общественного мировоззрения, характеризующего новый менталитет сформировавшегося суперэтноса. Именно поэтому советизмы нуждаются в научной интерпретации и «оприходовании» как убедительное доказательство общественно-детерминированного воздействия на языковую структуру. Еще Ницше подметил, что «при изучении слов с исторической и генеалогической точек зрения они предстают не как простые дескрипторы событий, а как сущности, непосредственно формирующие события». Ницше стремится проследить изменения значения в рамках интерпретации событий человеком, т.е. перевода этих событий в языковую форму [Маковский 1991 : 140; 1992]. Советизмы и являются тем ядром, сгустком, в котором сконцентрированы важнейшие события общественного бытия, переведенные в языковую форму. Именно поэтому они носят глобальный характер. Все языки народов СССР в своем словаре, как правило, обнаруживают такие понятия, как ‘ударник’, ‘стахановец’, ‘горсовет’, ‘райсовет’, ‘райком’, ‘соцсоревнование’, ‘колхоз’, ‘совхоз’, ‘партком’, ‘трудодни’, ‘спутник’, ‘совнарком’, ‘герой труда’ и много других неологизмов.

Советизмы сформировались в ареале языков страны за последние 70 лет благодаря наличию единого народнохозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории страны на основе единой экономики. Общественный характер собственности на средства производства, постоянно растущие экономические и культурные связи между народами, совместный труд, кооперирование производства, науки и техники породили и соответствующий лексико-терминологический фонд, систему номинаций, отражающие указанные процессы.

В общий лексико-терминологический фонд, который сформирован в основном на базе русского языка и заимствований через русский язык, входят лексические (чаще терминологические) элементы из области общественно-политической жизни, естест-

венных, общественных и технических наук, номенклатуры различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, народного творчества, международной жизни, духовной культуры, ономастики и пр. Слова указанного фонда охватывают все стороны производственной, общественно-политической, научной и духовной деятельности социума. По мнению Ю.Д. Дешериева, основными признаками, характеризующими общий лексический фонд, являются: 1) наличие общего значения и общей исходной основы фонологической структуры слова; 2) идентичное или близкое значение этого слова в большинстве литературных языков народов СССР, сопоставляемых в синхронном плане [Дешериев 1987 : 38]. К данным признакам можно добавить и третью разновидность слов, куда входят термины-кальки (и нетермины) с наличием общего значения (понятийные категории) и источника, но допускающие различия во внешнем оформлении, внешней оболочке. Последние могут носить национальную форму. Ср. слово *революционер* в арм. *heṡarphoxakan* с тем же значением.

Формирование общего лексико-терминологического понятийного фонда рассматривается как некий взаимосвязанный процесс, обусловленный общими экстралингвистическими факторами. Вследствие этого объем, содержательная сторона и перспективы дальнейшего развития указанного общего понятийного фонда в каждом отдельном языке интерпретируются как социально-детерминированные явления, тесно связанные с условиями, в которых функционируют языки и увязываются с аналогичными процессами, происходящими в других языках.

Глобальность его проникновения во все литературные языки, как младописьменные, так и старописьменные объясняется, с одной стороны, спецификой общественных установок – неологизмы внедрялись в язык и закреплялись сверху, на основе различных нормативных и прочих установок. С другой стороны, они поддерживались и наличием естественной потребности в новых лексических реалиях, порожденных самой жизнью и регулярно контролируемых обществом.

Попутно отметим, что для младописьменных литературных языков, в лексику которых широким потоком проникали указанные неологизмы, характерно было преимущественное сохранение фонетического облика новых слов, сформированных на основе русского языка. Старописьменные языки предпочитали либо принцип калькирования, либо замены нового слова собственными эквивалентами.

Как уже было сказано, ведущая роль в образовании общего лексико-терминологического фонда принадлежала языку межнационального общения – русскому. Последний не только служил средством, с помощью которого многоязычный регион приобретал способность функционировать как единый государственный организм, но являлся источником *о д н о н а п р а в л е н н о с т и* *в н у т р и* *с т р у к т у р н ы* *х* *и* *з* *м* *е* *н* *е* *н* *и* в языках народов, которых он объединял. При помощи и под воздействием русского языка меняется не только лексико-терминологическая система языков народов СССР. Под давлением системы многочисленных русизмов в литературных языках изменения происходят и на других уровнях – на уровне фонетики, синтаксиса и пр. Так, во многих литературных языках, особенно тюркских, наблюдаются факты функционирования фонем, прежде им не свойственных: в них появились ранее отсутствующие фонемы *ц*, *ч*, *ш*, *х*, *в*, *ф*, *а* в вокализме соответственно *о*, *е*, *э*. Например, башкирский литературный язык пополнился фонемами *о*, *е*, *ы*, которые приближаются к соответствующим русским фонемам [Баскаков, Кокланова, Мусаев, Юлдашев 1968 : 18]. Под влиянием заимствований из русского в каракалпакском стала осваиваться ранее отсутствующая в ней фонема /ф/. Вместо прежнего 'понарь', 'пабрика' стали произносить 'фонарь', 'фабрика' [ВРЛЯ 1964 : 235]. Следует отметить что указанные фонетические заимствования не меняют общую фонологическую систему языка, занимают пока еще маргинальную позицию. В отличие от явлений, сформулированных в законе Вернера по поводу фонетических изменений в германских языках с неизвестным источником и причинами их возникновения, в приведенных примерах источник появления новых фонем четко просматривается.

Под влиянием русского языка ряд изменений произошли и на уровне синтаксиса

литературных языков. Например, в армянском языке под давлением синтаксических конструкций русского языка скалькированы словосочетания с не свойственной ему изначальной структурой: в одних случаях исчезают послелогои, в других, напротив, появляются там, где им не следует быть. Ср. в армянском «играть на скрипке» построено без предлога – *juthak nvagel* букв. «скрипку играть». Но под влиянием русского языка здесь, как и в ряде других случаев закрепились конструкции с предлогом (в арм. послелог *vra* «на») – *juthaki vra nvagel* «играть на скрипке», или арм. *phoy хаҗал* «играть деньги» стало аналогично русскому – *phoyi vra хаҗал* букв. «играть на деньги» [Туманян 1973 : 94–95].

Все сказанное позволяет резюмировать. Языку свойственно имманентное саморазвитие, т.е. изменение отдельных звеньев системы, что объясняется стремлением ликвидировать структурно-семантические противоречия, скрытые в его недрах. С другой стороны яркие следы вмешательства человека в структуру и функции языка являются реальностью в чистом виде «без красителей и добавок». Таким образом внутривидовые изменения языков имеют двойственную природу: искусственную, социально-детерминированную и стихийно самовозникающую под давлением внутренних импульсов.

И последнее. Существует точка зрения, что современная лингвистика при обсуждении проблем языковых изменений не должна удовлетворяться ответом на вопрос как?, но искать ответ на вопрос почему они происходят и зачем? [Николаева 1991 : 12]. Вполне соглашаясь с подобной постановкой вопроса, считаем необходимым высказать свою точку зрения в понимании причин и целей имманентных изменений в языке. В научной литературе эти сакраментальные вопросы вызвали самые различные толкования, вплоть до отрицания возможности получить на них ответ.

При определении нашей позиции по данной проблеме в качестве исходной точки была принята идея о первичности семантики и вторичности формы выражения, которая в мировой лингвистике считается основополагающей. Главное назначение языка – передать информацию, ее содержание в наиболее доступной для восприятия форме. В этом смысл его существования. Если в каком-либо сегменте языка происходит сбой, в результате которого снижается или полностью искажается уровень информации, в нем самопроизвольно включается механизм для устранения смысловых завалов и подачи информации в чистом виде.

В этом состоит главная причина имманентных языковых изменений. Все остальные причины представляются как производные от основной. Язык должен сохранять коммуникативную пригодность в наиболее совершенном виде и он постоянно стремится к этому недостижимому идеалу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баскаков Н.А., Кокланова А.А., Мусаев К.М., Юлдашев А.А. 1968 – О развитии тюркских литературных языков // Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху (тюркские, финноугорские, монгольские языки). М., 1968.
- Блумфилд Л. 1967 – Язык. М., 1967.
- Дешириев Ю.Д. 1987 – Влияние русского языка на языки народов СССР и развитие общего лексического фонда // Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. М., 1987.
- Дешириев Ю.Д. 1988 – Теоретические аспекты изучения социальной обусловленности языка // Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка. М., 1988.
- Косериу Э. 1963 – Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
- Курилович Е. 1965 – О методах внутренней реконструкции // Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965.
- Маковский М.М. 1991 – Теория языка Фридриха Ницше и современные лингвистические концепции // ВЯ. 1991. № 1.
- Маковский М.М. 1992 – Лингвистическая генетика. М., 1992.
- Мартине А. 1963 – Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
- Николаева Т.М. 1991 – Диахрония или эволюция? // ВЯ. 1991. № 2.
- Николаева Т.М., 1996 – Теории происхождения языка и его эволюции – новое направление в современном языкознании // ВЯ. 1996. № 2.

- Поливанов Е.Д.* 1968 – Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Серебрянников Б.А., Кубрякова Е.С.* 1970 – Язык как исторически развивающееся явление // Общее языкознание. М., 1970.
- Трубачев О.Н.* 1966 – Ремесленная терминология в славянских языках. Этимология и опыт групповых реконструкций. М., 1966.
- Трубачев О.Н.* 1984 – Языкознание и этногенез славян // ВЯ. 1984. № 2.
- Туманян Э.Г.* 1955 – Превращение артикля в флексию дательного падежа в новоармянском языке // ВЯ. 1955. № 5.
- Туманян Э.Г.* 1973 – Армянский язык // Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху (внутриструктурное развитие старописьменных языков). М., 1973.
- Туманян Э.Г.* 1996 – По поводу понятий "старописьменные" и "младописьменные" языки // Социолингвистические проблемы в разных регионах мира. Материалы междунар. конференции. М., 1996.
- Jespersen O.* 1925 – Language: its nature, development and origin. London, 1925.
- Meillet A.* 1926 – Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1926.
- Sommerfelt A.* 1962 – Diachronic and synchronic aspects of language. 's-Gravenhage, 1962.

© 1999 г. В. ДИТРИХ

ВЛИЯНИЕ АМЕРИНДСКИХ ЯЗЫКОВ НА РОМАНСКИЕ

(ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ И СТРАНАХ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА)

1. Типы исторических контактов. Со времени завоевания европейцами различных частей Америки возникли контакты между языками завоевателей и аборигенов, т.е. между испанским, португальским и французским, с одной стороны, и языками американских индейцев (америндскими языками) и эскимосов – с другой стороны [de Granda G. 1994; Descola 1993; Izzo 1996; Lope Blanch 1968; 1978; Munteanu D. 1976; Şandru Olteanu 1992; Rivarola 1990; Schwauß 1986; Suárez 1988; Tovar 1963; 1986; Saint Jacques Fauquenoy 1972; Stein P. 1984; Ontañón de Lope 1979; Pottier 1983; Klein 1985; Liedke 1991; López-Morales 1992; Lüdtke 1995]. Таким образом, лишь немногие европейские языки были затронуты этим взаимодействием, и также очень ограниченное число америндских языков могло оказывать определенное влияние на европейские [характер этого возможного влияния и его масштабы мы определим ниже (см. 1.2.–1.3)]. Интересен тот факт, что языковые контакты в районах распространения английского и французского языков в Северной Америке были гораздо слабее, чем в Центральной и Южной Америке, где были распространены испанский и португальский. Это объясняется тем, что в Северной Америке не наблюдалось тесного взаимодействия между новыми поселенцами и коренными жителями, так что смешения населения на ранних этапах завоевания практически не было. В англоговорящей Америке поначалу также не проводилось миссионерской деятельности в среде индейцев.

1.2. Влияние европейских языков могло осуществляться через те америндские языки, которые имели значительное распространение и, следовательно, представляли интерес для миссионеров. Помимо особого случая, который представляют собой первые контакты при открытии Америки европейцами, имело место реальное соприкосновение с аборигенами и интерес к их языкам со стороны миссионеров и тех поселенцев, которые приспособлялись к обычаям и нравам индейцев и воспринимали их культуру (например, криоль в испанской Америке и кабокль в Бразилии). Кабокль, однако, отличается от криоль тем, что в разное время к "кабокль" относили небольшие группы индейцев, не принадлежавших ни к каким конкретным племенам, которые сосуществовали с туземцами и бразильским национальным обществом. В испанской Америке испанизированные индейцы назывались "ладинос". С точки зрения языкового контакта менее распространенные америндские языки едва ли играли какую-либо значительную роль (может быть, только в локальном масштабе), т.к. они не имели межрегионального престижа и не могли его приобрести из-за своего большого количества и культурной несовместимости между носителями этих языков и европейцами. Однако в региональном масштабе при соседстве криоль и кабокль мог происходить контакт между местным языком и негородским испанским. Однако эти языковые формы не зафиксированы в достаточном количестве. Между тем одни мелкие языки вымерли, другие произвольно вступили в контакт с европейской цивилизацией еще до того, как стали известны миссионерам. Коль скоро существовал или существует более или менее тесный контакт между каким-либо из америндских

языков и каким-либо европейским языком, этот контакт ведет, разумеется, к лексическому и (что бывает редко) к грамматическому изменению первого. Это относится, однако, к описанию какого-либо конкретного америндского языка и в данной работе мы это не рассматриваем.

1.3. Сильное влияние америндских языков на испанский, португальский и французский при современном уровне знаний истории контактов уже не нужно доказывать, когда речь идет о "habla culta" образованного слоя городского населения [Lore Blanch 1974]. "Наследство" индейских языков представлено повсеместно прежде всего в многочисленных топонимах, далее в обозначениях животных и растений, иногда в названиях перенятых у индейцев различных кушаний и напитков. Все это почти исключительно обозначения предметов; нет никаких абстрактных существительных, глаголов, крайне мало прилагательных. Это обычный процесс: так обстоит дело практически со всеми культурными адстратами, например, с заимствованиями из арабского в испанский или с англо-американизмами в испанском и португальском.

1.4. Совсем другое дело – тот частый случай, когда говорящие на одном из туземных языков переносят какие-то языковые особенности в испанский (португальский). Здесь речь идет прежде всего о миллионах индейцев и метисов, жителей Сьерры и Альтиплано Эквадора, Перу, Боливии, плоскогорья Мексики, полуострова Юкатан, Гватемалы, лесов Ориноко и бассейна Амазонки, Парагвая и области Мапуче в Чили. Для них статус официального языка страны был, естественно, не таким, как для тех жителей городов, которые говорили только на испанском (португальском). Следовательно, недостаточно говорить просто о феномене билингвизма среди индейского населения и метисов (ср. 3.1), поскольку для них эти языки не были равноценными в употреблении. Знание испанского (португальского) было в общем поверхностным. Здесь мы имеем дело с фонетической, грамматической, синтаксической и лексико-семантической интерференцией испанского и америндских языков, но совершенно не с воздействием индейского языка на местный испанский (португальский). Какого-либо значительного, действительно языкового, влияния на местный испанский (португальский) на протяжении всей истории не было, поскольку не было такого тесного контакта между туземцами и метисами-билингвами в городских центрах. Метисы и криоль (кабоэль в южной Бразилии) говорили на двух языках и еще во времена начала контакта были посредниками по передаче америндских языковых ценностей. Сначала они использовали их в исходной форме, потом адаптировали их, но в основном на фонетическом уровне.

1.5. Высказанный Р. Ленцем тезис о том, что чилийский испанский (а в особенности, его фонетика) восходит к арауканскому субстрату, неоднократно обсуждался в связи с другими американскими зонами, но нигде окончательно не подтвердился, поскольку местный испанский или португальский понимается как язык монолингвального использования, т.е. как "не-индейский". Повсюду сформировался местный язык романского происхождения, связи которого с языком европейского континента настолько слабы, что следует говорить о вариантах и субвариантах в рамках когда-то единого языка (испанского или португальского). Внешние факторы (факторы адстратного влияния) имеют некоторое значение, субстратных отношений не наблюдается из-за превосходства тех, кто, кроме испанского (португальского), не говорит ни на каком америндском языке. Иногда можно считать некоторое скрытое влияние (как на полуострове Юкатан) адстратным. Для исторической романистики представляется заманчивым найти здесь параллели с положением в Испании на исходе третьего века, т.е. примерно 500 лет спустя после испанизации полуострова. Но в отличие от ситуации в Испании в конце третьего века, распространенные америндские языки (науатль, майя, кечуа, аймара, гуарани) живы и спустя 500 лет после завоевания Америки. Если под субстратом (в строгом смысле) понимать влияние давно мертвого языка, носители которого по политическим или культурным причинам переняли язык доминирующего народа, сохранив при этом артикуляторные навыки и лексико-семантические особенности исконного языка, то такому влиянию не следует при-

писывать решающего значения. До тех пор, пока исконный язык продолжает существовать, его носители находятся в ситуации билингвизма (в большинстве случаев это диглоссия). В этом случае речь может идти о неизолированных, находящихся в *statu nascendi* субстратных отношениях. Субстратное влияние есть свидетельство окончания процесса контакта, который хотя и обуславливает вымирание автохтонного языка, но является непредсказуемым. По этой причине следует скорее вести речь об узком контакте или об интерстратном влиянии, тем более что языки племен также подвергаются влиянию официального доминирующего языка [Lope Blanch 1981; 415; de Granda 1994; Alvar 1969; 1970; 1987].

1.6. При обсуждении вопроса о влиянии индейских языков на испанский (португальский) следует различать такие понятия, как "habla rural" (деревенское наречие) и "habla culta". Последнее может быть определено как речь городского населения с более высоким уровнем образования, нежели минимальное школьное. Это явление будет изучено на основе работ [Lope Blanch 1977; 1978], касающихся некоторых главных городов Америки (Мехико, Богота, Каракас, Сантьяго (Чили)). Ограниченное число индегенизмов, которые появились в "habla culta" имеют, бесспорно, большую значимость при оценке америндского влияния на американский испанский (бразильский португальский), нежели многочисленные, но гораздо более ограниченные в региональном отношении индегенизмы "habla rural", которые были усвоены при более тесном контакте криоль и метисов с индейским населением или как минимум с индейскими традициями. Традиционные словари заимствований из языка индейцев Мексики, Сальвадора и Колумбии редко проводят это разграничение, чем зачастую и создают искаженную картину существования этих слов в языке страны.

2. **Французский язык в Америке.** Несмотря на то, что в "Новой Франции" с 1608 г. действовали иезуитские миссионеры, которые выучили местные алгонкинские языки (микмак, монтань, кри, Outa-ouais) и языки ирокезов (гурон) и создали для этих языков описания, влияние этих языков на французский незначительно. Иезуиты и урсунки создали в Квебеке школы, в которых совместно обучались дети французского и местного населения. Такие же школы создавались с 1608 г. в Монреале сульпицианами. Но и они не усилили готовности французов к восприятию индейских языковых элементов [Wolf 1987: 34]. Причина этого заключается в отсутствии смешения населения. Название ирокезских гуронов (Hurons, самоназвание Wyandot / Wendat), которое играет определенную роль в дискуссиях семнадцатого и восемнадцатого веков о "дикарях" и "цивилизации" (см. Voltaire "L'Ingénu"), – французского происхождения (<churon 'qui a la tête hérissée, rustre, personne grossière', hure 'tête du sanglier, du cochon').

2.1. Особенно сильно затронутыми оказываются америндские топонимы, в определенной степени эскимосские названия местностей "в областях расселения и первоначальном жизненном пространстве эскимосов" (inui) [Wolf 1987: 37] (inui – 'человек', самоназвание эскимосов). Некоторые примеры (часть из них – по данным старой орфографии) могут быть приняты и без обсуждения происхождения и первоначального значения этих названий, т.к. и то и другое часто оспаривается [Wolf 1987: 35–37]: *Canada / Kanata, Donnacona* (ирокез.), *Québec / Kebek / Kebecq* (монтан.), *Yamachiche, Shawinigan, Abitibi, Témiscaming, Témiscouata* (алгонкин.), *Outouanais* (река и ее окрестности на юго-западе провинции Квебек) и *Ottawa, Gaspé, Matapédia, Cascapédia, Causapsca, Rimouski, Kamouraska, Arthabaska* (а также *Madawaska, Upsalquitch, Tetagouche* в Новом Брунсуике) из языка микмак; кроме того: *Saguenay, Chicoutimi, Chibougamau, Mistassini, Péribonka, Métabetchouan, Tadoussac...*

Эскимосские топонимы в Grand Nord в Квебеке – это, по всей видимости, *Aupaluk* 'là où c'est rouge' ('там, где красное'), *Inukjuak* 'le grand homme' [Wolf 1987: 37], *Kuujuarapik* (ранее *Poste-de-la-Baleine*), *Povungnituk, Kangiqsujuaq* (Maricourt), *Kangisualujuak* (Порт Нуво в Квебеке).

2.2. Имена нарицательные америндского происхождения обозначают в большинстве случаев объекты флоры и фауны (см. [Wolf 1987: 36; Glossaire 1930]; *atoca* m. 'plante

des marais à baies rouges', *caribou* m. 'renne du Canada', *carcajou* m. 'espèce de blaireau d'Amérique', *maskinongé* m. 'poisson d'eau douce apparenté au brochet', *ouananiche* f. 'saumon d'eau douce que l'on trouve dans les lacs et rivières du Nord du Québec', *ouaouaron* m. 'grenouille géante de l'Amérique du Nord', *touladi* f. 'grosse truite grise', *outarde* f. 'bernache du Canada'; с индейской культурой связаны также такие обозначения предметов, как *habiche* f. 'peau non tannée, découpée en lanières servant à la fabrication des raquettes, des fonds de chaises etc. à la manière des Amérindiens', *mitasse* f. 'guêtre de drap, de cuir, de peau de chevreuil', *sagamité* f. 'bouillie de maïs et de viande'.

2.3. Далее мы рассмотрим индейские элементы во французском языке Канады. Сейчас в гораздо большей степени речь пойдет о тех явлениях, которые, будучи связанными с индейцами и их языками, позволяют проследить освоение французами североамериканского континента в XVII–XVIII вв. На территории сегодняшних США освоение французами областей Великих Озер, долин Миссисипи и Миссури в 1666–1667 гг. отражается не только в многочисленных французских топонимах, которые сохранились в англоговорящей среде и по сей день [*Detroit* (Мичиган); *La Crosse*, *Prarie-du-Chien* (Висконсин); *Des Moines* (Айова), *Terre Haute* (Индиана), *Butte* (Монтана), *Boise River* (Идахо) (из *Rivière Boisée*); *Cape Girardeau*, *St. Louis* вместе с городскими кварталами *Belleville* и *Flourissant* (Миссури); *Louisbourg* (Канзас) и т.д.]. Кроме того, многие сегодняшние обозначения (и их орфография) североамериканских индейских племен возникли при посредничестве французского языка. Достаточно вспомнить произношение некоторых названий алгонкинских групп, служащих топонимами: *Chicago* и *Michigan* ((ch) читается как [ʃ], или такое написание: *Cheyenne*, *Illinois* (обозначение *Illinwek* с дореволюционным французским написанием [oi] для [we] или *Sioux*). Последнее есть сокращение для *Nadovessioux*, одного из названий в языке чиппева (*Chippewa*) ('змея, враг') для народов, которые именуют себя *Dakota* (*Lakota*, *Nakota*). Подгруппа с самоназванием *Lakota* известна во французской традиции как *Teton* (*Tétons*), пример одного из тех дескриптивных имен, которые французы давали встретившимся им племенам (ср. также *Nez Percés*, *Gros Ventres*, *Sœur d'Alène*, *Pend d'Oreille*). *Sœur d'Alène* и *Pend d'Oreille* относятся к салишской языковой группе спокан в Идахо. Эта область была исследована Льюисом и Кларком во время поисков пути к Тихому океану (*Oregon-Trail*).

2.4. Луизиана и французские острова Карибского бассейна. На территории всей водной системы Миссисипи, где находилась французская колония Луизиана, постоянные французские поселения были столь немногочисленны и контакты французов с индейским населением столь редки, что едва ли было какое-либо значительное влияние местных языков на французский язык. В районе устья Миссисипи (сейчас – штаты Алабама, Миссисипи и Луизиана) языки индейцев *Muskogee* и *Natchez* (семьи юки) были потеснены, а впоследствии вытеснены при ввозе чернокожих рабов. Так, впрочем, и французский язык уступил место английскому и креольским языкам. Заимствованные из языка индейцев обозначения, которые произносятся по фонетическим правилам, близким к правилам французского языка (как, например, форма ландшафта в дельте Миссисипи – *bayou*), принадлежат сейчас в равной степени как французскому, так и английскому языку. Некоторые имена собственные (например названия племен *Muscogulges* и *Natchez*) приобрели литературную значимость в XIX в. во Франции благодаря романам Шатобриана "Атала" и "Рене": например, использованное Шатобрианом название Миссисипи (*Meschacebé*) цитируемое позднее Верленом и Эредиа, а также названия племен *Muscogulges* и *Natchez*. Можно также упомянуть заимствованное слово *lagniappe* 'довесок (при покупке)', перенятое из кечуа. Заимствование, вероятнее всего, проникло через колониальный испанский Карибского бассейна и побережья Флориды.

На островах Карибского бассейна французские поселения (примерно с 1635 г. на Мартинике и в Гваделупе) также никогда не были настолько сильны, чтобы возникло

новое франкоговорящее сообщество. Гаити стало французским только после Рейсвейкского мира в 1697 г. Кроме того, коренное население, о котором неизвестно практически ничего, быстро исчезло с импортом чернокожих рабов в семнадцатом веке. Практически нет достоверных исследований в отношении возможного индейского влияния, т.е. отдельных лексических заимствований из Тiано и языков Карибского бассейна в районе Санто-Доминго в креольские языки Гаити. Первые предварительные исследования были проведены А. Боллэ. До этого не было никаких словарей для креольских языков островов Карибского бассейна и Гайаны.

Займствования индейских обозначений вещей попадали из Нового света в европейский французский с 1520 г., а особенно активно – с 1550 г. через французов, путешествовавших к Антильским островам. Из французского языка, конкурируя с голландским и английским, эти слова попадали в немецкий и итальянский [например *hamac, canot, piroque, caïman, ouragan* (в 1533 г. сначала – *furacan*), *colibri, patate* (в 1525 г. *batate* 'patate douce') и т.д.].

В топонимах Гаити отражается аравакский диалектный континуум между Кубой и Санто-Доминго в элементе *Caye*, который появляется в названии *Les Cayes*, а также в названии острова *Grande Cayemite*, принадлежащего *Massif du Sud*. На другие аравакские топонимы указывают названия *Gonaïves, Petit-Goâve*, а также название острова и пролива *Gonâve*. Эти названия в испанском правописании представлены как *Guanahiba, Guaba* или *Guanaba*, ср. тж. *Guanabacoa*.

2.5. Французская Гайана. В отношении «*Département (d'outre-mer) de la Guyane*» можно в основном заметить то же самое, что и в отношении Антильских островов: там никогда не было более или менее многочисленного франкоговорящего населения, хотя эта область относилась к району распространения французских креольских языков, где основную часть населения составляли негры и мулаты. Первоначальные креольские языки так называемых бушнегеров (см. ниже) сегодня сильно перемешаны с многочисленными языками, пришедшими с Гаити. В истории французской колонизации также никогда не было значительных контактов с немногочисленными индейцами карибских галиби и вайана на р. Марони (галиби – также на побережье у Иракубо и Куру), с аравакскими паликур или с принадлежащими к семье тули вайапи на р. Ойапок и селившимися глубоко на континенте эмирильон [*Emerillon* (в традиционной французской орфографии)], в то время как французская колония Кайенна (*Cayenne*) находилась на побережье. Французская элита говорит там на "немаркированном" стандартном французском языке.

Французская Гвиана, прежде всего район Рио де Жанейро, – территория, которая в XVI в. одной из последних на бразильском побережье подверглась французской колонизации (см. 5.1.2). В 1604 г. была заложена Кайенна, но собственно колонизация района произошла десятилетиями позже. По утрехтскому соглашению Франция должна была уступить Португалии область между Рио Ойапок (*Oïaroque*) и Амазонкой (территорию современного бразильского федеративного государства Амапа). В период с 1808 по 1817 г. колония принадлежала Нидерландам.

Принимая во внимание влияние языков индейцев, интерес может представлять креольский язык так называемых бушнегеров – потомков чернокожих рабов, бежавших в XVIII в. и живших на территории, находящейся под влиянием индейцев. Поскольку в этом отношении креольский язык Французской Гвианы мало изучен, то здесь можно говорить только о необходимости исследования.

При описании обычаев индейцев используются лексемы местных языков, характеризующие обычаи индейцев, например, *cassave* из таино 'galette de manioc' (ср. исп. *cazabel/casabe*) или *cachiri* 'bière de manioc' из карибского в Венесуэле называемое *cachiri*. Однако это второстепенные явления, которые могли встретиться в качестве экзотизмов и в европейском французском. В работах [Saint Jacques Fauquenou 1972: 134] и [Renault-Lescure 1991: 88] приводятся некоторые креольские лексемы америндского происхождения, но не указывается их точное происхождение. Это касается

прежде всего обозначений животных, растений, продуктов питания, например, *wara* "sorte de fruit"; *pipiri* 'oiseau', слово, которое Шваус [Schwauß 1970] приводит как *pipiri* 'Tyrannidus dominicensis' для Санто Доминго, которое должно быть предположительно аравакского происхождения, как и исп. *calembé* 'набедренная повязка' (в [Saint Jacques Fauquenou 1972:134] дается как *kalêbé* 'гуайанский креольский').

Среди гидронимов обнаруживаются те же аравакские типы названий рек на *-unil* *-oni*, что и в Венесуэле и Гвиане. Во французской Гвиане это название реки на границе с Суринамом – Марони, а также названия населенного пункта или соответствующей области – Инини (Inini) и Кайенна (ср. Rio Calçoene в современной Бразилии). Аравакскими или карибскими по происхождению являются такие названия рек, как Sinnamary и Cougibo, как и названия мест с соответственно звучащими морфемами: Ouanary, Matoury, Itacoubo, которые, с одной стороны, напоминают колумбийские и венесуэльские названия на *-are*, *-ure*, а с другой стороны, допускают связь с гидронимами типа Essequibo в Гвиане. Карибским может быть и элемент *og* (ср. фр. *pirogue*) в гидронимах типа *Oуароск* (браз. *Oiapoque*), *Approuague*, *Tамрос*.

3. Испанский в Америке: Карибский бассейн. Областями, захваченными и колонизированными Испанией в первое время после открытия Америки, были крупные острова Карибского бассейна, в особенности Испаньола со столицей Санто Доминго (основана в 1496 г.), Пуэрто Рико, Ямайка, Куба. Населявшие их в то время индейцы говорили на языках семьи таино (принадлежность этих языков к аравакской семье сомнительна). Однако непосредственно ко времени завоевания испанцами туда проникли карибские племена с малых Антильских островов (по до сих пор принятым оценкам; для Кубы эти данные поставлены под сомнение [Valdés Bernal 1994: 30]). Они убивали мужчин и вступали в связи с аравакскими женщинами, так что женский вариант карибского сохранился и был перенят карибами. Несмотря на все это испанцы называли данные племена карибами (*caribe*, *caribí*, *galibí*). Эти племена быстро вымерли в основном от занесенных болезней и непривычных жизненных условий, и уже с 1501 г. (особенно с 1542 г.) их заменили рабы из Африки. Следствием такого смешения с говорящими на аравакском языке карибами было появление на Малых Антильских островах так называемых "caribes negros" (также "karifes"), тех, которых позднее англичане привезли на побережье Гондураса, Никарагуа и Белиза, где они живут и сейчас (см. [Tovar 1984: 121–122, 138]).

В первые годы открытия Америки существовало два типа контактов между языками и культурами. Удивительно, что большое число испанцев и других европейцев частично добровольно, частично поневоле перешли к образу жизни индейцев, переняли их обычаи и обряды (обычай раскраски, татуировки и т.д.) и их язык. Это были, с одной стороны, дезертиры, беглые заключенные, а с другой стороны, потерпевшие кораблекрушение, которые ко времени появления более поздних путешественников обнаруживались не только в Карибском бассейне, но и на бразильском побережье и в районе Рио-де-ла-Плата [Rosenblat 1964: 191–193]. Когда эти люди снова возвращались в районы, где жили белые (что происходило далеко не во всех случаях), они естественным образом становились посредниками между языками и культурами. Наиболее устойчивое взаимодействие наблюдалось в различных сферах трудовой деятельности (горном деле, сельском хозяйстве, домашнем хозяйстве), миссионерстве и прежде всего в межэтнических контактах [Rosenblat 1964: 193; Cassano 1972–1977; 1982; Dietrich 1984; 1990; 1993; 1995; 1998; Fontanella de Weinberg 1992; Greenberg 1987; Fabre A. 1994]. Индейские женщины не только служили первыми переводчиками, но и становились женами и сожительницами европейцев.

3.1. Первые контакты с таино. После первых "молчаливых" контактов, происходивших при помощи жестов (что вызывало многочисленные недоразумения с обеих сторон) испанцам пришлось общаться с индейцами через переводчика [Martinell Gifre 1988]. Во время этого первого, карибского этапа открытия и завоевания испанской Америки (1492–1519) особенно много слов заимствовалось из аравакского таино. Эти

слова через сообщения завоевателей стали известными в Европе и употребляются по сей день. Понятно, что они называют объекты местной флоры и фауны, явления природы и устройства, которые не были известны испанцам. Эти ранние индегенизмы подкрепляются примерами уже в первых сообщениях завоевателей и их спутников о поездке, частично уже в дневниках самого Колумба (*canoа* для *almadía*, *cacique* для *reyezuelo*, *maiz* для *panizo*, см. [Rosenblat 1964: 189]). Еще в раннее время были подтверждены примерами, а позднее отчасти забыты, например, такие социальные функции, как *naboría* 'индейский слуга, которому получено выполнение работ по дому; слуга' (в Санто Доминго, например, еще употребляется), *nitaíno* или *guatiao* [Ludtke 1994: 33–35]. Бернал Диас дель Кастильо, описывающий завоевание Мексики (1519–1521), употребляет уже около 30 заимствований из языков Антильских островов [Buesa Oliver, Enguita Utrilla 1992: 46]. В работе Онтанона де Лопе (1979) описывается конкуренция заимствований из языков Антильских островов, и заимствований из языка науатль в первое время колонизации Мексики. С дальнейшим завоеванием континента бывшие аравакские и карибские слова дошли и до других частей Америки (см. [Buesa Oliver, Enguita Utrilla 1992: 51]); в целом о распространении слов индейского происхождения и потом развившихся значений, метафор и т.п. см. [Sala, Munteanu, Neagu, Sandru-Olteanu 1977]).

3.2. Первые заимствования: аравакские и карибские слова. К словам, заимствованным из аравакского таино и сразу распространившимся в испанском языке метрополии, а через завоевателей во всей испанской Америке, относятся *canoа* 'лодка, выдолбленная из цельного дерева, каноэ'; *cacique* 'вождь'; *hataca* 'тамак'. Среди названий животных и растений это прежде всего *maiz* 'маис'; *batata* 'батат' (позднее оно контаминировалось с заимствованным из языка кечуа *papa* 'картофель' и превратилось в Испании и других странах в *patata*, англ. *potatoe*) [Buesa Oliver, Enguita Utrilla 1992: 53–66]. От араваков испанцы слышали, что карибы – это непобедимые дикари и воинственные враги. Поэтому и название племени *caribe* получило такое значение как имя нарицательное, хотя как варианты встречались не только *carib*, *cariba*, но и *canibal*, по народной этимологии контаминированное с лат. *canis*. Значение "пожиратель людей" могла получить любая форма, но с XIX в. для него закрепилась форма *canibal*, рус. *каннибал* [Buesa Oliver, Enguita Utrilla 1992: 66]. Другие карибские слова заимствовались в испанский времени начала завоевания как на Антильских островах, так и при освоении северного побережья Южной Америки: *piragua*, нем. *Piroge*, рус. *пироба*, обозначающее большую лодку, выдолбленную из цельного дерева, как и *canoа*, которое араваки, возможно, также заимствовали из карибов; *caimán*, обозначающее американского аллигатора, рус. *кайман*. *Colibri* 'колибри' в американском испанском употребляется только в литературном языке и в 1640 г. впервые засвидетельствовано как заимствование во французский из карибского французских Антильских островов, в то время как предпочтительны были испано-американские названия типа *pájaro mosca*, *zumbador*, *picaflor* и т.д. [Buesa Oliver, Enguita Utrilla 1992: 67]. Для раннего периода завоевания еще не подтверждается документально наличие в языке такого карибского заимствования, как название яда для стрел *curare*.

Из древнего куманэгото, одного из вымерших карибских языков венесуэльского побережья, происходят испанские слова *butaca* 'глубокое мягкое кресло', которое сейчас на островах Карибского бассейна известно скорее как *butaque/butaco* 'табуретка'; *totuma* 'тыква (плод дерева), сосуд из тыквы' < *tutum*; *loro* 'попугай' < в куманэгото *roro*; *báquira* 'Dicotyles labiatus соотв. *torquatus*, *pecari*', вид кабана, название которого узнали в Панаме европейские пираты и которое через франц. *pecari* (англ. *peccary*) проникло в американский испанский как *pecarí*, *pecari*, *pecári* и *paquira* (Перу).

Поскольку как аравакский таино, так и карибский куманэгото – мертвые языки, уверенно вывода о многочисленных заимствованиях сделать нельзя [Buesa Oliver, Enguita Utrilla 1992: 70–72]. К этому пласту относятся такие распространенные по всей

Америке слова, как *papaia* (*Carica papaia*, L) и *guayaba* 'гуава', плод *guayabo* (*Psidium guayava*, L); в Бразилии *goiaba* употребительнее, чем *guaiaba*.

3.3. **Санто Доминго, Куба, Пуэрто Рико.** Для доминиканского испанского нет новых специальных исследований, кроме, с одной стороны, словаря [Тежега 1997], который приводит примеры преимущественно из американистских словарей и не проводит четкого разграничения между устаревшими и сейчас еще употребимыми словами, и, с другой стороны, словарем [Rodríguez Demorizi 1983]. В этом словаре, кроме упомянутых индегенизмов из таино и карибского, приводятся, например, слова, заимствованные из кечуа в американский испанский уже в XVI в. (типа *ñapa*). *Caribe* использовалось и, как утверждает Родригес Деморици, используются как обозначение принадлежности (атрибутивно и предикативно) со словами со значением 'острый, крепкий' (напр., *sal caribe*) и образа поведения (например, *se puso caribe* 'colérico').

Индегенизмы кубинского испанского изучаются с точки зрения истории и с учетом их употребимости в современном языке. Этому посвящены работы [Goldammer 1984; López-Morales 1992; Valdés Bernal 1986; 1991–1993; 1994]. Несомненно, что фонетическое влияние субстрата в испанском зависит не от этих факторов, но от лексических единиц, заимствованных прежде всего из таино, науа и майя, а также из карибского. Эта последовательность соответствует процентному соотношению и показывает, что больше сохранились в основном завезенные извне науатлизмы и майизмы как рефлекс карибского индейских рабов, привезенных колонизаторами на Кубу [Valdés Bernal 1993: 92]. Присутствие заимствований из языка науатль объясняется их широким распространением в испанском уже на начальных этапах завоевания Америки. Заимствования из майя указывают на то, что на Кубе до XIX в. были рабы из Юкатана [Valdés Bernal 1993: 23].

К словам, происходящим из аравакского таино и до сих пор употребимых [Valdés Bernal 1993: 58; Perl 1980: 40], относятся, кроме названия острова *Cuba* (вероятно 'земля, полоса'), например, *carey*, означающее "черепаха", с переносным значением "различные деревья, древесина которых после полировки напоминает панцирь черепахи". Словом *carey* обозначается сейчас и местная продукция мыловаренного завода. Похожие сдвиги в значениях, переносы значения наблюдаются в названиях деревьев и кустарников, например, у слова *nigua* 'песчаная блоха', так как фрукты напоминают по форме насекомое. Слово *guano* 'пальмовое опахало' имеет переносные значения 'волос' и 'деньги'. У слова *barbacoa* исходное значение 'деревянная подставка' развивалось в двух направлениях: с одной стороны, 'верхний этаж' или 'междуэтажное перекрытие в доме', с другой стороны, 'жареное на решетке мясо'. *Batey* с исходным значением 'игра с мячом' или 'игровая площадка' сейчас употребляется в значении 'площадка перед сельским домом'. *Conuco* 'поле индейцев, возделанное под маниок', затем 'поле, предоставленное для обработки рабам', сейчас употребляется как 'мелкий участок земли для возделывания под овощи и фрукты, огород'. *Guajiro* означало, вероятно, 'nuestro compañero', но изменилось в '(кубинский) крестьянин', а в переносном смысле в 'бестолковый человек из провинции' [Valdés Bernal 1976: 73]. Также распространенное на карибской территории *jíbaro* 'неотесанный, необщительный; дикий, одичалый (о животных)' предположительно аравакского происхождения и должно быть заимствовано у араваков из области Амазонки как *jívaro shiwar* 'внутренний противник, враг внутри племени', а затем измениться в название племени и языковой группы, живущих в экваториально-перуанской низине [Descola 1993, glossaire].

Предположительно острова назывались в аравакском *kayo* 'islote', что сохранилось в названиях *Caño Largo*, *Caño Coco* (ср. *Key West*). Современное название отеля типа "Itabo" означало в аравакском 'маленький пруд с подземным источником'. Марка грампластинок "Areito" напоминает о 'танце под музыку с пением танцоров', исчезнувшем вместе с коренными жителями.

Испанский Пуэрто Рико неоднократно становился объектом исследований. Работы Хенрикес Уреньо [Henríquez Ureña 1938; 1969; 1976] мало касались индегенизмов, брали

информацию преимущественно из древней литературы, от работ хроников и историков XVI в. до работ фольклористов XIX–XX в. Так и более новые специализированные словари [Hernández Aquino 1993; Alvarez Nazario 1977] приводят слова совершенно некритично с точки зрения их употребимости на Пуэрто Рико сейчас.

Опрос Вакero де Рамиреса [Vaqero de Ramírez 1984] с методической точки зрения убедительно показывает, однако, что многие слова из таино, глубоко укоренившиеся в остальной Латинской Америке, более не употребляются в районе Антильских островов, откуда они произошли, и, например, будут поняты только меньшей частью населения. К таким на Пуэрто Рико относится такое слово, распространившееся до самой Аргентины, как *jején* 'москит'. С другой стороны, существуют еще не замененные слова, как, например, известное в Мексике как *guaya* "фруктовое дерево *Melicocca bijuga*". Это слово – хороший пример общей ситуации исследования для большей части индегенизмов: *quepero* соответствует собственно слову *kenep* из майя, которое в наших источниках подтверждается только для Гватемалы. Заимствование должно было произойти предположительно благодаря привезенным с Юкатана на Антильские острова индейским рабам. Слово закрепилось, во-первых, только во внутренних районах, таких, как Гватемала и Пуэрто Рико (не Санто Доминго и Куба); во-вторых, исследователи до сих пор рассматривали не все исторические связи, а навязывали чаще всего заимствованные слова каждой области в отдельности (так, [Shwauss 1970] дает *quepero* для Пуэрто Рико, в то время как Buesa Oliver, Enguita Utrilla не приводит слова вообще).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Крупные семьи индейских языков

Под эскимосско-алеутской семьей в собственном смысле понимается следующее: а) семьи индейских языков Северной Америки: на-дене (атабаскские языки, Северо-западное побережье): салишская [салиш-вакашан] (северо-западное побережье); алгонкинская (Великие Озера, Квебек); сиу (Центральный Запад); ирокезская (Нью-Йорк); пенуте (Западное побережье); плато (Идахо, Вашингтон); юки-гольфшпрахен (южн. США); мексиканский пенуте: тотонака, мише-соке, майя; хока; б) "центрально-американские" языки (Гринберг): киова-таноанская (юго-запад США); ото-мангская (Центральная Мексика, Никарагуа); юто-ацтекская (от Калифорнии до Центральной Мексики и Сальвадора); тараскская; тексиглатека-жикак; дживаро (юго-западная часть Эквадора, северная часть Перу; более крупная амазонская группа, около 70000 говорящих); паноанская (западная часть Бразилии, восточная часть Перу, северная часть Боливии); карибская (северная часть Южной Америки; изначально также Малые Антильские острова); племя тупи (Французская Гвиана, Бразилия, амазонская часть Перу, восточная часть Боливии, Парагвай, северо-восточная часть Аргентины): а) тупи-гуарани, б) (сатере-) мавэ, в) авэти, г) арикем, д) юруна, е) мундуруку, ж) рамарама, з) тупари, и) монде. Племя йе(же) (Бразилия): бороро (Мато Гроссо); яномано.

Языковые группы в южной части Южной Америки

Языки чачо (Парагвай, Аргентина, Боливия): арауканский/мапуче (Чи, Неквен, Ла Пампа, Чубут/Аргентина); шиланга (Мексика, Гватемала, Сальвадор); в) индейские языки Южной Америки: Родригес классифицирует языки Южной Америки в языковые группы и языковые семьи, при этом по сравнению с европейскими языками семье соответствует языковое объединение типа группы романских языков, группе соответствует объединение типа индоевропейской или финно-угорской группы языков. Большие и более мелкие группы, которые в предыдущем абзаце мы объединяем с их семьями, приведены в соответствии с современными представлениями, которые ни в коем случае не являются бесспорно подтвержденными (см. [Fabre 1994]): чибчанская

[Chibcha-Haez] (от Гондураса до Колумбии); барбакоа (связь с чибча неясна); чоко (Пан, Сол); кечуанская (Центральная часть Перу, с четким диалектным делением к Северу (до Южной Колумбии) и Югу (от Боливии до Аргентины), 7.8 миллионов говорящих; аймара (Боливия, Перу; 2.8 миллиона говорящих); уру-пукина [озеро Титикака (Перу)]; туканоанская (западная часть бассейна Амазонки: Эквадор, Перу, Южная Колумбия, Бразилия); тикун (северо-западная часть Бразилии, Колумбия, Перу); аравакская (северная часть Южной Америки, первоначально также Большие Антильские острова).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Alvar M.* 1969 – *Variedad y unidad del español: Estudios lingüísticos desde la historia.* Madrid, 1969.
Alvar M. 1970 – *Americanismos en la 'Historia' de Bernal Díaz del Castillo // RFE. Anejo 89.* Madrid, 1970.
Alvar M. 1987 – *Léxico del mestizaje en Hispanoamerica.* Madrid, 1987.
Alvarez Nazario M. 1977 – *El influjo indígena en el español de Puerto Rico.* Rio Piedras, 1977.
Buesa O.T., Enguita Utrilla J.M. 1992 – *Léxico del español de America: Su elemento patrimonial e indígena.* Madrid, 1992.
Cassano P.V. 1982 – *Language influence theory exemplified by Quechua and Maya // Word. 33.* 1982.
Descola Ph. 1993 – *Les lances du crépuscule. Relations Jivaros, Haute-Amazone.* Paris, 1993.
Dietrich W. 1984 – *Ruiz de Montoas Bedeutung für die Erforschung des Tupí-Guaraní // Oroz Arizcuren Fr.J. (Ed.), Navicula Tubingensis. Studia in honorem Antonii Tovar.* Tübingen, 1984.
Dietrich W. 1990 – *More evidence for an internal classification of Eupí-Guarani languages.* Berlin, 1990.
Dietrich W., Geckeler H. 1995 – *Einführung in die spanische Sprachwissenschaft.* Berlin, 1993.
Dietrich W. 1998 – *Substrat, Superstrat, Adstrat, Interstrat. Zum Sprachwandel durch Sprachkontakt in der Neuen Romania // Stehl, Thomas (Hrsg.), Unsichtbare Hand und Sprecherwahl. Typologie und Prozesse des Sprachwandels in der Romania. Beiträge zum Romanistentag. Münster 1995.* Tübingen, 1998.
Enguita Utrilla J.M. 1980 – *Fernandez de Oviedo ante el léxico indígena // BFUCh. 31.* 1980.
Fabre A. 1994 – *Las lenguas indígenas sudamericanas en la actualidad. Diccionario etimológico clasificatorio y guía bibliográfica, I–II. Tampere (Finland),* 1994.
Fontanella de Weinberg M.A. 1992 – *El español de América.* Madrid, 1992.
de Granda G. 1994 – *Interferencia y convergencia lingüísticos e isogramatismo amplio en el español paraguayo // de Granda G. Español de America, español de Africa y hablas criollas hispánicas. Cambios, contactos y contextos.* Madrid, 1994.
Goldammer K. 1984 – *Studien zu den Indoamerikanismen aus dem Insel-Aruak und ihre Produktivität in der kubanischen Variante des Spanischen, Diss.* Leipzig, 1984.
Greenberg J.H. 1987 – *Language in the Americas.* Stanford, 1987.
Handelmann H. 1859 – *Geschichte von Brasilien.* Berlin, 1859.
Hernández Aquino L. 1969 – *Diccionario de voces indígenas de Puerto Rico.* Rio Piedras (Puerto Rico), 1969.
Henríquez Ureña P. 1976 – *Observaciones sobre el español en América y otros estudios filológicos.* Buenos Aires, 1976.
Henríquez Ureña P. 1938 – *Para la historia de los indigenismos.* Buenos Aires, 1938.
Izzo H.J. 1976 – *Concerning the (non-)influence of indigenous languages on the phonology of American Spanish // LACUS 3,* 1976.
Kubarth H. 1987 – *Das lateinamerikanische Spanisch. Ein Panorama.* München, 1987.
Klein H.E., Manelis L., Stark L.R. (Ed.) 1985 – *South American Indian languages. Retrospect and prospect.* Austin, 1985.
Liedtke S. 1991 – *Indianersprachen. Sprachvergleich und Klassifizierung.* Hamburg, 1991.
López-Vorales H. 1971 – *Estudios sobre el español de Cuba.* New York, 1971.
López-Morales H. 1992 – *El español del Caribe.* Madrid, 1992.
Lüdtke J. 1994 – *Notas léxicas sobre la transculturación de los taínos (la encomienda y la estructura social // Lüdtke J., Perl M. (Ed.), Lengua y cultura en el Caribe hispánico.* Tübingen, 1994.
Lüdtke J. 1995 – *Zur Geschichte des spanischen Wortschatzes in Amerika // Hoinkes U. (Hrsg.), Panorama der lexikalischen Semantik. Festschrift Horst Geckeler.* Tübingen, 1995.
Lope Blanch J.M. 1968 – *El español de America.* Madrid, 1968.
Lope Blanch J.M. (Ed.) 1978 – *Léxico del habla culta de Mexico.* Mexico, 1978.
Malmberg B. 1974 – *La América hispanohablante: Unidad y diferenciación del castellano.* Madrid, 1974.
Martinell G.T. 1988 – *Aspectos lingüísticos del descubrimiento y de la conquista.* Madrid, 1988.
Munteanu D. 1976 – *Răspîndirea geografică a indigenismelor lexicale în spaniola americană // SCL. 27.* 1976.
Ontañón de Lope H. 1979 – *Observaciones sobre la genesis de algunos indigenismos americanos // Anuario de Letras. 17.* 1979.
Perl M. et al. 1980 – *Studien zur Herausbildung der kubanischen Variante der spanischen Sprache (unter besonderer Berücksichtigung der nichtspanischen Einflüsse).* Leipzig, 1980.
Pottier B. (Ed.) 1983 – *América Latina en sus lenguas indígenas.* Caracas, 1983.
Rivola J.L. 1990 – *La formación lingüística de Hispanoamerica.* Lima, 1990.

- Renault-Lescure O.* 1991 – Contacts interlinguistiques entre le Karib et les créoles des côtes guyanaises // *Études Créoles XIII. 2.* Montréal, 1991.
- Rodríguez Demorizi E.* 1983 – Del vocabulario dominicano. Santo Domingo, 1983.
- Rosenblat A.* 1964 – La formación lingüística de Hispanoamérica. Lima, 1990.
- Saint Jacques Fauquenoy M.* 1972 – Analyse structurale du créole guyanais. Paris, 1972.
- Sala M., Munteanu D., Neagu V., Sandru-Olteanu T.* 1977 – El léxico indígena del español americano: Apreciaciones sobre su vitalidad. Mexico; Bucureşti, 1977.
- Şandru Olteanu T.* 1992 – Observații asupra indigenismelor din limba spaniolă (Pe marginea "Dicționarului Academiei Spaniole" // *SCL. 43.* 1992.
- Schwauß M.* 1986 – Lateinamerikanisches Sprachgut. Tl. 1: Wörterbuch der regionalen Umgangssprache in Lateinamerika. Amerikaspanisch Deutsch. Leipzig, 1986.
- Schwauß M.* 1970 – Lateinamerikanisches Sprachgut, Tl. 2: Wörterbuch der Flora und Fauna in Lateinamerika. Leipzig, 1970.
- Stein P.* 1984 – Kreolisch und Französisch, Tübingen, 1984.
- Suárez J.A.* 1988 – Estudios sobre lenguas indígenas sudamericanas. Bahía Blanca, 1988.
- Swadesh M.* 1955 – Towards greater accuracy in lexicostatistic dating // *IJAL 21.* 1955.
- Tejera E.* 1977 – Indigenismos. 1–2. Santo Domingo, 1977.
- Tovar A.* 1963 – Español, lenguas generales, lenguas tribales, en América del Sur // *Studia Philologica: Homenaje a Damaso Alonso, III.* Madrid, 1963.
- Tovar A.* 1984 – Consuelo Larrucea de Tovar, Catálogo de las lenguas de América del Sur. Madrid, 1984.
- Tovar A.* 1986 – Las lenguas arahuacas. Hacia una delimitación y clasificación mas precisa de la familia arahuaca // *Thesaurus. 41,* 1986.
- Valdés Bernal S.* 1986 – La evolución de los indo-americanismos en el español hablado en Cuba. La Habana, 1986.
- Valdés Bernal S.* 1991–1993 – Las lenguas indígenas de América y el español de Cuba, 1–2. La Habana, 1991–1993.
- Valdés Bernal S.* 1994 – Inmigración y lengua nacional. La Habana, 1994.
- Vaquero de Ramírez M.T.* 1984 – El léxico indígena en el español hablado en Puerto Rico // *Fernández-Sevilla et al. (Ed.), Philológica hispaniensa in honorem Manuel Alvar. V. 1.: Dialectología.* Madrid, 1984.
- Wolf L. (Hrsg.).* 1987 – Französische Sprache in Kanada, München, 1987.

Перевели с немецкого
Н.Ю. Лукашевич
А.А. Полканова

© 1999 г. А.Л. ШИЛОВ

ЕСТЬ ЛИ СКАНДИНАВСКАЯ ТОПОНИМИЯ В КАРЕЛИИ?

(О ТОПОНИМИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВАХ В РЕШЕНИИ
ЭТНОИСТОРИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ)

Вопрос, вынесенный в заголовок, неоднократно поднимался в литературе и мы сочли необходимым рассмотреть его подробно. Дело в том, что при положительном ответе на него этимологический анализ карельской топонимии должен будет учитывать и такую возможность (скажем при интерпретации названия болота *Грийдам*). С другой стороны, ответ на этот вопрос немаловажен для древней истории края.

Оговоримся, что мы исключаем из рассмотрения территорию северо-западного Приладожья (погосты Задней Корелы Водской пятины), с конца XVI в. входившую в состав шведской Финляндии. Есть археологические свидетельства и более раннего (2 пол. I тыс. н.э.) посещения скандинавами этого района [АК 1996: 313–315]. Нерусская его топонимия характеризуется так: "Основной фон составляют финско-карельские наименования мест, хотя встречаются и римско-католические, скандинавские и нижненемецкие. Более древний пласт составляют топонимы саамского происхождения" [Мамонтова, Кочкуркина 1982].

Вопрос о скандинавской топонимии в Карелии должен быть рассмотрен по следующим пунктам: показания археологии; показания письменных источников; показания антропонимии; показания топонимии. Без рассмотрения первых пунктов, приступать к последнему нет смысла, ибо большинство топонимов любой территории при желании могут быть возведены к лексике любого языка путем "этимологической пытки" (выражение Н.И. Надеждина).

Такое рассмотрение должно проводиться, прежде всего, с точки зрения наличия не столько фактов разовых экспедиций (торговых, промысловых или грабительских), сколько возможности появления (пусть временного) оседлого скандинавского населения, то есть свидетельств наличия торговых факторий, постоянных пунктов сбора дани, крестьянских поселений. А priori ясно (и показано в [Рыдзевская 1934; 1978; Ловмянский 1985]), что временные находники топонимии не создают (их присутствие может отразиться лишь в топонимии, созданной аборигенами, см. ниже); она возникает лишь в результате сколь-либо постоянного присутствия пришлого населения.

Подкрепим последнее примером. Новгородцы многократно наведывались в Финляндию: в земли *Еми* (*Häme*) и на *Каяно-море* – в Северную Приботнию. О торговой поездке рассказывает берестяная грамота XIV в. [Зализняк 1995, № 286], о военных экспедициях – летописи [ГВНП 1949: 311; НПЛ: 67, 72; ПСРЛ: 45, 58, 75, 97, 170; Арх. лет. 1950: 100]. Читаем: "повоевали *Польну реку* да *Торнову* да *Снежну*". Здесь мы видим примеры и фонетического освоения чужих названий (*Торнова*, в другом документе *Торма* – *Torniojoki*), и их перевода (*Польна река* – *Aurajoki*, *Снежна* – *Limijoki*). В иных документах мы видим названия *Купецкая река*, *Черная*, *Колокол*, *Сизовая* (*Siikajoki*), наряду с *Перна* (*Perniö*), *Кемь* (*Kemijoki*), *Овулу* (*Oulujoki*), *Гавка* (*Haikijoki*), *Поуташи* (*Pudas*), *Лименга* (*Ilmenjoki*). Но в Финляндии в результате этого не появились ни *Polnojoki*, ни *Limenki*, а остались свои исконные названия.

Наглядным подтверждением сказанному служит упомянутое северо-западное При-

ладожье. В шведских писцовых книгах 1618 и 1631 гг. [История 1987], составленных вскоре после завоевания этих земель, мы видим те же названия, что и в русских документах конца XV – второй половины XVI в. [Кн. 1500; История 1987; Самоквасов 1909], лишь порой искаженные шведской передачей. Вот несколько примеров: *Höydiess By* – карел. *Höytiäisen-kylä; Låukula By* (1631) – *Ловгола* (1500); *Pöögönlax* (1618, 1631) – карел. *Pohjankylä (*Pohjanlaksi)* – *Погицы* (1500, 1571); *Pothorodis* (1618) – *Нивкола под Городищем* (1500); *Eglojerfui* – карел. *Jägäljärvi* – *Яглярва* (1500, 1571); *Manssila* (1590, 1618, 1631) – *Маншела Меньшая* (1500). Такое название, как *Griidala By* (р-н Хелюля, Сердвольский погост [История 1987: 562]), также не может считаться скандинавским (из *gridr*), несмотря на то что в предшествующих русских документах оно не зафиксировано. В его основе явно лежит русское *Гридя* (< *Григорий*), оформленное карельским ойконимным суффиксом *-la*. Из огромного количества названий, содержащихся в названных документах, скандинавское происхождение можно допустить (не располагая пока свидетельствами против этого) лишь для *Waasa* в округе Суоярви [История 1987: 362] (хотя возможно и карел. **Voasa < Вася*). Даже после длительного периода шведского владычества, шведских ойконимов (тем более – оронимов и гидронимов) в этих землях оказалось очень мало.

Что показывает археология? Эпоха средневековья (2 пол. I тыс. н.э. – XV в.) в Карелии представлена 4 группами памятников [АК 1996: 271–310; Кочкуркина 1989]: охотничье-рыболовецкие поселения Прионежья и Прибеломорья X–XI вв.¹; курганы Олонецкого перешейка и Уницкой губы Онежского озера рубежа I–II тыс. н.э., оставленные предками вепсов; памятники летописной Корелы 2 пол. I тыс. – конца XV в. в Северном Приладожье; культовые памятники саамов (сейды, лабиринты, каменные кучи) в Северной Карелии.

Некоторые памятники связывают со скандинавами. К ним относят два объекта в северо-западном Приладожье (см. ниже), один в дер. Гиттойла на Олонке и курган у дер. Кокорино в Уницкой губе, где обнаружены вещи скандинавского типа [Спирidonов 1992]. Прочие подобные находки приурочены уже не к Карелии, а к бассейнам Паши и Сяси, где некоторые захоронения X в. определены как скандинавские и финно-скандинавские.

Эти выводы, однако, далеко не бесспорны. Атрибуция отдельных вещей об этническом происхождении их владельцев ничего не говорит, а свидетельствует лишь о торговых связях населения. Так, помимо скандинавских вещей, в упомянутых памятниках древних карел и вепсов найдены мечи западноевропейского происхождения, ожерелья, аналоги которым обнаружены в Византии, и византийские шелковые золотные ленты, шелковые ткани из Средней Азии, сосуды, схожие с теми, что найдены в салтово-маяцких и булгарских памятниках, восточные наременные украшения, импортируемые через Булгар. Но из этого не делают вывода о пребывании в Карелии и Присвирье западноевропейцев, греков, арабов или булгар. Эти находки говорят лишь об оживленных торговых связях местного населения с ближними и дальними народами. Об этом же свидетельствуют клады с западно-европейскими и восточными монетами конца X – начала XI в., найденные у устья Неглинки на Онежском озере, в Падмозере (Заонежье) и на оз. Сандал. Более надежным маркером этнической принадлежности считается обряд погребений. Здесь уместна развернутая цитата о памятниках юга Карелии, Приладожья и Приюгтя [АК 1996: 309]: "О населении, оставившем приладожские курганы, спорили много, но в конце концов пришли к заключению, что в основной своей массе оно было прибалтийско-финского происхождения и в меньшей степени скандинавского, к которому позднее добавились славяне. Вопрос об археологических критериях опознания скандинавских погребений ставился неодно-

¹ По мнению автора соответствующее население оставило так называемую чудскую топонимию, т.е. говорило на архаичном языке прибалтийско-финского типа. Памятники обнаруживают связь с лесной зоной Русского Севера, особенно с Белозерьем и Верхневолжьем [Спирidonов 1990] – районами обитания летописных веси, мери и чуды заволочской.

кратно. Однако применение этих критериев при работе с конкретным материалом требует дополнительных общеисторических рассуждений и логических доводов (то есть привнесения субъективных факторов. – А.Ш.). Конечно же, погребальный обряд менее подвержен изменениям и более надежен при определении этноса умершего. Но характерный (в общих чертах) для скандинавов обряд – кремация с помещением остатков в курган – явление чрезвычайно распространенное в эпоху раннего средневековья, и использование этого признака в условиях Приладожья неэффективно при выяснении этнической принадлежности погребенного, поскольку местное население именно у скандинавов восприняло курганный обряд погребения². Скандинавский набор украшений (типичный предмет импорта. – А.Ш.) и присущие местной культуре предметы порой находились в одном и том же погребении. Сомнений нет, что среди прибалтийско-финского населения находилось скандинавское (нами определено 29 таких захоронений³), но атрибуция скандинавских погребений спорна, поскольку они соединяют в себе особенности культуры обоих этносов”.

Эти общие положения могут быть иллюстрированы тремя примерами. Первый: “Трупосожжение под каменной кладкой в местечке Нукутталахти у г. Сортавала (VI в.), по мнению Э. Кивикоски, шведское. Однако инвентарь захоронения не дает однозначного ответа, а свидетельствует лишь о близости к прибалтийской культурной области” [АК 1996: 313]⁴. Пример второй: захоронение начала X в. мужчины и женщины на возвышенности Лопотти у р. Куркийоки определено как скандинавское на следующем основании: “инвентарь памятника... указывает на связи со Швецией, Финляндией и Прибалтикой” [Там же: 315]. Пример третий: о кургане Вихмязь-90 XI в. на р. Паша говорится: “Этническая принадлежность одного погребения, возможно, скандинавская, судя по наличию воткнутого в грунт копыя” [Там же: 293].

Итак, археология не дает надежных свидетельств скандинавской колонизации юго-восточного Приладожья и, тем более, Южной Карелии в IX–XI вв. Специалисты говорят лишь об опорном пункте скандинавов на Сяси (см. ниже об атрибуции топонима *Alaborg*). Позднейшие же события достаточно полно освещены документами. Для периода, предшествующего составлению дошедших до нас писцовых книг (для Южной Карелии это конец XV в., для остальной территории – вторая половина – конец XVI в.) интересующая нас информация содержится в древнеисландских географических сочинениях и сагах, фрагментах договора между Норвегией и Новгородом (1251/1252 г.), шведской “Хронике Эрика” XIV в., новгородских берестяных грамотах, Ореховецком договоре 1323 г., летописях, отдельных актах [Джаксон 1994; Глазырина 1996; Кочкуркина, Спиридонов, Джаксон 1990; Зализняк 1995; Рыдзевская 1978; НПЛ; ПСРЛ; ГВНП 1949].

Эти известия говорят о разбойничьих набегах, торговых экспедициях, позднее – о воинской службе скандинавов у русских князей, не более того. Это касается территории Руси в целом. В отношении Карелии нет и таких, пусть кратких, но определенных свидетельств, если не говорить о расплывчатых формулировках: *был на востоке в Кирьялаланде; покорил Финнланд и Кирьялаланд, Эйтланд и Курланд и много земель в Аустрлэнд*, где скорее подразумевается восточная Финляндия или прилегающие к ней районы Приладожья.

² Это утверждение также очень спорно. Как тогда трактовать наличие сотен курганов Поволховья, Прильмьеня, Помостья? Традиция погребения с насыпанием сопки и курганов (прослеживаемая здесь с V в.!) приписывается финно-уграм, от которых этот обряд восприняли пришлые кривичи и ильменские словене [Башенькин 1993: 135–143]. При чем здесь скандинавы?

³ То есть около 4% от общего количества исследованных курганов (около 700).

⁴ Ср.: “Погребение в Нукутталахти... свидетельствует, по нашему мнению, о существовании, наряду с охотничьими промысловыми поездками в приладожскую Карелию (населения Финляндии, Эстонии и, возможно, верховьев Волги), практики обмена продуктов местных промыслов на украшения. Именно этим можно объяснить попадание в каменную насыпь украшений западного и восточного происхождения” [Сакса 1997: 181].

Некоторые исследователи, все же, склонны видеть в исландских сагах указания на посещение Карелии викингами⁵. Г.В. Глазырина, вслед за К.Ф. Тиандером, полагает, что топоним *Alaborg* "Саги о Хальвдане, сыне Эйстейна" (создана в XIV в.) обозначает город, расположенный в Северной Руси [Тиандер 1906: 286; Глазырина 1984]. Поскольку *Alaborg*, по саге, находится к северу от *Aldeigjuborg'a*, т.е. от Ладоги, и граничит с *Bjarmaland'om* (который локализируют на различных территориях от Подвинья до Кольского п-ва), Глазырина отождествила его с неким населенным пунктом на р. Олонца (по созвучию первых частей названия *Alaborg* и карельского названия низовьев Олонца – *Alavoine*). Против этого выступили Т.Н. Джаксон и Д.А. Мачинский, указав, что на Олонце пока не найдено следов постоянных поселений IX в. (к этому времени они относят события, описанные в саге) [Джаксон, Мачинский 1985]. В свою очередь, эти авторы предложили свою трактовку географических названий саги. *Alaborg* они отождествили с городком IX–X вв. на р. Сясь у с. Городище; *Krakunes* "Вороний мыс" – с мысом *Воронов (Воронок)* на о. Птинов на Ладожском озере, в 19 км от устья Волхова; *Klyfandanes* "Раскальывающий мыс" – с мысом *Терешинниemi* (фин. *terä* "острие"), ныне *Резной* на западе Ладожского оз.; *Kirjalabotnar* "Карельское окончание заливов" – с о. Кокорино в Уницкой губе Онежского оз., где найдены курганы IX–X вв. Против этого можно привести следующие соображения (см. и [Глазырина 1996]):

– фантастический характер саги, недостоверность содержащихся в ней сведений [Шаскольский 1994; Рыдзевская 1978, вводная статья М.И. Стеблин-Каменского].

– любое отождествление комплекса названий саги с реальными объектами региона всегда будет носить элемент произвола, ибо на соответствующем огромном пространстве можно найти множество "нужных" комбинаций. Скажем, *Klyfandanes* "Раскальывающий мыс" можно соотнести с *Сортавалой* (по Я.К. Гроту – из фин. *sorttawa* "рассекающий"). "Вороньих" же названий мысов, данных разными народами (*Вороний мыс*, *Карнежниemi*, *Варишнема*, знаменитый *Варашов Камень* и под.), в Приладожье и Прионежье вовсе нет числа.

– название со значением "Карельское окончание заливов" скорее можно приурочить к СЗ Приладожье (ср. там поселение *Пога*, *Погицы* [Кн. 1500] из *rohja* "конец залива"), где действительно жили древние карелы, но никак не к СЗ Обонежью, где в те времена могли жить саамы, древняя чудь или вепсы. Древнее поселение на о. Кокорино и определено как вепсское [Финно-угры 1987: 59; Спиридонов 1992]. Но наиболее убедительным видится предположение, что *Kirjalabotn* означало Финский залив [Мельникова 1977: 204].

Таким образом, и письменные источники свидетельствуют разве что об эпизодических посещениях скандинавами южной Карелии, но не о постоянном проживании их там.

Перейдем к показаниям антропонимии, хотя и оговоримся, что этот материал не может являться надежным показателем в силу заимствований русскими ряда древнескандинавских имен. Е.А. Рыдзевской рассмотрены личные имена, встречающиеся в древнерусских документах. Помимо лиц, поименованных в договорах Олега и Игоря с греками, и известных лиц из княжеского окружения (*Асмуд*, *Свенельд*) это *Ивор*, *Рогнедь*, *Свень*, *Стегримъ*, *Улебъ*, *Яволодь*, *Якунъ*, возможно *Олы* (сокращенное из *Олаф*)⁶. Не так уж много. Притом это, опять-таки, имена лиц из "высших кругов".

⁵ О посещениях скандинавами Беломорской Карелии до XV в. (о чем писал К.Ф. Тиандер) говорить не будем. Свидетельств тому, что эти посещения оставили какой-либо след в материальной культуре Беломорья, пока не найдено. Тем более, нет оснований искать этих следов в топонимии района.

⁶ В скандинавов пытались зачислять и *Туки*, хотя летопись неоднократно подчеркивает, что он *братъ Чудинь* (Миккулы Чудины). Для его имени имеется прозрачная, подкрепленная топонимическими и антропонимическими аналогами, прибалтийско-финская этимология [Шилов 1996: 39]. К ранее указанному добавим название *Tukiantäki* "Гора Туки" в Сердовольском погосте Водской пятины [История 1987: 330], именованная *Гришка Тюкуев*, *Родивонко Тюкуев* [Книги 1930].

Обратившись к берестяным грамотам, представляющим собой переписку лиц самого разного происхождения и социального положения, мы видим следующее [Зализняк 1995]. Из более чем 1000 личных имен большинство является русскими, несколько (3–4) балтскими, одно возможно татарским (*Алюй*), более 40 – прибалтийско-финскими и саамскими. К скандинавам или их потомкам можно отнести лишь трех-четырёх персонажей: *Стеня* (?), *Якуна*, *Жиряту Якуновича* (НГБ № 434 начала XII в.), да *Азъгута* из Моревской волости на Селигере (НГБ № 526: 80-е гг. XI в.). При этом в грамотах, относящихся к Карелии (НГБ №№ 2, 93, 130, 131, 138, 141, 248–249, 278, 403), подобных имен нет вовсе.

И по другим старым документам (писцовые книги, акты и др.), скандинавских имен в Карелии не отмечено. Правда, В. Ниссиля [Nissilä 1967: 104–105] видит шведов в именовании *Лаврок Швец* в Олонецком, *Ондрейко Швец* в Остреченском и *Третьяк Швец* в Шуньгском погостах [Книги 1930]. Но эти имена, как и название *Швецова гора* у Чикозера, идут не от *швед*, *шведский*, а от *швец* "тот кто шьет". Позднейшие именованья типа *Шведовская*, *Шведка* (*Švedankülä*), *Шведов* (там же микротопоним *Ruot'sinnurmed* "Шведские луга") [Сп. 1928] отношения к нашему вопросу уже не имеют⁷ (об употреблении этнонимов *швед*, *ruotši* в Карелии см. ниже).

Наконец, обратимся к собственно топонимическим свидетельствам. Для территории Северной Руси подобные изыскания были проведены в классических исследованиях [Ekblom 1915; Vasmer 1931; Рыздзевская 1934]. М. Фасмер нашел на территории бывшего СССР около 150 топонимов, интерпретируемых им как скандинавские. Наиболее полно вопрос освещен Е.А. Рыздзевской, проанализировавшей и дополнившей работы Экблома и Фасмера. Ею рассмотрено множество ойконимов, основы которых созвучны скандинавским личным именам⁸. Изыскания Рыздзевской довели число таких ойконимов почти до 400 (из них 120 в бывших Псковской, Новгородской и Санкт-Петербургской губерниях). Эти цифры приводит Ловмянский, находя их незначительными на фоне общего числа поселений в этих землях [Ловмянский 1985: 99–103]. Но и эти цифры недостоверны. Уже Рыздзевская убедительно отвела скандинавскую этимологию многих ойконимов (*Берново*, *Бутово*, *Гоманиха*, *Гудово*, *Колюберово*, *Монино*, *Моторово*, *Редрово*, *Стырево*, *Турдеево*, *Якуниха* и др.), приводя надежные славянские параллели. Основной ее вывод: одни названия являются явно более древними, чем эпоха викингов, другие объясняются из русского языка (добавим: а иные из балтских и финских) и лишь малая часть названий может действительно происходить из скандинавских личных имен. Но носителями их не обязательно были скандинавы, ибо эти имена входили в состав древнерусского ономастикона. Порой сомнительно само антропонимическое происхождение основ ойконимов, ибо они повторяются в составе ряда гидронимов, что не характерно для той эпохи [Рыздзевская 1978: 136]. Позднее эту небольшую группу, оставленную Рыздзевской "в подозрении", еще более сократил С.Б. Веселовский [Веселовский 1945: 34].

Заметим, что среди обсуждаемых населенных пунктов нет сколь-либо значимых, а чем дальше к северу и северо-востоку, тем число поселений с предположительно скандинавскими названиями сокращается вплоть до полного исчезновения. Правда, Ловмянский принимает скандинавскую атрибуцию *Спиркова* (позднее *Спиркова гора* [Насонов 1951]) и *Тудорова погоста* Устава Святослава 1137 г. Но имя *Спирко* естественным образом выводится из *Спиридон*. *Тудоров погост* логично отождествлен

⁷ Более того, они могут иметь вовсе не этнический смысл. Так, *шведами* (а также *колдунами* и *фаро-нами*) прозвали соседи группу жителей дер. Мандера в Прионежье [Михайлова 1993].

⁸ Скандинавские этимологии предлагались даже для гидронимов *Туд*, *Суда*. Однако они имеют альтернативные объяснения, гораздо более правдоподобные исторически; ср. *Молодой Туд* (приток верхней Волги) и прибалт.-фин. *tulto* "девочка, молодая женщина", *Суда* (приток Шексны) и *susi* (**suti*) родит. пад. *suden* "волк".

с позднейшим Тудозерским погостом на юго-востоке Онежского озера [Насонов 1951], в названии которого первичен скорее лимноним (Түдоро < *Tud'arv' или *Tudjawre), а не антропоним. Да и само имя Түдор на северную Русь пришло не из Скандинавии, а с Руси южной, являясь отражением одного из вариантов передачи греч. θεοβυρος, откуда также Феодор [Зализняк 1995: 264].

Вывод, сделанный Рьдзевской, конечно не остановил поисков скандинавского топонимического следа в Северной Руси (см. [Schramm 1982; Шрамм 1994] и рецензию [Шаскольский 1994]), но к заметным результатам они не привели. Особо неудачными следует признать попытки привлечения скандинавских апеллятивов. Характерен в этом отношении пример главного города древлян *Искоростеня*. Его возводили к др.-сканд. *Skorosten "Скала с зарубкой". Такое же происхождение предлагалось и для названий местечка *Коростышев* на р. Тетерев и с. *Коростынь* у Ильмена [Клейбер 1960]. А есть еще дер. *Коростень* на р. Сить в Костромской обл. Что же, и здесь побывали варяги и нашли скалу с зарубкой? Вряд ли скандинавская этимология останется сколь-либо убедительной на фоне данных русского языка, в котором есть и *короста* "сажа, корка, струпя", и *керста* "могила, гроб" (уже в ПВЛ под 1092 г.), и диалектные *короста* "кочковатое, неровное место", *коростень* "болотный кочкарник" [Мурзаев 1984: 291].

Таково положение в Северной Руси, где бывшее временное присутствие скандинавов не подлежит сомнению. Перейдя в Карелию, начнем с рассмотрения топонимов, произошедших из этнонимов. К таковым, кроме тех, что обозначают исконных жителей Карелии, относятся топонимы с основами *Немец-* и *Ruotši-*. Здесь следует иметь в виду, что русские называли *немцами* всех западноевропейцев (финнов порой называли *каляньские немцы*). Карельское же *ruotši, ruotšilainen (-set)* обозначало не только и не столько шведов, но всех западных соседей, находившихся под властью Швеции: финнов и тех же карел. Позднее "шведский" стало также означать "неправославный, лютеранский". В Карелии эта семантика оказалась присуща и русскому *немец, немецкий*. Показательна в этом отношении берестяная грамота № 248–249, говорящая о набегах из шведской Финляндии на Приладожские погосты: *приблизени есмь с нимечкою половине... Новзе лопишь* (был в числе обидчиков). Следует также учитывать, что на юге Карелии топонимы с основой *Роч-* могут иметь иное происхождение. Так, в Прионтье известно вепс. *ročinkoumad* "могилы рочи" (наряду с топонимами *Ročid, Ročinkorb*). Современное *roč* означает "некрещеный ребенок", восходя к семантике с мифологическим значением, отражающим культ предков [Муллонен 1993] (ср. с русск. *чудские могилы, чудские ямы*, обозначающим следы любых древностей безотносительно к этнической принадлежности их носителей). Нельзя игнорировать и русск. *роча* "промысловая изба", и саам. *ruots* "бурелом".

Кроме того, топонимы с соответствующими основами созданы не шведами, а местным населением, отметившим присутствие иноземных находников. Тем не менее, даже с указанными оговорками, они потенциально могут свидетельствовать о былом присутствии здесь скандинавов (шведов). Но о каком времени может идти речь? Если не говорить о заведомо поздних топонимах (*Немецкая Шильта* на п-ве Заонежье) и микропонимах (о происхождении их говорилось при рассмотрении антропонимии), можно отметить такие названия (в скобках указан год первой фиксации): дер. *Немецкая* на Свири близ Важин (1792), *Немецкий остров* (*Руоччинсари*) на Сямозере (1563), *Немецкий Кузов* – о-в в Белом море (1568), *Немецкая щелья* у дер. Вирма на Белом море, *Немецкая гора* у Шальского погоста; *Ротчезеро* (*Ruotšärvi*) в басс. Малой Суны, *Рочилампи* в басс. Воломы, *Рочинлакши* на р. Унга (басс. Онды), *Рочавара* – г. у Ковдозера, *Руччашуарет* – о-ва на Топозере (рядом *Лопарихен-шуарет*), возможно озера *Рощинское* и *Роцца* на западе Олонецкого перешейка (1728).

Показательна география этих названий. Они группируются в районах, которые подвергались военным набегам шведов, известным по историческим документам

[Акты 1990; История Карелии 1972]. В большинстве случаев соответствующие события, привязанные к этим географическим объектам, оказались зафиксированы и в народных преданиях⁹ [Смирнов 1876; Криничная 1978; 1991], самое раннее из которых (о набеге 1496 г. на Карельское поморье) записано еще в 1568 г. [Филипов 1901]. В массе своей эти события происходили в XVI–XVII в. и собственно шведской топонимии в Карелии не оставили.

Обратимся к топонимам, для которых, все же, предлагались скандинавские этимологии:

Игумор наволоок – так был первоначально прочтен топоним НГБ № 2 конца XIV в. (касающейся р-на Водлозера). Он был сопоставлен с др.-сканд. именем *Ingmarr*. Но эта трактовка была впоследствии отвергнута и заменена чтением *и Гугмор наволоок* [Зализняк 1995] на основании формы названия, приведенной в писцовых книгах 1563 г. [Книги 1930] (позднее *Гумар-наволоок*). Это название выводится из прибалт.-фин. *hu(u)mar, huhmar* "мельничная ступа, толчея".

Толвуя – древнее поселение на п-ве Заонежье. В. Ниссиля предложил происхождение топонима из сканд. *Tolvi < Tohlvard*. Но более естественно выглядит традиционная этимология: карел. *talvi oja* или саам. *tall'v vuaj* "зимний ручей" [Керт, Мамонтова 1982].

Алгота ручей в басс. Свири [Книги 1930: 78] некоторые авторы выводили из сканд. *Algot*. В. Ниссиля назвал такую трактовку проблематичной [Nissilä 1967]. Действительно, название естественным образом может быть выведено из карел. *Alhod'ogi* "Река в низине" с переразложением *Alhod-jogi*, характерным для русского освоения гидронимов Южной Карелии с элементами *d'ogi, d'ärvi*, и последующим "калькированием" *ogi* как "река, ручей" и *ärvi* как "озеро".

Наиболее последовательно идея о наличии скандинавской топонимии в Карелии, точнее в Заонежье, изложена в [Агапитов 1990; Агапитов, Логинов 1992]. Их авторы считают, что эта топонимия возникла в ходе крестьянской колонизации, исходящей из южного и юго-восточного Приладожья. Полагается, что среди переселенцев были и лица скандинавского происхождения (но см. выше о социальном составе скандинавской прослойки в Древней Руси). Ниже мы приведем этимологии этих работ и альтернативные им прибалтийско-финские или русские.

Гардакова гора – холм в с. Вегоруксы – сравнивается со швед. *gard(e)* "дом, огороженное место". Однако, ср. с людик. *hard', hard'akka* "песчаная грядка; холм".

Блюдростров – из имени *Bludr* или *blót* "жертва" и *ör* "луда". Но ср. с др.-русск. *Блуд* или *блюдо* (за форму рельефа). Появление *-р-* на стыке основы, кончающейся на согласную, и детерминанта нередко в северорусских топонимах: *Рандостров* – *Рандростров* [Панаева 1979].

Ор-наволоок – мыс в Мелой-губе – из швед. *åra* "весло", сравнивая с фин. *mela* "весло" (> *Мелой губа*). Но Ор-наволоок – не единственный мыс в губе и их названия не обязательно связаны друг с другом¹⁰. *Мелой-губа* может быть возведено к саам. *mielle* (фин. *mella*) "прибрежные галечно-песчаные обрывы, склоны". Топонимы же на *Ор-* в Карелии многочисленны и могут происходить от самых разных карельских и саамских слов.

Полянка Олафа у бывшей дер. Жилище на Мягрозере – из имени *Olafr*. Альтернативу мы видим в карел. *elävä* "жилой" (ср. *Жилище*) с переходом *e-o* в анлауте на русской почве.

Дер. Лонгачевская, ныне *Лонгасы* – из швед. *lång* "длинный". Мы же полагаем это

⁹ Правда, иногда предание "смещало" событие по времени, особенно если набеги на данную местность (Беломорье, Олонецкий перешеек) происходили неоднократно.

¹⁰ Кстати, А.И. Попов [Попов 1940: 44] рассматривал иную пару названий: *Мелой-губа* (в [Книги 1930] иногда *Миляя губа*) – *Лембитов остров*, сравнивая последнее с карел. *lembi* "любовь".

название производным от прозвища **Лонгач*, в основе которого могли лежать различные карельские и вепские апеллятивы, например *lanko, lango* "своjak, шурин".

Дер. *Удоевская* – из сканд. *Ud(de)*. Очевидно из русского *Удоев* (ср. неоднократно *Удоевы* в [Акты 1988]). Эта фамилия могла быть как русской, так и карельской (*ottova* "добычливый"), и даже саамской (*udda* "новый", *vuudte* "лес, бор") по происхождению.

Дер. *Ботоевская* – из др.-северн. *Bóti*, швед. *Vote*. Но ср. *Ботай Иванов* из Сумской волости [Акты 2: 198] и дер. *Ботинская* на Падмозере (она же *Ботинска* на Плана генерального межевания 1788 г. и *Ботвинская* в [Сп. 1928]), где в 1563 г. жил *Ентрош Ботва* [Книги 1930].

Дер. *Бездюревская* – из швед. *bister* "суровый, мрачный". Нам же здесь видится русское прозвище *Бздюр* или *Бздырь* – из *бздырить* "носиться, бегать взад и вперед (о скоте, когда его мучает жажда и оводы)".

Дер. *Мигуры* – из швед. *myggor* "комары", сравнивая с ближним урочищем *Комарницы*. Карел. *mäkkärä*, саам. *meeger, meegkär* также означает "комар, мошка". К паре же *Мигуры-Комарницы* (последнее, кстати, скорее идет от личного именованья) можно указать карел. *mükkürä*, вепс. *mügar* "холм" и карел. *kummar, kummuri* "холм, горка".

Мезельщина – урочище на Б. Климецком о-ве (а неподалеку урочище *Зуб*) – из швед. *mejse* "зубило, долото, резец". Суффикс *-щина* означал принадлежность. Потому в основе названия логично видеть имя **Mesel* – из русск. *Мусаил*, либо фин. *meiseli*, эст. *meizel* "зубило", или же фин. *mesiläinen*, людик. *mežiaine*, эст. *mesilane* "пчела".

Дер. *Сямнега* – из др.-северн. *Saemigr, Semingr*, др.-швед. *Saeming*. Но в ранних документах (как минимум с 1563 по 1788 г.) деревня именуется *Сявнега*, а ближняя к ней речка называется так и сейчас. Подобных названий в Карелии много, и они раскрываются из карел. *säünägä* "язь".

Таким образом, указанные названия получают правдоподобную интерпретацию на русской или прибалтийско-финской почве. Повторим, что простое созвучие основ топонимов со словами тех или иных языков само по себе еще не может рассматриваться как доказательство той или иной этимологии. Так, если бы автор задался целью "найти" древнюю скандинавскую топонимию в Карелии, никакого труда не составило бы подыскать "нужные" названия, даже не прибегая к "этимологическим попыткам". Скажем, *Якунвара* или *Дек-наволок*, карел. *D'ekunniemi* можно было бы сравнить со сканд. *Якун*, хотя первое название видимо происходит из карел. *jako* "раздел" или прибалтийско-финского источника арханг. *якунить* "ходить на промысел пушных зверей", а второе из имени *D'ekku, D'ekki* – сокращения из *Дехкима* (русск. *Ефим*) [Nissilä 1967]. *Линдозеро* (карел. *lindu* "птица") можно вывести из др.-сканд. *lind* "липа", *Теннула* (имя *Тенпи*) из *sten* "камень", *Витаниеми* (*viita* "молодой ельник") из *hviita* "белый", *Маркинлесо* (имя *Markki*) из *tarka* "лесной", р. *Илакса* (*ülälaakso* "верховье реки") из *laksa* "лососевая" и т.д. Так же, при желании, можно было бы усмотреть в названиях *Сердоболь*, *Вавдиполь*, *Таржеполь*, *Военполь* др.-сканд. *hæli* "двор", хотя большинство этих топонимов входят в обширный ареал финно-угорских названий с формантом *-пол(а)/-бол(а)* [Попов 1974; Матвеев 1996], а в *Вавдиполь* элемент *-поль* и вовсе отражает русское *поле*¹¹.

Важно не то, что опровергнута скандинавская этимология того или иного названия; решающую роль играет тот факт, что в Южной Карелии отсутствуют микротопонимы с характерными для древнескандинавской топонимии формантами, восходящими к *hu* "деревня", *het* "дом", *hulm* "роща", *mål* "отмеренный кусок земли", *gut* "вырубка,

¹¹ На это указывает форма названия *Овды-пелды* [Книги 1930], где *-пелды* – из карел. *peldo* "поле". Таким образом, *Вавдиполь* есть полуперевод, в котором сочетается адаптированное русскими карельское имя *Вавдита* (на основе отождествления Вавдиполя с пунктом *оу Вавдита* "Устава Святослава" 1137 г. [Насонов 1951]) или же карел. *outo* "лес, бор" с калькированным *peldo* "поле".

открытое место", *stad* "город, стоянка, жилье", *tomt* "участок земли", *tun* "отгороженный луг (святая поляна)", *åker* "пашня" и т.п. (подробнее см. [Егорова 1981]). Кроме того, в русских, карельских и вепских говорах Карелии не отмечены скандинавские заимствования, которые могли бы восходить к эпохе средневековья и быть восприняты в данном регионе. Следовательно, на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, мы должны на сегодняшний день ответить отрицательно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агапитов В.А. 1990 – Скандинавские черты в топонимии Заонежья // Европейский Север: история и современность. Петрозаводск, 1990.
- Агапитов В.А., Логинов К.К. 1992 – Формирование этнической территории и этнического состава группы заонежан // Заонежский сборник. Петрозаводск, 1992.
- Арх. лет. 1950 – Устюжский летописный свод (архангельский летописец). М.: Л., 1950.
- АК 1996 – Археология Карелии. Петрозаводск, 1996.
- Акты 1988 – Акты Соловецкого монастыря 1479–1571 гг. Л., 1988.
- Акты 1990 – Акты Соловецкого монастыря 1572–1584 гг. Л., 1990.
- Башенькин А.Н. 1993 – Сопки и длинные курганы в Юго-Западном Белозерье // Славянская археология 1990. Материалы по археологии России. Вып. 1. М., 1993.
- Веселовский С.Б. 1945 – Топонимика на службе у истории // Исторические записки. 1945. Т. 17.
- ГВНП 1949 – Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
- Глазырина Г.В. 1984 – Alaborg "Саги о Хальвдане, сыне Эйстейна". К истории Русского Севера // ДГ 1983. М., 1984.
- Глазырина Г.В. 1996 – Исландские викингские саги о Северной Руси. М., 1996.
- Джаксон Т.Н. 1994 – Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). М., 1994.
- Джаксон Т.Н., Мачинский Д.А. 1989 – "Сага о Хальвдане, сыне Эйстейна" как источник по истории и географии Северной Руси и сопредельных областей // Вопросы истории Европейского Севера. Петрозаводск, 1989.
- Егорова Т.П. 1981 – Географические апеллятивы и словообразующие модели скандинавской топонимии // Топонимика зарубежных стран. М., 1981.
- Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.
- История 1987 – История Карелии XVI–XVII вв. в документах. Петрозаводск; Йоенсуу, 1987.
- История Карелии 1972 – История Карелии в документах и материалах. Ч. 1. Дореволюционный период. Петрозаводск, 1972.
- Керт Г.М., Мамонтова Н.Н. 1982 – Загадки карельской топонимии: рассказ о географических названиях Карелии. Петрозаводск, 1982.
- Клейбер Б. 1960 – Искоростень // Scando-Slavica. Copenhagen, 1960. V. 6.
- Книги 1930 – Писцовые книги Обонежской пятины 1496 и 1563 гг. Л., 1930.
- Кн. 1500 – Переписная окладная книга по Новгороду Вотской пятины 7008 года // Временник МОИДР. Кн. 12. 1852.
- Кочкуркина С.И. 1989 – Памятники Юго-Восточного Приладожья и Прионежья X–XIII вв. Петрозаводск, 1989.
- Кочкуркина С.И., Спиридонов А.М., Джаксон Т.Н. 1990 – Письменные известия о карелах. Петрозаводск, 1990.
- Криничная Н.А. 1978 – Северные предания (Беломорско-Обонежский регион) Л., 1978.
- Криничная Н.А. 1991 – Предания Русского Севера. СПб., 1991.
- Ловмянский Х. 1985 – Русь и варяги. М., 1985.
- Мамонтова Н.Н., Кочкуркина С.И. 1982 – О топонимии Северо-Западного Приладожья и сопредельных районов // Древняя Карелия. Л., 1982.
- Матвеев А.К. 1996 – Субстратная топонимия Русского Севера и мерянская проблема // ВЯ. 1996. № 1.
- Мельникова Е.А. 1977 – Скандинавские рунические надписи. М., 1977.
- Михайлова Л.П. 1993 – Фараоны, девятые люди и другие жители Карелии // Родные сердцу имена. Петрозаводск, 1993.
- Муллонен И.И. 1993 – О "святых" топонимах и некоторых следах древних верований в вепской топонимии // Родные сердцу имена. Петрозаводск, 1993.
- Мураев Э.М. 1984 – Словарь народных географических терминов. М., 1984.
- Насонов А.Н. 1951 – "Русская земля" и образование территории древнерусского государства. М., 1951.
- НПЛ 1950 – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

- Панаева С.Ю.* 1979 – Заметки о комбинаторных изменениях в полукальках на стыке субстратной основы и русского географического термина (детерминанта) // Вопросы ономастики. Вып. 13. Свердловск, 1979.
- Попов А.И.* 1940 – Непочатый источник истории Карелии (карельская топонимика) // Родные сердцу имена. Петрозаводск, 1993.
- Попов А.И.* 1974 – Топонимика древних мерянских и муромских областей // Географическая среда и географические названия. Л., 1974.
- ПСРЛ 1994 – Полное собрание русских летописей. Т. 39. М., 1994.
- Рыдзевская Е.А.* 1934 – К варяжскому вопросу (местные названия скандинавского происхождения в связи с вопросом о варягах на Руси) // Изв. АН СССР. 1934. Сер. VII. ООИ. № 7, 8.
- Рыдзевская Е.А.* 1978 – Древняя Русь и Скандинавия IX–XIV вв. М., 1978.
- Сакса А.И.* 1997 – Город Корела – центр приладожской Карелии // Славяне и финно-угры. Археология, история, культура. СПб., 1997.
- Самоковцов Д.Я.* 1909 – Архивный материал. Новооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства. Т. 2. М., 1905–1909.
- Смирнов М.* 1876 – Руочин саари – Шведский остров на озере Сязозере // Олонецкий сборник. Вып. 1. Отд. 2. Петрозаводск, 1875–1876.
- Сп. 1928 – Список населенных мест Карельской АССР (по материалам переписи 1926 г.). Петрозаводск, 1928.
- Спиридонов А.М.* 1990 – Заселение Челмужского погоста (по археологическим материалам X–XVI вв.) // Европейский Север: история и современность. Петрозаводск, 1990.
- Спиридонов А.М.* 1992 – Раннесредневековые памятники Кокорино // Заонежский сборник. Петрозаводск, 1992.
- Тиандер К.Ф.* 1906 – Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1906.
- Филипов А.М.* 1901 – Русские в Лапландии в XVI веке // Литературный вестник. Т. 1. Кн. 3. СПб., 1901.
- Финно-угры 1987 – Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987.
- Шаскольский И.П.* 1994 – Русско-скандинавские отношения раннего средневековья в работах Г. Шрамма // Отечественная история. 1994. № 2.
- Шилов А.Л.* 1996 – Чудские мотивы в древнерусской топонимии. М., 1996.
- Шрамм Г.* 1994 – Ранние города Северо-Западной Руси: исторические заключения на основе названий // Новгородские археологические чтения. Новгород, 1994.
- Eklblom R.* 1915 – Rus- et wareg- dans les noms de lieux de la region de Novgorod // Archives d'etudes orientales. XI. 1915.
- Nissilä V.* 1967 – Die Dorfnamen des alten Judischen Gebiets. Helsinki, 1967.
- Schramm G.* 1982 – Normannische Stützpunkte in Nordwestrussland. Etappen einer Reichsbildung im Spiegel von Namen // Beitr. zur Namenforschung N.F. Bd. 17. Hf. 3. 1982.
- Vasmer M.* 1931 – Wikingerspuren in Russland // SPAW. Phil.-Hist. Kl. Bd. XXIV. 1931.

© 1999 г. А.Л. МАЛЬЧУКОВ

ПЕРФЕКТ И ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В ТУНГУССКИХ ЯЗЫКАХ

(ОПЫТ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАХРОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)*

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящая работа посвящена описанию перфекта и его эвиденциальных¹ функций в тунгусских языках в синхронном и диахроническом аспектах. Наличие перфекта со значением неочевидности, как известно, представляет собой грамматическую изоглоссу, отмеченную для ряда языков Евразии (в частности для тюркских и финно-угорских). Правда, в одних тунгусских говорах (удэгейский язык, западно-эвенские говоры) эвиденциальная семантика перфекта обнаруживается более явно, чем в других. Как будет показано ниже, это имеет отчасти диахроническое объяснение: одни тунгусские языки еще не достигли эвиденциальной стадии на пути развития (статального) перфекта в форму претерита (немаркированного прошедшего), другие уже миновали ее.

В разделе 2 рассматривается эволюция перфектных форм в северо-тунгусских языках и обсуждаются факторы, влияющие на становление (конвенционализацию) эвиденциального значения – как структурные, так и внешние (следствие языковых контактов). В разделе 3 анализируется сходная функциональная эволюция перфекта в южно-тунгусских языках, которые также демонстрируют диахроническую связь между засвидетельствованностью и аффирмативностью (значением категорического утверждения), которая хуже документирована типологически. Наконец, в разделе 4 пути развития временных форм в тунгусских языках обсуждаются в связи с гипотезами об универсалиях функциональной эволюции, высказанных в работе [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994].

СПРАВКА

Тунгусские языки (т.е. собственно тунгусские, за исключением маньчжурской ветви, которая далее не рассматривается) традиционно делятся на две группы: северо-тунгусские, иначе эвонкийская или сибирская ветвь, и южно-тунгусские, иначе нанийская или амурская ветвь (о классификации тунгусо-маньчжурских языков, см. [Цинциус 1949; Суник 1962; Dörfer 1978]). К северо-тунгусским относятся эвенский, эвенкийский,

* Автор выражает благодарность своим коллегам по отделу алтайских языков и лаборатории типологического исследования языков (ИЛИ РАН) за полезное обсуждение доклада, положенного в основу настоящей статьи, а также В.С. Элрике, В.Г. Белолобской и Л.Ж. Заксор за консультацию по эвенскому и нанайскому языкам. Пользуясь случаем, выражаю особую признательность Н.А. Козинцевой и Ларсу Юхансону, привлечшим мое внимание к проблематике эвиденциальности.

Работа выполнена при поддержке РГНФ, номер проекта 96-04-06071.

¹ В соответствии с работами [Chafe, Nichols 1986; Willet 1988; Козинцева 1994], под эвиденциальностью здесь понимается (глагольная) категория, указывающая на источник получения информации – прямой (непосредственное наблюдение) либо косвенный (сообщение другого лица / умозаключение и т.д.). В отечественной грамматической традиции формы прямой эвиденциальности обычно именуются формами очевидности (или засвидетельствованности), формы косвенной эвиденциальности – формами неочевидности (соответственно, незасвидетельствованности).

также негидальский и солонский языки (иногда рассматриваются как диалекты эвенкийского, возникшие в результате контактов с южно-тунгусскими и монгольскими языками, соответственно). К южно-тунгусским относятся нанайский, ульчский, орокский, удэгейский и ороцкий (последние два языка обнаруживают ряд признаков, сближающих их с северо-тунгусскими).

В типологическом отношении тунгусские языки во многом типичные языки "алтайского типа": в морфологическом отношении это агглютинативно-суффиксальные, в синтаксическом отношении – языки номинативного строя с порядком слов SOV. В притяжательной группе подчинительные отношения маркируются при помощи притяжательных показателей на определяемом (по типу тюркского "2-го" изафета). Все тунгусские языки в той или иной степени обнаруживают противопоставление между двумя рядами предикативных форм: глагольными формами (старая формация) и причастными формами (новая формация). Эти два ряда форм различаются синтаксически (первые монофункциональны, вторые употребляются также в атрибутивной и субстантивной позициях), а в известной степени и формально. Глагольные формы, как правило, оформляются особым рядом лично-предикативных окончаний, в то время как причастные оформляются лично-притяжательными окончаниями. И та и другая серия личных окончаний в конечном счете восходит к личным местоимениям, но лично-предикативные окончания более грамматикализованы формально – подверглись большей редукции.

2. ПЕРФЕКТ И ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В СЕВЕРО-ТУНГУССКИХ ЯЗЫКАХ

Ниже рассматривается семантическая эволюция перфекта на *-ча*² в северо-тунгусских языках. В подразделах 2.1–2.3 дано описание семантики перфекта в системе временных форм в отдельных северо-тунгусских языках. В заключительном подразделе представлена диахроническая интерпретация данных синхронного анализа.

2.1 ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК

2.1.1. Перфект в составе временной парадигмы. Ядро эвенской временной парадигмы индикатива составляют следующие формы: будущее на *-ди-* (в дальнейшем не рассматривается), аорист на *-ра-*, имперфект на *-ри-*, перфект на *-ча*. Грамматический статус этих форм различен. Формы аориста относятся к собственно глагольным формам: они монофункциональны и принимают при спряжении серию глагольных суффиксов. Временная интерпретация форм аориста зависит от акциональной семантики глагольной основы (см. [Роббек 1982: 32–42]; ср. [Новикова 1980: 68–69]): образуясь от предельных глаголов, эти формы обозначают действие в недавнем прошлом, а образуясь от непредельных глаголов, относят действие к плану настоящего: ср. *эм-рэ-н* 'он (только что) пришел' и *хон-ра-н* 'он плачет'.

Имперфектная форма (типа *хонг-ри-н* 'он [тогда] плакал'), развившаяся из причастия настоящего времени, при спряжении принимает именную (притяжательную) серию личных показателей. Наконец, перфект представляет собой причастную форму, которая, как и другие причастия, употребляется в атрибутивной, субстантивной и предикативной позициях. В последней позиции перфектное причастие подобно другим именным предикатам не способно оформляться личными показателями (хотя и согласуется с подлежащим в числе; см. (4)); категория лица в этом случае выражается перифрастически – при помощи спрягаемой связки *би-* 'быть' (в 3-ем лице связка опускается).

В эвенских диалектах форма на *-ча* выражает следующие значения: 1 – перфект (акциональный), см. (1); 2 – результатив (иначе, перфект состояния)³, см. (2); 3 – косвенная эвиденциальность (неочевидность), см (3)⁴.

² Здесь и далее приводятся основные варианты суффиксальных морфем. Алломорфия в суффиксальных морфемах обусловлена воздействием гармонии гласных и ассимилятивными процессами.

³ В соответствии с определением В.П. Недалкова и С.Е. Яхонтова [Недалков В., Яхонтов 1983: 7], результативом здесь именуется глагольная форма, обозначающая состояние, предполагающее предшествующее действие.

⁴ При представлении иллюстративного материала используются следующие сокращения: АОР – аорист;

- (1) *Акму укал хѳр-чэ*
 брат – 1Ед уже уйти – ПЕРФ
 "Мой (старший) брат уже ушел".
- (2) *...Бѳѳдэлэ-тэн, нгаала-тан чэлгэм-чэ, хаан-да урэ-тэн хѳки-чэ*
 рука – 3МН нога – 3МН сломать – ПЕРФ другой – ЧАСТ живот – 3МН
 распороть – ПЕРФ "Руки и ноги у них были поломаны, а у некоторых распороты
 животы" (пример из [Новикова 1980: 134]).
- (3) *Этикэ-екэн мут хут-у-т дѳрми-гра-ча*
 старик – ДЕМИН.ИМ наш дети – ВИН – 1МН красть – ИТЕР – ПЕРФ
 "Оказывается) старичок крал наших детей" (пример из [Лебедев 1978: 117]).

В центральных и западно-эвенских диалектах значение неочевидности может быть признано основным значением перфектной формы, поскольку последняя обнаруживает ограничения на употребление в 1-м лице, значение которого вступает в конфликт с семантикой неочевидности. В этом случае употребление перфектной формы ограничено контекстами, в которых действие не контролируется субъектом:

- (4) *Эгден мѳдэн эвгидэ-ду-н нулгэ-сэн-чэ-л би-сэ-п*
 большой половец перед – ДАТ – ЗЕД кочевать – МОМ – ПЕРФ – МН быть –
 АОР – 1МН
 "Оказывается, мы выехали как раз перед большим наводнением".

Реализация (акционально-)перфектного значения, как правило, требует сильных контекстов, таких, как наречие *укал* 'уже' в (1).

2.1.2. Диалектные расхождения в употреблении перфектной формы. Как было отмечено выше, значения перфектной формы неравномерно распределены по эвенским говорам. В восточных говорах форма на *-ча* преимущественно употребляется в резульативной функции (см. (2) выше). В качестве нарративной формы в случае реалистического повествования (жанр тэлэнг), как правило, выступает имперфект, в сказочном повествовании (жанр нимкан) – чаще аорист.

Центральные и западно-эвенские говоры обнаруживают экспансию формы на *-ча* в качестве повествовательной формы за счет форм имперфекта и аориста. Ниже указано процентное соотношение этих форм в фольклорных текстах, записанных от представителей разных диалектных групп (подсчеты для восточных (ольского), центральных (момского) и западных (аллайховского) говоров проводились по текстам, представленным в [Новикова 1980; Лебедев 1978; Дуткин 1980], соответственно):

диалекты	-ра- (аорист)	-ри- (имперфект)	-ча (перфект)
вост.	63	37	–
центр.	39,3	15,1	45,6
запад.	30,5	–	69,5

Любопытно, что распределение этих форм в диалогах обнаруживает меньше диалектных различий по сравнению с повествованием. Так, материалы западных говоров (в пределах той же выборки) показывают, что форма на *-ри-* сохраняется в диалогической речи для обозначения событий прошлого, локализованных во времени, а форма на *-ча* ограничена контекстами прошедшего незасвидетельствованного. Таким образом, и в западно-эвенских говорах перфект ещё не развился в немаркированную форму прошедшего времени.

Возрастающая экспансия перфектных форм в эвенских говорах по мере движения с востока на запад, по-видимому, имеет внешний источник. Как представляется,

ВИН – винительный падеж; ДАТ – дательный падеж; ДЕМИН – деминутив; ЕД – единственное число; ИМ – именительный падеж; ИТЕР – итеративный способ действия; МН – множественное число; МОМ – мгновенный способ действия; НАСТ – настоящее время; ПЕРФ.ПРИЧ – перфектное причастие; ПРЕЗ. ПРИЧ. – причастие настоящего времени; ПРОШ – прошедшее время; ЧАСТ – (энклитическая частица).

эвенская перфектная форма калькирует значение якутского перфектного причастия на *-быт* (соответствующего форме на *-мыш* в ряде других тюркских языков). Якутская причастная форма на *-быт*, как известно, имеет два различных употребления [ЯГ 1982: 310–312]: а) в комбинации с личными показателями посессивного типа она используется в значении формы давнопрошедшего времени; б) в оформлении глагольными личными показателями она имеет значение результативно-эвиденциальной формы. Ниже эти два разряда форм проиллюстрированы для глагола *бар-* ‘пойти’.

	Давнопрошедшее время		Результативно-эвиденциальная форма	
	ЕД	МН	ЕД	МН
1-е л.	<i>бар-быт-ым</i>	<i>бар-быт-нымт</i>	<i>бар-быт-нын</i>	<i>бар-быт-нымт</i>
2-е л.	<i>бар-быт-ынг</i>	<i>бар-бык-кыт</i>	<i>бар-бык-кын</i>	<i>бар-бык-кыт</i>
3-е л.	<i>бар-быт-а</i>	<i>бар-быт-тара</i>	<i>бар-быт</i>	<i>бар-быт-тар</i>
	‘я (ты...) давно пошёл’		‘я (ты...), оказывается, пошёл’	

В ходе семантической интерференции обе якутские формы оказались, по-видимому, контаминированы в сознании двуязычных эвенков. С одной стороны, форма давнопрошедшего времени стоит ближе к эвенской перфектной форме функционально: обе формы широко употребительны в качестве повествовательной формы в фольклоре. С другой стороны, результативно-эвиденциальная форма ближе к эвенской перфектной форме в морфологическом отношении: у обеих форм личный показатель в формах 3-го лица отсутствует. То, что распространение формы на *-ча* в западных говорах обусловлено внешним влиянием, находит дальнейшее подтверждение в многочисленных итерферентных явлениях в (фонологии и морфосинтаксисе) западно-эвенских говоров.

2.2. ЭВЕНКИЙСКИЙ ЯЗЫК

2.2.1. Перфект в видо-временной системе. Эвенкийскую видо-временную систему отличают от эвенской, в частности, следующие особенности (ср. [Константинова 1964: 171–180; И. Недялков 1992: 165 и сл.]). Во-первых, в эвенкийском языке не получил развития имперфект на *-ри-*, который сохранил свою причастную природу. Во-вторых, аорист на *-ра-* был вытеснен в сферу недавнопрошедшего времени за счет грамматикализации сочетания прогрессива (длительного вида) на *-дя-* и аориста, приведшей к образованию новой формы настоящего времени на *-дяра-*. Этот семантический сдвиг наиболее очевиден при сопоставлении значения форм аориста от стативов в эвенском и эвенкийском языках: эвенские стативы относят действие в план настоящего, а эвенкийские – в план недавнего прошлого, ср. эвенк. *сонго-ро-н* ‘(он) только что (по)плакал’ с вышеприведенным эвенским *хонг-ра-н* ‘он плачет’.

Таким образом, основные временные формы (помимо будущего, а также периферийных форм прошедшего времени, таких, как прошедшее обычное на *-нки-*) – это недавнопрошедшее на *-ра-* и (давно)прошедшее на *-ча*. Согласно И.В. Недялкову [И. Недялков 1992: 170], основными значениями эвенкийской формы на *-ча* являются перфектное и общефактическое. Результативное значение, напротив, по-видимому, нехарактерно для эвенкийского перфекта: только перфект пассива регулярно выражает результативное значение [И. Недялков, В. Недялков 1983: 132]⁵.

Примечательно, что эвенкийский перфект в ряде отношений более граммати-

⁵ Впрочем, в эвенкийских фольклорных текстах встречаются отдельные результативные употребления перфектной формы с объектной диатезой; ср. *Гарпа-ча бихим!* ‘Подстрелен я!’ [Василевич 1936: 78].

кализован по сравнению с эвенским. Так, в отличие от эвенской формы, он способен непосредственно (без помощи вспомогательного глагола) оформляться личными показателями. В дистрибутивном отношении это наиболее частотная форма прошедшего времени в диалогах [И. Недялков 1992]. В семантическом отношении ее грамматикализованность проявляется в том, что перфектная форма не ограничена контекстами, предполагающими актуальность прошедшего действия для плана настоящего. Так, в отличие от эвенского эвенкийский перфект может употребляться в контекстах "аннулированного состояния", когда результат глагольного действия был отменен одним из последующих действий [И. Недялков 1992: 171]. В эвенском языке в этих контекстах возможен только имперфект.

По наблюдениям И.В. Недялкова [И. Недялков 1992: 171] у эвенкийского перфекта возможны и эвиденциальные импликации: употребление аориста (недавно-прошедшего) обычно предполагает засвидетельствованность события, в то время как перфект коррелирует со значением незасвидетельствованности; ср. соотв. (5а) и (5б):

(5) а. *Эни эмэ-рэ-н*

мама.ИМ прийти-АОР-ЗЕД
"Мама только что пришла".

б. *Эни эмэ-чэ-н*

мама.ИМ прийти-ПЕРФ-ЗЕД
"Мама (говорят) пришла".

Тем не менее очевидно, что эвиденциальность не является основной функцией этих форм, поскольку аорист не ограничен обозначением засвидетельствованных событий, а перфект (в большинстве диалектов, см. ниже) свободно употребляется в 1-м л. Далее, эвиденциальная оппозиция между этими формами наблюдается только по отношению к плану недавнего прошлого, в других случаях возможна только перфектная форма.

2.3. ДРУГИЕ СЕВЕРО-ТУНГУССКИЕ ЯЗЫКИ

В отношении грамматикализованности перфектной формы другие северо-тунгусские языки – негидальский и солонский – занимают промежуточное положение между (более консервативным) эвенским и эвенкийским. Так, в негидальском языке форма на *-ча* имеет два различные предикативные употребления, используясь либо как неспрягаемое причастие, либо как (спрягаемый) глагол. Примечательно, что различная грамматикализованность этих форм в формальном отношении коррелирует с различной степенью их семантической обобщённости: согласно В.И. Цинциус [Цинциус 1982: 34], в первом употреблении форма на *-ча* имеет значение перфекта (у В.И. Цинциус "прошедшее результативное"), во втором – претерита (немаркированного прошедшего). В солонском формы 1-го и 2-го лица перфекта более грамматикализованы, поскольку оформляются личными показателями, в то время как формы 3-х лиц не спрягаются и тем самым сохраняют свою причастную природу. Последнее обстоятельство можно объяснить влиянием монгольских языков на солонский.

2.4. ВЫВОДЫ

Предполагаемую эволюцию северо-тунгусского перфекта схематически можно представить так:

РЕЗ > ПЕРФ > ПРОШ (эвенкийский)

ПЕРФ > Эвид > ПРОШедшее Повествовательное (западно-эвенские говоры)

Согласно этой схеме общая линия семантической эволюции формы на *-ча* идёт от статального к акциональному и эвиденциальному перфекту и далее к значению общепрошедшего времени. Этот путь развития перфекта является одной из известных функциональных универсалий (см. [Comrie 1976; Bybee, Perkins, Pagliuca 1994; Johanson 1998]). По свидетельству Ю.С. Маслова [Маслов 1983], в индо-европейских языках

этот путь развития циклически повторялся до трёх раз. Дополнительные свидетельства в пользу этапов развития могут быть почерпнуты и из северо-тунгусских языков.

То, что первоначальным значением совершенной формы было результирующее, видно из её диатезных характеристик⁶. Так, в эвенском (как и в других тунгусских языках) совершенная форма, образованная от интранзитивов, имеет субъектную ориентацию: субъект результирующей формы совпадает с субъектом исходного глагола (ср., напр., *чэлгэм-чэ* 'сломан' от *чэлгэм* - 'сломаться' в (2)). Напротив, образуясь от транзитивов результирующей в восточно-эвенских говорах имеют объектную ("пассивную") ориентацию: субъект результирующей формы совпадает с объектом исходного глагола (ср., напр., *хѳки-чэ* 'вспорот' от *хѳки* - 'вспороть' в (2)). То же наблюдается и в некоторых других тунгусских языках, сохранивших продуктивный перфект на *-ча*. Так, в орочском и удэгейском, которые в ряде отношений обнаруживают промежуточный статус между северо- и южно-тунгусскими языками, совершенное причастие на *-ча* (в удэгейском *-са*) традиционно характеризуется как "пассивное" (см. [Суник 1962: 220–235; Болдырев 1987: 153–159])⁷. Эта диатезная особенность формы на *-ча*, необъяснимая при допущении, что она имеет изначально глагольную природу ("древний претерит" по Г. Дёрферу), находит естественное объяснение в семантике результирующих форм. Как продемонстрировано в работе [В. Недялков, Яхонтов 1983: 16], для результирующих форм в разноструктурных языках характерен "эргативный синдром": образуясь от интранзитивов, они имеют субъектную ориентацию, от транзитивов – чаще объектную. Функциональное объяснение этой диатезной особенности результирующих было предложено Б. Комри [Comrie 1981]: переходное действие, как правило, в большей степени затрагивает состояние объекта, чем субъекта (так, действие 'открыть' очевидным образом меняет состояние открываемого объекта, но не открывающего субъекта, отсюда объектная ориентация у результирующих типа русского *открыт*). Всё это, как представляется, свидетельствует о том, что основная линия эволюции совершенной формы в северо-тунгусских языках (а, возможно, и в тунгусских языках в целом)⁸ идёт от статального к акциональному перфекту, а распространённое в тунгусоведении представление, что статальное употребление формы на *-ча* всегда является результатом их конверсии в прилагательное/существительное, является односторонним⁹.

Эволюция агентивной диатезной ориентации (субъект результирующей формы совпадает с субъектом исходного транзитива) у формы на *-ча* в большинстве северо-тунгусских говоров очевидным образом связана с грамматикализацией этой причастной формы и её втягиванием в парадигму финитного глагола. Неслучайно, что эвенкийские совершенные формы, которые более грамматикализованы по сравнению с эвенскими, имеют, как правило, агентивную, а не объектную ориентацию. Дальнейшая ступень эволюции перфекта в форму прошедшего времени документально засвидетельствована материалами эвенкийского языка. По данным Л.М. Гореловой [Горелова 1979: 105–107], в современном "литературном" эвенкийском языке форма на

⁶ Под диатезой в соответствии с концепцией Ленинградской/Санкт-Петербургской Типологической Школы понимается соответствие единиц семантического (субъект и объекты) и синтаксического (подлежащее и дополнение) уровней, под залогом понимается маркирование диатезы при помощи (глагольной) морфологии; см. [Холодович 1974; Храковский 1974].

⁷ Б.В. Болдырев [Болдырев 1987: 154] на этом основании даже предположил, что совершенная форма исторически включала пассивный показатель, что сомнительно как в фонетическом отношении, так и ввиду того, что формы на *-ча* регулярно образуются от интранзитивов.

⁸ Вопрос о первоначальной функции формы на *-ча* в общетунгусском выходит за рамки настоящей статьи. Решение этого вопроса будет во многом зависеть от установления правомерности исторического сближения северо-тунгусского перфекта с внешне сходными показателями южно-тунгусских неправильных глаголов – алломорфом совершенного причастия – *чи(н)* и прошедшего времени *-ча*.

⁹ Согласно А.М. Щербаку [Щербак 1981: 94] аналогичную эволюцию – из статального в акциональный и эвиденциальный перфект – претерпели тюркские совершенные формы на *-ган* и *-мыш*.

-ча более употребительна по сравнению с языком фольклорных памятников, который представляет консервативную норму: их процент от общего количества финитно-глагольных форм составляет 27,6% и 6,5%, соответственно. Таким образом, в современном эвенкийском языке наблюдаются последние стадии развития перфектного причастия в форму собственно глагольную.

Материал тунгусских языков показывает, что факторы, способствующие появлению эвиденциального значения у перфектных форм, отчасти являются внутриязыковыми (структурными), отчасти же обусловлены языковыми контактами. Основной структурной предпосылкой для становления эвиденциального значения у формы с исходно результативным значением является наличие грамемы прошедшего времени в структуре временной парадигмы. Так, в эвенском языке эвиденциальное значение более конвенционализировано (является частью семантики глагольной формы) за счёт оппозиции с формой имперфекта на *-ри-*. Если же в языке форма прошедшего времени отсутствует, как это имеет место в эвенкийском, то перфект развивает значение немаркированного прошедшего. Напомню, что в эвенкийском языке эвиденциальное значение представляет собой один из контекстных вариантов значения перфектной формы, а оппозиция аориста и имперфекта может быть интерпретирована эвиденциально только по отношению к плану недавнего прошлого.

Примечательно, что те эвенкийские говоры, в которых представлена форма прошедшего времени на *-ри-*, обнаруживают эвиденциальную оппозицию между незасвидетельствованным перфектом и засвидетельствованным имперфектом подобную той, которая описана для эвенского языка (ср. материалы А.Н. Мыревой по аяно-майскому и томмотскому говорам). Особенно показателен в этом отношении томмотский говор, в котором, согласно А.Н. Мыревой [Мыреева 1962: 75], форма на *-ча* выражает незасвидетельствованность и потому имеет дефектную парадигму: она не употребляется с формами 1-х л., которые несовместимы со значением незасвидетельствованности.

Влияние языковых контактов на развитие эвиденциального значения у перфектной формы наиболее очевидно на примере западно-эвенских говоров, подвергшихся влиянию якутского языка. Заслуживает дальнейшего изучения роль внешних факторов в формировании сходной эвиденциальной оппозиции между глагольной (спрягаемой) и причастной (неспрягаемой) формами на *-ча*, как это наблюдается в отдельных эвенкийских говорах Якутии (ср. описание А.В. Романовой семантики этих форм в токкинском говоре [Романова 1962: 32]).

3. ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АФФИРМАТИВНОСТЬ В ЮЖНО-ТУНГУССКИХ ЯЗЫКАХ

Хотя южно-тунгусский перфект на *-ха(н)*, по-видимому, генетически не связан с северо-тунгусской формой на *-ча*¹⁰, есть основания утверждать, что эти формы претерпели сходную семантическую эволюцию. В частности, в ходе семантической эволюции формы на *-хан* также развивают значение неочевидности, как это было впервые установлено на материале тунгусских языков для удэгейского Е.Р. Шнейдером [Шнейдер 1936: 118].

Южно-тунгусские языки сохраняют оппозицию между двумя рядами предикативных форм – глагольными формами (старая формация) и причастными (новая формация) – в разной степени. В отличие от северо-тунгусских языков, в южно-тунгусских противо-

¹⁰ По мнению В.И. Цинциус [Цинциус 1949: 211] северо-тунгусская перфектная форма на *-ча* и южно-тунгусская на *-хан* единого происхождения. Й. Бенцинг [Benzing 1955: 138] считает это сближение сомнительным ввиду наличия в южно-тунгусских языках омертвевших именных образований на *-ча*, а также сослагательного наклонения на *-мча* (генетически связанного с перфектом). И.В. Кормушин [Кормушин 1984: 58] вслед за Й. Бенцингом считает южно-тунгусскую перфектную парадигму гетероклитичной, рассматривая только алломорфы на *-чи(н)* у неправильных глаголов в качестве родственных северо-тунгусским формам.

поставление двух рядов предикативных форм менее чёткое, за счет того, что в последних причастные формы (наряду с другими именами) обнаруживают способность принимать личные показатели без посредства связочного глагола. С другой стороны, некоторые из южно-тунгусских языков (нанайский, удэгейский) сохранили собственно глагольные формы прошедшего времени.

3.1. НАНАЙСКИЙ ЯЗЫК

Среди южно-тунгусских языков нанайский является наиболее консервативным в том отношении, что он сохранил оппозицию глагольных и причастных форм во всех временах (прошедшем, настоящем и будущем), в то время как в других языках глагольный индикатив в некоторых временах был утрачен. В парадигме настоящего времени эта оппозиция обнаруживает себя в противопоставлении причастия на *-ри-* и глагольной формы на *-ра(н)-*, в плане прошедшего времени – в противопоставлении причастного прошедшего на *-хан-* и глагольного прошедшего на *-ка-*.

Согласно В.А. Аврорину [Аврорин 1961: 100–101], в видо-временной системе нанайского языка причастные формы противопоставлены глагольным в модальном отношении. Причастные формы являются, по наблюдениям В.А. Аврорина, более частотными и нейтральными в модальном отношении, а потому характеризуются им как формы изъявительные [Аврорин 1961: 9]. Глагольные формы, напротив, имеют явно выраженную модальную семантику, категорически утверждая истинность пропозиции, и потому квалифицируются как формы особого "утвердительного" наклонения [Аврорин 1961: 101].

Иными словами, в системе нанайских видо-временных форм глагольные формы противопоставлены причастным как "маркированный" член (привативной) оппозиции "немаркированному". В то же время их маркированность будет различной в различных участках глагольной парадигмы. Подробное обсуждение значения и употребления форм "утвердительного" наклонения В.А. Аврориным [Аврорин 1961: 104–107] может быть обобщено в виде следующей иерархии маркированности, включающей несколько частных иерархий (см. схему 1).

Иерархии маркированности в парадигме нанайского (глагольного) индикатива

Иерархия лица: 1 > 2 > 3
 Иерархия числа: ЕД > МН
 Иерархия времен: НАСТ > ПРОШ
 <------частотность
 -----> эмфаза

Схема 1.

Как явствует из схемы 1, формы 1-х лиц являются наименее маркированными в системе нанайских глагольных форм (см. Иерархия лица). Они являются наиболее употребительными и имеют наименьшую модальную окрашенность, являясь близкими синонимами их причастных эквивалентов (ср. формы настоящего времени в (6)). Глагольные формы 3-х л., напротив, в высшей степени маркированы и преимущественно ограничены эмфатическими контекстами, такими, как в (7б).

- | | |
|--|---|
| (6) а. <i>Ми ун-ди-и</i>
я.ИМ сказать–ПРЕЗ.ПРИЧ–
1ЕД
"Я говорю" | б. <i>Ми ун-дэм. би</i>
я.ИМ сказать–НАСТ.1ЕД
"Я (же) говорю" |
| (7) а. <i>Нёани ун-ди-ни</i>
он.ИМ сказать–ПРЕЗ.ПРИЧ–
1ЕД
"Он(а) говорит" | б. <i>Хай эрдэнгэ-вэ-ни бара?!</i>
что интересный–ВИН–ЗЕД найти.
НАСТ.ЗЕД
"Что интересного он там нашел?!" |

Сходные противопоставления обнаруживаются и в плане прошедшего времени с поправкой на то, что глагольные формы прошедшего, в целом, менее употребительны по сравнению с глагольными формами настоящего (ср. Иерархия времен на схеме 1). В особенности это относится к формам 3-х л. см. (9б), которые, по свидетельству самого В.А. Аврорина [Аврорин 1961: 107], были первоначально выявлены при помощи информантов. Таким образом, в нанайском перфектное причастие выступает в функции немаркированного прошедшего (претерита), а глагольное прошедшее является маркированным.

- | | |
|---|---|
| (8) а. <i>Ми ун-ким.би</i>
я.ИМ сказать–ПЕРФ.ПРИЧ.–
1ЕД
"Я сказал". | б. <i>Ми ун-кэ-и</i>
я.ИМ сказать–ПРОШ–1ЕД
"Я (же) сказал". |
| (9) а. <i>Нёани ун-ки-ни</i>
он(а).ИМ сказать–ПЕРФ.ПРИЧ.–
3ЕД
"Он(а) сказал(а)". | б. <i>Эси=лэ до-си элэ-кэ=тэни?!
сейчас=ЧАСТ душа–2ЕД напол-
ниться–ПРОШ. 3ЕД=ЧАСТ
"Ну теперь твоя душа довольна?!"</i> |

В семантическом отношении нанайские глагольные формы отличает от индикативных форм (причастного индикатива в нанайском языке и немаркированного индикатива в других языках) то, что они в большей степени предполагают истинность утверждаемого суждения. Так, нанайские глагольные формы, в отличие от причастных, не могут комбинироваться с показателями гипотетичности типа *бидерэ* 'возможно' (Л.Ж. Заксор, устное сообщение). Показательна также семантика форм "утвердительного" наклонения, употребляющихся в составе вопросительных высказываний. Как видно из вышеприведенных примеров (см. (9б)), иллокутивной функцией (обще)вопросительных предложений является риторический вопрос, утверждающий, а не ставящий под сомнение истинность пропозиции.

Иерархия маркированности глагольных форм (в особенности, Иерархия лица) находит подтверждение и в материалах других южно-тунгусских языков. Маркированность отдельных причастных форм также определяется этой иерархией постольку, поскольку причастные формы 3-х лиц являются наиболее употребительными и, соответственно, наименее маркированными. Показательно, что именно эти формы первыми утверждают себя в составе временной парадигмы (ср. гетероклитические парадигмы в солонском и удэгейском языках).

3.2. УЛЬЧСКИЙ ЯЗЫК

В ульчском языке, близкородственном нанайскому, противопоставление двух рядов предикативных форм ограничено формами настоящего времени, что можно связывать с действием Иерархии времен (см. схему 1), обнаруживающей себя и в нанайском языке. Судя по материалам О.П. Суника [Суник 1985], ситуация оказывается сходной с нанайским и в том отношении, что формы глагольного настоящего имеют оттенок категорического утверждения и преимущественно употребляются в формах 1-х лиц.

3.3. УДЭГЕЙСКИЙ ЯЗЫК

В отличие от ульчского, который сохранил оппозицию двух рядов предикативных форм в настоящем времени, в удэгейском языке это противопоставление ограничено планом прошедшего времени. В настоящем времени парадигма является гетероклитичной (и строится в соответствии с Иерархией лица): формы 1/2-х лиц образованы от глаголов, а формы 3-х лиц являются причастными.

Согласно автору первого грамматического очерка удэгейского языка, Е.Р. Шнейдеру [Шнейдер 1936], прошедшее 1 (причастное прошедшее) имеет значение неочевидности, а прошедшее 2 (глагольное прошедшее) используется как форма засвидетельствованности.

- | | | | |
|---------|--|----|---|
| (10) а. | <i>Нуа бу-һэ-ни</i>
он.ИМ дать–ПЕРФ.ПРИЧ–
ЗЕД
"Он (говорят) отдал". | б. | <i>Нуа бу-гэ</i>
он.ИМ дать–ПРОШ.ЗЕД
"Он (же) отдал". |
| (11) а. | <i>Би бу-һ-э-ми</i>
я.ИМ дать–ПЕРФ.ПРИЧ–1ЕД
"Я отдал". | б. | <i>Би бу-гэ-и</i>
я.ИМ дать–ПРОШ–1ЕД
"Я (же) отдал". |

Тем не менее, различия в описании соответствующих нанайских и удэгейских видо-временных форм кажутся отчасти терминологическими. Во-первых, как отмечает сам Е.Р. Шнейдер, причастное прошедшее, вопреки ожиданиям, способно употребляться в формах 1-х лиц, а соответствующие формы 1-го л. глагольного прошедшего имеют оттенок эмфатического утверждения и употребляются, когда "говорящий хочет подчеркнуть факт совершения (или несовершения) им действия" [Шнейдер 1936: 118–119].

Во-вторых, по наблюдениям А.Х. Гирфановой [Гирфанова 1988: 10, 14] причастное прошедшее используется в качестве повествовательной формы чаще глагольного, а в диаголах может употребляться и при описании событий, засвидетельствованных говорящим. Итак, перфектное причастие в удэгейском языке, как и в нанайском, является немаркированным членом временной парадигмы.

Другими значениями форм прошедшего времени являются следующие (см. [Гирфанова 1988: 10, 13]): обе формы могут быть употреблены в общефактическом значении, причастное прошедшее используется также в значении перфекта, а глагольное прошедшее – в функции имперфекта.

3.4. ДРУГИЕ ЮЖНО-ТУНГУССКИЕ ЯЗЫКИ

В других южно-тунгусских языках – орокском и, по всей вероятности, ороческом – ряд глагольных времен был полностью замещен причастными формами новой формации.

3.5. ВЫВОДЫ: ЭВОЛЮЦИЯ ВИДО-ВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ В ЮЖНО-ТУНГУССКИХ ЯЗЫКАХ

Соотношение двух рядов предикативных форм – глагольных и причастных – в южно-тунгусских языках в обобщенном виде представлено в следующей таблице:

	настоящее		прошедшее	
	глагольная	причастная	глагольная	причастная
нанайский	+(утверд.)	+(индик.)	+(утверд.)	+(индик.)
ульчский	+(утверд.)	+(индик.)	–	+
удэгейский	(+)(1, 2 л.)	(+)(3-е л.)	+(засвид.)	+(пересказ.– индик.)
орочский	?	+	?	+
орокский	–	+	–	+

Предполагается, что эволюция южно-тунгусского перфектного причастия (и сопутствующая ей эволюция глагольного прошедшего) проходила таким образом, как это представлено на схеме 2.

Эволюция видо-временной системы (пр.вр) в южно-тунгусских языках

1-й этап (РЕЗ)	>	2-й этап ПЕРФ/Незасвид	>	3-й этап Претерит	>	4-й этап ПРОШедшее
ПРОШедшее	>	Имперф/Засвид	>	Утверд.	>	Ø
		удэгейский		нанайский		орокский

Схема 2.

Итак, общее направление эволюции видо-временной системы определяется постепенным вытеснением собственно глагольных форм формами причастными. Причем если первые в ходе этой эволюции подвергаются грамматикализации, то вторые, наоборот, специализации. Таким образом, появление модальных значений у глагольных форм представляет собой достаточно позднее явление, обусловленное превращением форм из немаркированного члена оппозиции в маркированный (а не представляет собой реликт исходного значения, как полагал Й. Бенцинг [Benzing 1955: 141], квалифицируя форму на *-ка-* как древний плюсквамперфект). Как видно из схемы 2, отдельные южно-тунгусские языки соотносятся с различными этапами эволюции видо-временной системы. При том, что первая стадия не представлена современным состоянием южно-тунгусских языков, удэгейский язык представляет собой наибольшее приближение к второму этапу, характеризующемуся оппозицией перфекта со значением неочевидности и имперфекта со значением засвидетельствованности. Третий этап с противопоставлением причастного претерита (немаркированного прошедшего) и прошедшего "утвердительного" представлен в нанайском языке. Наконец, четвертый этап с утратой собственно глагольных форм прошедшего времени в результате экспансии причастного перфекта наблюдается в орокском (и ороцком).

Как явствует из предыдущего обсуждения, различия в семантическом статусе оппозиций в отдельных южно-тунгусских языках носят отчасти терминологический характер. С одной стороны, причастное прошедшее в удэгейском языке не является прототипической формой прошедшего неочевидного, поскольку обнаруживает развитие в форму немаркированного прошедшего. Соответственно, соотносительная глагольная форма прошедшего засвидетельствованного является маркированной и тем самым близка к (эмфатическому) аффирмативу. С другой стороны, нанайский (а также ульчский) аффирматив сохраняет близость к формам засвидетельствованности, поскольку обнаруживает преобладание форм 1-х лиц. Иначе говоря, я рассматриваю преобладание форм 1-х лиц у нанайского аффирматива как пережиток эвиденциальной системы¹¹, которая, в отличие от аффирмативной, обнаруживает явную корреляцию с категорией лица. Итак, видо-временные системы в удэгейском и нанайском обнаруживают переходный характер: удэгейская форма засвидетельствованного прошедшего развила некоторые аффирмативные оттенки, а нанайское "утвердительное наклонение" сохраняет определенные признаки эвиденциальной формы.

4. ТУНГУССКИЕ ЯЗЫКИ И МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

В заключение рассмотрим тунгусские данные в связи с некоторыми гипотезами о путях функциональной эволюции, предложенными в работе [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994]. Как следует из вышеизложенного, данные тунгусских языков, в целом¹²,

¹¹ В.А. Аврорин [Аврорин 1961: 106] объяснял ограниченную употребительность форм 3-х лиц настоящего времени их совпадением с формами разновременного деепричастия на *-ра*. Это, однако, не объясняет маргинальность форм 3-го л. прошедшего времени, которые не обнаруживают подобной омонимии.

¹² Сказанное справедливо и по отношению к маньчжурскому языку, где формы прошедшего времени на *-ха.би*, *-мби.ха*, *-мби.ха.би* генетически связаны с показателем южно-тунгусского перфекта на *-ха(н)*.

подтверждают универсальность эволюционного пути, ведущего от результата к (акциональному и эвиденциальному) перфекту и далее к форме (немаркированного) прошедшего, который Д. Байби, Р. Пэркинс и В. Пальюка предлагают считать одной из универсалий семантического развития. Примечательно, что в южно-тунгусских языках эта эволюция сопровождается процессом постепенного вытеснения "старого" индикатива в формы засвидетельствованности и далее в формы категорического утверждения, который хуже документирован в типологической литературе. Таким образом, в целом, сценарий появления и утраты эвиденциального значения у тунгусских перфектных форм косвенным образом подтверждает и более общую гипотезу, предложенную в [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994], относительно однонаправленности в развитии граммем (противоположный путь развития, ведущий от претеритального значения к перфектному, или от перфекта к результату, представляется маловероятным).

Возникает вопрос о механизмах семантических изменений, сопровождающих эволюцию перфектной формы. Подобная эволюция перфекта в типологической литературе обычно рассматривается как следствие грамматикализации, что приводит к обеднению семантики перфектной формы и обобщению ее значения (ср. работы [Traugott, König 1991; Bybee, Perkins, Pagliuca 1994], посвященные механизмам языковых изменений в ходе процессов грамматикализации). Второй, во многом противоположный, процесс, который приводит к специализации значения формы, насколько мне известно, не рассматривался в типологической литературе. Как представляется, процесс развития у "старого" индикатива значения категорического утверждения можно описать как "конвенционализацию" (т.е. придание статуса компонента значения) изначально прагматическому компоненту. Как известно, индикативные формы часто (хотя, разумеется, не всегда) используются с иллокутивной функцией утверждения (истинности) пропозиции Р. Компонент 'Я знаю, что Р' входит в условие успешности (точнее – в условие искренности, по Г.П. Грайсу) речевого акта утверждения. Вместе с тем он, очевидно, не составляет часть значения индикативных форм, поскольку последние свободно употребляются в контексте вопроса, предположения и т.д. В ходе эволюции южно-тунгусских индикативных форм этот прагматический компонент становится частью их грамматического значения. В этом отношении их семантическое развитие напоминает "конвенционализацию имплицатур" (conventionalization of implicatures), которую в работе [Traugott, König 1991] предлагается считать одним из механизмов функциональной эволюции (ср. [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994]). Э. Траугот и Э. Кёниг иллюстрируют действие этого механизма на примере эволюции временных союзов, которые в разноструктурных языках обнаруживают тенденцию развивать значение обусловленности (причинное у союзов со значением предшествования и уступительное у союзов со значением одновременности; ср. например, англ. *since* и *while*). Предполагается, что на более ранних этапах языкового развития эти значения обусловленности представляли собой правдоподобные умозаключения, извлекаемые слушающим из употребления временных союзов в определенных контекстах. Наши материалы показывают, что возможны и другие случаи функциональной эволюции за счет превращения прагматических компонентов значения в семантические. Необходимы дальнейшие типологические исследования для того, чтобы установить, в какой степени развитие значения засвидетельствованности и аффирмативного значения у индикативных форм по мере повышения их маркированности представляет собой универсальную тенденцию, а в какой зависит от сопутствующей семантической эволюции перфектной формы¹³. Тем не менее, очевидно, что развитие у "старого"

¹³ Примечательно, что в балкано-славянских языках наблюдается во многом сходная перестройка видо-временной системы. Перфектная форма причастного происхождения развивает значение прошедшего неопределенного (незасвидетельствованного) и эволюционирует в немаркированное прошедшее, а глагольное "прошедшее определенное" развивает значение засвидетельствованности и аффирмативности. По свидетельству В. Фридмана [Friedman 1986] прошедшее определенное не может употребляться в "антиаффирмативных" контекстах (типа 'я сомневаюсь, что...').

глагольного индикатива в южно-тунгусских языках аффирмативного значения не может рассматриваться как следствие эволюции перфекта, поскольку это развитие не ограничивается планом прошедших времен (ср. эволюцию настоящего аффирмативного в нанайском и ульчском языках).

В отличие от гипотезы об однонаправленности функциональной эволюции, другая из предложенных в работе [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994] гипотез – гипотеза "субстанциональной детерминированности" – представляется более спорной. Гипотеза "субстанциональной детерминированности", по существу, предсказывает, что граммема X (в составе конструкции Y) будет следовать данному пути функциональной эволюции вне зависимости от структуры грамматической категории, которая их интегрирует. Так, согласно этой гипотезе комбинация глаголов движения с показателями приближения (ср. англ. (*is*) *going to*) при грамматикализации всегда эволюционирует в показатель будущего времени вне зависимости от наличия/состава специализированных форм будущего во временной парадигме. Представляется, что данная гипотеза несколько упрощает факты. Как показывают материалы тунгусских языков (эвенского, а также южно-тунгусских), одним из основных факторов, способствующих развитию эвиденциального значения у перфектной формы, является наличие еще одной формы прошедшего времени в составе видо-временной парадигмы. Собственно говоря, подобные примеры встречаются и в материалах, обсуждаемых в [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994]. Так, сами авторы указывают, что эволюция перфекта в форму прошедшего совершенного (ср. форму *Passé Composé* во французском) или в форму немаркированного прошедшего (как, например, в немецком) зависит от наличия имперфекта в видо-временной системе. Вообще говоря, можно предположить, что во всех случаях, когда эволюционные пути грамем "ветвятся", выбор пути зависит в конечном счете от структуры грамматической категории, которые интегрируют эти грамемы. Иными словами, по-видимому, "субстанциональный" подход к семантической эволюции, исходящий из значения исходной формы/конструкции, и структурный подход, апеллирующий к системным связям грамемы в составе данной грамматической категории, являются взаимодополнительными (ср. [Johanson 1998]).

Наконец, несколько односторонними кажутся и представления авторов о движущей силе подобной семантической эволюции. В отличие от Д. Байби, Р. Пэркинса и В. Пальюка [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994], которые во всех случаях эволюции видят спонтанное развитие, обусловленное универсальными механизмами семантических изменений (путем метафорического переноса, семантического обобщения и т.д.), эволюция тунгусского результата мне представляется побочным продуктом более общего процесса замещения глагольных форм формами именного происхождения с их последующим оглаголиванием¹⁴. В ходе эволюции результатив все более вербализуется через стадию перфекта со значением неочевидности, а изначально индикативная форма вытесняется из употребления. Как кажется, современные исследования перфекта-результатива в типологическом и функционально-диахроническом (ср., соответственно, [В. Недялков и Яхонтов 1983] и [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994]) аспектах недостаточно учитывают изменения в грамматическом статусе результативных форм, сопутствующие этой эволюции. Между тем материал тунгусских языков показывает, что эти изменения в семантике результатаива вызваны акциональной реинтерпретацией изначально атрибутивных и, следовательно, стативных форм.

¹⁴ Этот процесс, разумеется, не ограничивается тунгусскими языками. Как и развитие эвиденциального значения у перфекта, он является одной из Евразийских изоглосс и представлен в других "алтайских" (тюркских, монгольских), а также в палеоазиатских языках: чукотско-камчатских (ср., напр., чукотские формы настоящего 2 и прошедшего 2 причастного происхождения), нивхском (ср. предикативную форму на -*ɔ* именного происхождения), юкагирском (ср. отрицательную форму непереходного глагола на -*й(э)* и глагольное имя на -*л*, используемое в качестве нерематических предикатов). В эскимосско-алеутских языках этот процесс привел к почти полному неразличению имен и глаголов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аврорин В.А. 1961 – Грамматика нанайского языка. 2. М.; Л., 1961.
- Болдырев Б.В. 1987 – Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских языках. Новосибирск, 1987.
- Василевич Г.М. 1948 – Очерки диалектов эвенкийского языка. Л., 1948.
- Гирфанова А.Х. 1988 – Индикативные формы глагола в удэгейском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1988.
- Горелова Л.М. 1979 – Категория вида в эвенкийском языке. Новосибирск, 1979.
- Дуткин Х.И. 1980 – Умчэгын // Вопросы языка и фольклора народностей севера. Якутск, 1980.
- Козинцева Н.А. 1994 – Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // ВЯ. 1994. № 3.
- Константинова О.А. 1964 – Эвенкийский язык. М.; Л., 1964.
- Кормушин И.В. 1984 – Системы времен глагола в алтайских языках. М., 1984.
- Лебедев В.Д. 1978 – Язык эвенов Якутии. Л., 1978.
- Маслов Ю.С. 1983 – Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций. Л., 1983.
- Недялков В.П., Яхонтов С.Е. 1983 – Типология результативных конструкций // Типология результативных конструкций. Л., 1983.
- Недялков И.В., Недялков В.П. 1983 – Статив, результатив, пассив и перфект в эвенкийском языке // Типология результативных конструкций. Л., 1983.
- Недялков И.В. 1992 – Залог, вид, время в тунгусо-маньчжурских языках. Дисс. ... докт. филол. наук. СПб., 1992.
- Новикова К.А. 1980 – Очерки диалектов эвенского языка. Ольский говор. Ч. 2. Л., 1980.
- Роббек В.А. 1982 – Виды глагола в эвенском языке. Л., 1982.
- Романова А.В., Мыреева А.Н. 1962 – Очерки токкинского и томмотского говоров эвенкийского языка. М.; Л., 1962.
- Романова А.В., Мыреева А.Н. 1964 – Очерки учурского, майского, и тоттинского говоров эвенкийского языка. М.; Л., 1964.
- Суник О.П. 1962 – Глагол в тунгусо-маньчжурских языках. Л., 1962.
- Суник О.П. 1985 – Ульчский язык: исследования и материалы. Л., 1985.
- Холодович А.А. 1974 – Miscellanea marginaliaque // Типология пассивных конструкций: диатезы и залогов. Л., 1974.
- Храковский В.С. 1974 – Пассивные конструкции // Типология пассивных конструкций: диатезы и залогов. Л., 1974.
- Цинциус В.И. 1949 – Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1949.
- Цинциус В.И. 1982 – Негидальский язык. Л., 1982.
- Шнейдер Е.Р. 1936 – Краткий удэгейско-русский словарь. С приложением грамматического справочника. М.; Л., 1936.
- Щербак А.М. 1981 – Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (глагол). Л., 1981.
- ЯГ 1982 – Грамматика современного якутского языка. М., 1982.
- Benzing J. 1955 – Die tungusische Sprachen. Versuch einer vergleichenden Grammatik // Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Wiesbaden, 1955. № 11.
- Bybee J., Perkins R., Pagliuca W. 1994 – The evolution of grammar. Chicago, 1994.
- Chafe W., Nichols J. (eds.) 1986 – Evidentiality: the coding of epistemology in language. Norwood, N.J., 1986.
- Comrie B. 1976 – Aspect. Cambridge, 1976.
- Comrie B. 1981 – Aspect and voice: some reflexions on perfect and passive // Tense and aspect. Syntax and semantics, 14. New York, 1981.
- Dörfner G. 1978 – Classification problems of Tungus // Tungusica. V. 1. Wiesbaden, 1978.
- Friedman V. 1986 – Evidentiality in the Balkans: Bulgarian, Macedonian and Albanian // Chafe W., Nichols J. (eds.) Evidentiality: the coding of epistemology in language. Norwood, N.J., 1986.
- Johanson L. 1998 – Viewpoint operators in European languages // Ö. Dahl (ed.) Tense and aspect in the languages of Europe. Berlin, 1998.
- Traugott E.C., König E. 1991 – The semantics-pragmatics of grammaticalization revisited // E.C. Traugott, B. Heine (eds.) Approaches to grammaticalization. V. 1. Amsterdam / Philadelphia, 1991.
- Willet Th. 1988 – A cross-linguistic survey of the grammaticalization of evidentiality // Studés in Language. 1988. V. 12. № 1.

© 1999 г. Э.А. УМАРОВ

**НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЛАСНЫХ
В «ДИВАНУ ЛУҒАТ-ИТ ТУРК»**

Перед Махмудом Кашгарским, одним из основоположников научной тюркологии, стояла трудная задача передачи гласных современного ему тюркского языка. Три краткие графемы «фатха», «каса», «замма» и три долгие «алиф», «вāv», «йāй» арабского языка не передавали всю гамму количества и качества гласных тюркского языка. Для того чтобы решить эту задачу, Махмуд Кашгарский сделал попытку приспособить правила арабской орфографии к тюркскому языку. В составленном им словаре «алиф» и «фатха» обозначают *a* нормальной долготы, «вāv» и «замма» передают губные гласные *u*, *ū* нормальной долготы, «йāй» и «каса» употреблены для обозначения негубных гласных *i*, *ē* нормальной долготы. Каждая из графем используется в зависимости от позиции обозначаемого ею звука в слове. В словаре для дифференцирования качества гласных по широте-узости, долготе-краткости Махмуд Кашгарский ввёл термины «ишбāъ», «ишмām», «имāла», которые, в силу отсутствия лингвистической традиции для описания тюркских языков, был вынужден заимствовать из арабской грамматики [Боровкова 1966]. Следует подчеркнуть, что значения этих терминов учёный выводил из своеобразия тюркских языков, поэтому их значение не совпадает со значением, в котором они используются в первоисточнике.

Ишбāъ

В «Дивану луҒат-ит турк» этот термин используется для обозначения долготы гласных. В арабской традиционной грамматике данный термин обозначает превращение гласного звука в полный посредством помещения после него соответствующих букв для обозначения долготы [Боровкова 1966: 529]. Вместе с тем в словаре долгое ā Махмуд Кашгарский передает графически двойным «алифом». В нижеследующих словах, чтобы подчеркнуть долготу гласного ā, составитель употребляет термин «ишбāъ»:

أبا (55)¹ би ишбāъ-ил-алиф, ад-дуббу, би-луҒāti қифчақ...

āба – с долгим ā, по-кипчакски «медведь»...

آت (29) ал фарасу, би-ишбāъ-ил-алиф...

āt – «лошадь», с долгим ā...

Староузбекские словари подтверждают данные Махмуда Кашгарского. Вышеуказанные слова в «Бадāи-ал-луҒат» («Редкости слов») [Боровков 1961] и «Санглахе» («Каменистые места») [Sanglax 1960] даются с долгим ā. В первом словаре долгота алифа обозначается термином «алифи мамдуда» 'долгий ā', в «Санглахе» составитель словаря Мехдихан ставит над алифом знак «мадда» 'долгота'.

¹ Примеры приведены из книги: Besim Atalay. Divanü lügat-it türk, Tipkibasimi, Faksimile, Ankara, 1941. Цифра в скобках означает страницу рукописи.

В «Дивāну луғāt-ит турк» этот термин употреблен и по отношению к долгим губным гласным. Чтобы подчеркнуть долготу гласного у:, составитель словаря во втором слове употребляет термин «ишбāъ»:

تۈ (535) шийат-ал-хайли...

ту – ‘цвет, масть лошади’...

تۈ (535) бил-ишбāъ исму дақиқин йутбаҳу ѓала ҳайғат-ат-талбинат...

ту: – с долгим гласным, ‘мука из которой делают молочную похлебку’...

Современные тюркские языки подтверждают данные словаря Махмуда Кашгарского. В словаре В.В. Радлова второе слово дается с долгим гласным у: – ту: ‘просо’ [Радлов 1905: 1421]. Махмуд Кашгарский слово تۈم ‘верблюжонок’ снабжает пометой «ишбāъ». Это означает, что в этом слове первый гласный является долгим. Действительно, туркменский тۈўрим подтверждает данные составителя словаря. Как подчеркивает Т.А. Боровкова, это отмечал еще и К. Менгес. Эти примеры со всей очевидностью подтверждают, что термин «ишбāъ» Махмуд Кашгарский употреблял для обозначения долготы.

Ишмāм

Данный термин обозначает ‘огубление’. Махмуд Кашгарский употребляет его для обозначения губных гласных. Термин «ишмāм» встречается в словаре также и в форме «шимма». Эта форма встречается при описании следующих слов:

اۈد (34) ҳйа аз-замāнату би-шиммат-ил-вāви...

уд – ‘время’, вāв (т.е. у) узкий...

اتش (42) би-шимāми-алиф фил-лағби...

утуш – алиф узкий, ‘выигрыш’...

Тюркские словари, а также замечания Алишера Навои подтверждают данные Махмуда Кашгарского. Например, Алишер Навои в «Муҳāкамат-ал-луғāтайн» («Тяжба двух языков») специально подчеркивает узость гласного в слове *ут* ‘выигрывай’ [Навои 1970: 117].

В «Дивāну луғāt-ит турк» этот термин часто встречается при описании омографов. Так, в следующих парах слов составитель словаря, чтобы отличить одно слово от другого, употребляет термин «шимма»:

اۈت (34) ан-нақбу фил-жидāри-вал-хашаби би-шиммат-ил-вāв...

ўт- ‘отверстие на заборе и доске’, вāв (ў) узкий...

اۈт (34) ал-мāрарату, ақаллу шимматан...

ўт – ‘желчь’, ўже предыдущего гласного...

Махмуд Кашгарский в следующих омографах, чтобы различить полуузкие ў употребляет термин «шимма». В нижеследующих парах второй полуузкий является ўже первого:

چۈغ (499) лаҳаб-ун-нāри бағда мā сāра-ал-хатабу жамран...

чўғ – ‘блеск’, ‘жар огня’...

چۈغ (499) би-шиммати ѓайбат-ул-матāғи...

чўғ – ‘сундук для ткани’, ўже предыдущего гласного...

В другой паре составитель словаря подчеркивает узость второго полуузкого гласного:

توش (497) қубалат-аш-шаъи...

тўш- 'напротив чего-либо' ...

توش (497) ал-қассату ва ҳийа раъс-ус-садри би-шимма...

тўш – 'верхняя часть груди', ўже предыдущего гласного...

Материалы современного узбекского языка свидетельствуют, что первые члены пары этих омографов вышли из употребления.

Слова *тўш* 'грудь' [УРС 1988: 480] и *чўғ* 'раскаленные угли' [УРС 1988: 552] в современном узбекском языке произносятся с полуузким гласным.

Имāла

Данный термин в «Дивāну луғāt-ит турк» употреблен для показа широких гласных. Термин «имāла» встречается при описании омографов. Махмуд Кашгарский для различения гласных *у* от *ў*, *и* от *э* использует термин «имāла». Составитель словаря употребляет этот термин в нижеследующих парах слов, чтобы отличить полуузкий *ў* от узкого *у* во втором слове:

تول (501) урағут, ал-армалату...

тул – 'вдова'...

تول (501) бил-имāлати, вақт-ун-нитāж...

тўл – с полуузким гласным, 'время приплода'...

В следующих парах в первом слове употреблен гласный *и*, во втором полуузкий *э*:

كيش (498) ас-саммуру ва йуқалу лизанабиҳи...

киш – 'соболь'...

كيش (498) ал-кинанату бил-имāла...

кэш – 'колчан', с полуузким гласным...

То, что термин «имāла» означает полуузкий гласный, подтверждают материалы современных языков. Например слово *тўл* 'окот' [УРС 1988: 475] в диалектах узбекского языка употребляется с полуузким гласным. Древнетюркский *кеş* 'колчан' [ДТС 1969: 303] также подтверждает, что «имāла» означает широкий гласный.

Как следует из рассмотренного материала, Махмуд Кашгарский к трем графемам арабского языка: «алиф», «вāв», «йāй» и трем характеристам «фатха», «замма», «касра» подошел творчески и использовал их для обозначения гласных нормальной долготы. Эти графемы, используясь в комбинациях со специальными терминами, точно отражали качество гласных. Материалы староузбекских словарей, а также «Дивāну луғāt-ит турк» свидетельствуют, что гласные тюркского языка классифицировались по широкости–узости и по долготе–краткости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Боровков А.К. 1961 – Бадāн ал луғāt. Словарь Тāли Имāни Гератского. М., 1961.
Боровкова Т.А. 1966 – О фонетической терминологии в словаре Махмуда Кашгарского «Дивāну луғāt-ит турк» // ИАН СЛЯ. 1966. Т. XXV. Вып. 6.
ДТС 1969 – Древнетюркский словарь. Л., 1969.
Навои 1970 – Алишер Навои. Сочинения в десяти томах. Т. X. Ташкент, 1970.
Радлов В.В. 1905 – Опыт словаря тюркских наречий. Т. 3. Часть 2. СПб., 1905.
УРС 1988 – Узбекско-русский словарь. Ташкент, 1988.
Sanglax 1960 – Sanglax. A Persian Guide to the Turkish Language by Muhammad Mahdi Xan / Facsimile Text with an Introduction and Indices by Sir Gerard Clauson. London, 1960.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

V. Blanár. Teória vlastného mena. Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii. Veda, vydavateľstvo slovenskej Akadémie Vied. Bratislava, 1996. 250 S.

Когда в конце XVIII в. в России начиналась работа над первым академическим словарем русского языка (Словарь Академии российской. СПб, ч. 1–6; 1789–1794), встал вопрос, что делать с собственными именами. В количественном отношении они превышали число имен нарицательных и, в случае включения в словарь, подавили бы основную лексику. Было решено: имена в словарь не включать, но издать их отдельным томом. Последнее так и не было осуществлено. В результате сложилась традиция: имена собственные не лексикографировать. Тем не менее русские филологи неоднократно обращались к помощи собственных имен как неоспоримых свидетелей различных языковых состояний (А.Х. Востоков, Н.И. Надеждин, В.В. Григорьев, А.А. Шахматов и др.).

На Западе, наоборот, имена собственные издавна включались в словари как важная составляющая часть лексики. При омонимии имени нарицательного и собственного в толковании слова последним показывалось его использование в качестве имени. Но серьезных теоретических работ в этой области было немного.

В обоих случаях неравномерность сложившейся ситуации мешала дальнейшим работам в области апеллятивной и проприальной лексики. Преодолением этих отставаний и специальной разработкой ономастической проблематики в России и за рубежом занялись исследователи, пришедшие в науку в 50-е – 90-е годы XX в. Среди них был В. Бланар.

В 1945 г. В. Бланар защитил диссертацию «Osobné mená. K základom semiologickej onomastiky» (не опубликована). Его первая пе-

чатная работа посвящена орфографии собственных имен. В рецензируемой монографии он подводит итоги не только своей пятидесятилетней деятельности, но и трудам многих европейских ученых, включая сотруddников Группы ономастических исследований Института языкознания РАН, работы которых постоянно цитирует. Как отмечает сам В. Бланар, итоги теоретической ономастики за первую половину XX в., были подведены А.Х. Гардинером [Gardiner 1940].

Рецензируемая книга состоит из 13 глав, неравномерных по объему и содержанию, и большого введения. Ввиду того, что главы разнонаправлены, в нижеследующем изложении их содержания приходится отдельно рассматривать каждую главу.

Во Введении автор отмечает, что до сих пор не существует общепризнанной теории имен собственных, а сами они неизменно вызывают споры лингвистов, филологов, логиков, семиотиков, социологов, а в новейшее время – программистов. Он дает краткий обзор своих предыдущих работ, отмечая, что данная работа ведется в семиотическом, а также функциональном и структурном аспектах. Имя собственное для него – дифференцирующий/идентифицирующий знак, при этом его доминантная семантическая функция – дифференцирование [с. 9]. Значение имени собственного – это его отношение к именуемому объекту. Оно устанавливается в акте номинации. Таким образом, значение имен не является априорной данностью для лиц, говорящих на том или ином языке: они сами придают именам индивидуальные значения (с. 10).

Для понимания характера имен собствен-

ных автор считает принципиально важным следующее:

– Имена собственные являются языковой универсалией;

– Они составляют существенную часть лексики каждого языка;

– Имена собственные, подобно именам нарицательным, входят в систему национального языка;

– Одна из их особенностей – постоянное взаимодействие с именами нарицательными.

Имена собственные как языковые знаки *sui generis* представляют особый случай номинации. Они выделяются из апеллятивной лексики как самостоятельная часть словарного состава, стремящаяся к поляризации. Имена – это именованья вторичного уровня. Первичный уровень составляют апеллятивы (с. 11–12).

В главе 1 «Комплексный подход к проблематике имени собственного» В. Бланар отмечает, что язык изучается не только «в себе» и «для себя», но и в связи с обществом и его культурой. Особенно это относится к именам собственным, включающимся в общественную коммуникацию.

У апеллятивной и проприальной номинации разные цели. При онимической номинации лексема часто имеет изначальное апеллятивное значение и получает индивидуальные содержательные и формальные признаки. Специфические цели, с которыми присваивается имя, влияют на содержательную и формальную стороны онимического знака. Для выяснения того, как это все происходит, необходим комплексный подход к изучению способов онимической номинации, положения имени собственного в соответствующей онимической подсистеме и его роли в языковой коммуникации. Этот комплексный подход направлен от именуемого объекта через его специфическое ономастическое осмысление и языковое оформление к использованию в общественной коммуникации (с. 15–16).

В главе 2 «Функциональная обусловленность семантического противопоставления "имя нарицательное: имя собственное"» автор считает это противопоставление семантическим, показывая, что апеллятив является немаркированным членом этого противопоставления, а имя собственное – маркированным. Термин *имя собственное* В. Бланар относит к способу его функционирования. У имен собственных есть функции, общие с именами нарицательными, и есть особые проприальные функции.

Общие функции для имен собственных и нарицательных: номинативная (назывная),

коммуникативная (*Мартин пришел*), звательная (*Ганка, вернись!*), экспрессивная (*Яничек!*), деиктическая (*Это – Кривань*). К специфическим ономастическим функциям В. Бланар относит идентификацию именуемого объекта и установление административно-правового режима имен (с. 17). Специфическую топонимическую функцию составляет указание на объект. Хотя всё ономастическое в своей основе лингвистично, цель, с которой осуществляется наименование онимического объекта, экстралингвистична (с. 18).

Форма имени для В. Бланара – это способ упорядочения содержания. Функция обычно проявляется благодаря известному содержанию и форме. Функция организует систему и составляющие ее качественные и количественные элементы так, чтобы они развивались в едином направлении. Функциональный принцип служит основой онимической номинации, дифференциации и идентификации. В этом В. Бланар следует за Р. Шрамком [Šrámek 1995: 18].

В главе 3 «Собственное понимание вопроса» В. Бланар отмечает, что при идентификации с помощью имени собственного происходит распознавание именуемого объекта данного класса (водный поток, населенное место, человек), который мы отличаем от прочих объектов того же класса. При онимической номинации внимание обращается на конкретный объект номинации, а не на общее понятие, как при апеллятивах. При идентификации происходит и дифференциация от прочих объектов того же класса. Кроме того, добавляется прагматический фактор – общественная значимость, необходимо именовать и дифференцировать единицы данного класса как индивидуальные самостоятельные объекты. Такую основополагающую функцию имен собственных, имеющую комплексный, интегральный характер, В. Бланар назвал «социально обусловленной идентификацией» [Blanář 1975]. Понятая таким образом идентификация имеет социолингвистический характер. В составленной В. Бланаром парадигме онимической номинации он относит ее к содержательному компоненту имени собственного уровня наивысшей абстракции (суб)категориальных признаков пропорциональности. На этом абстрактном уровне имена собственные соприкасаются с именами нарицательными и в то же время от них отличаются. На низших уровнях абстракции онимического содержания находятся смысловые компоненты имен собственных, которые значимы только внутри

имен собственных. У имен собственных обобщающий и индивидуализирующий признаки формируют ту сторону содержания, которая существенно отличается от лексического значения, т.е. от десигнации. Под десигнацией В. Бланар понимает онимическую семантику имени собственного, которая охватывает целые классы имен собственных как системные единицы данной подсистемы. На основе объединяющих и индивидуализирующих признаков он выделяет системы геонимов, антропонимов, хрематонимов. Благодаря иерархии специфических онимических признаков устанавливается онимическая ценность имени. Имя можно понять, если известно, к какой онимической системе оно относится (*Дунай* – название реки, гостиницы, кличка собаки, имя человека).

У имен собственных богата омонимия. На основе онимической семантики невозможно познать каждый детонат, т.е. идентифицировать его как единичный онимический объект A_1 , единицу класса A . Референтное отношение имени устанавливается в акте коммуникации. Объект номинации познается на основе его индивидуальных признаков и энциклопедической информации. Индивидуальные признаки составляют бесконечный ряд, но для идентификации именуемого объекта достаточно небольшого количества их. Имя собственное связано со своим денотатом не через общее (апеллятивное) понятие, а непосредственно с ним соотносено через единичное онимическое понятие, которое формируется при онимической номинации в содержательной части имени собственного. Так содержательная сторона онимического знака получает новое освещение, а на передний план выступает формально-языковая сторона. На важность звучания (формы) имен собственных обращали внимание многие исследователи. Имя собственное функционирует с помощью своей внешней формы, своего контраста с иными словами. Оно познается не разумом, а чувством в противоположность ассоциативному значению апеллятивов.

Означающая часть онимического знака играет особую роль в формировании знакового значения имени собственного. Особенность означающей части онимического знака заключается в том, что она не только выражает некоторое значение, но и является фактором, создающим значение. Имя собственное – не только знак-ярлык, этикетка онимического объекта, но оно и представляет индивидуальный признак объекта (с. 23).

Глава 4 «Онимический объект и онимическая номинация» посвящена детальной классификации объектов окружающего мира. В онимической номинации участвуют многие факторы, взаимодействие которых придает ей динамический характер (с. 24). Это:

1. Онимическое пространство, образованное реально существующими и вымышленными объектами;

2. Отношение именуемого коллектива к онимическим объектам;

3. Речевые ситуации, в которых осуществляется наименование;

4. Отношение лиц, пользующихся именами, к их звучанию;

5. Асимметрический дуализм онимического знака (одной лексемой называют многие единицы того же класса – полионимия, – равно как и единицы других классов – онимическая омонимия). Один объект может называться разными именами – онимическая синонимия (с. 25).

В. Бланар выделяет три основные категории онимических объектов, которым соответствует три типа имен:

1. Бионимы – имена живых существ;

2. Геонимы – имена объектов на поверхности земли;

3. Хрематонимы – имена объектов, созданных человеком и не привязанных к месту. В отличие от них топонимы (как разряд геонимов) привязаны к месту, а их территориальное распределение составляет топонимический контекст (ссылка на Ю.А. Карпенко). Геонимы составляют континуум объектов и их имен (с. 26). Хрематонимы связаны с производственной и культурной деятельностью человека.

Мотивация имени собственного осуществляется путем выбора признака, который кладется в основу номинации, а лексико-семантическая сторона слов, обозначающих тот или иной признак, определяет характер лексем и словообразовательную структуру имен собственных при их языковом оформлении. Например, названия водных объектов, мотивированные низкой температурой воды, приобретают в словацком языке следующий вид: *Studený potok, Studená voda, Studenec, Studenčák, Lednica, Chladnica* (с. 27).

В главе 5 «Имя собственное как единство общего, единичного и особенного (специфического)» В. Бланар говорит о внутреннем единстве этих признаков в имени собственном.

Категория общего имеет принципиальное значение для теории имени собственного, а также для понимания сущности имени.

В. Бланар определяет имя собственное как семиологическую единицу, как онимический знак определенной семиологической подсистемы, который создается на фоне и при непрерывном взаимодействии с соответствующей языковой системой. Многие имена поляризуются по отношению к апеллятивной лексике как особая номинативная категория. Общие принципы именования, которые создают содержательную и формальную стороны онимического знака, В. Бланар назвал онимической моделью.

Кроме того, у каждого имени есть внутренне присущее ему указание на общий класс онимических объектов, с которым оно соотносено (с. 33) (населенное место, государство, человек) – ближайший род, не зная которого, нельзя узнать онимическую семантику и определить онимическую значимость (ценность) имени собственного.

Индивидуальные (единичные) признаки имени собственного составляют иерархически низшую ступень абстракции взаимоотношений языковых знаков. Именно признаком индивидуальности имя собственное отличается от апеллятива. В той же самой коммуникативной ситуации не каждый предмет, относящийся к определенному классу, можно назвать тем же именем. Так проявляется единство общего и единичного (с. 34). С помощью онимического содержания и языковой формы имени в более или менее ограниченном социуме функционируют как конкретные онимические знаки. Их репертуар в индивидуальном ведении коммуникантов не совпадает. Не совпадает и их понятийное содержание. К характерным признакам имени собственного относится и единичность каждого акта номинации.

На специфических признаках имени собственного основано противопоставление имен собственных и нарицательных (с. 35).

В главе 6 «Сравнительный анализ некоторых примеров с точки зрения лексической и онимической семантики» автор показывает, что обозначение того же объекта с помощью имен нарицательных и собственных имеет ряд общих и отличительных черт. Имена собственные связаны с категорией субстантива формально и содержательно (с. 38).

У имен собственных и нарицательных общие категориальные признаки: обозначение самостоятельно (отдельно) существующей вещи, субстантивность, конкретность, в ряде случаев – указание на одушевленность и пол. В словообразовании и склонении имеются расхождения (с. 39).

Основные расхождения между содержательной стороной апеллятива и имени

собственного наблюдаются на низшей ступени абстракции, ср. прилагательное *krivý* и фамилию *Krivý*. Прилагательное *krivý* входит в ряд обозначений правильной – неправильной формы: *rovný* – *krivý*. Негативный член оппозиции означает неправильную форму. Семантическую структуру полисемантического слова *krivý* в словацком языке образуют семы: 1. 'неровный, выгнутый'; 2. 'хромой, прихрамывающий'; 3. 'фальшивый, неправдивый'.

Становясь фамилией, эта лексема субстантивизируется и входит в словообразовательный ряд: *Kriváček, Krivačka, Kriván, Krivánek* и т.д. Отходя от признака кризиса, фамилия реализует проприальную семантику – вхождение в ряд фамилий с основой *krivý* (с. 40). Фамилия выходит на другой уровень онимического содержания проприального знака по сравнению с апеллятивом.

При первичном именовании прозвищем *Krivý* имела место мотивация лексическим значением. Когда это стало именем всей семьи, а затем – наследуемой фамилией, первичные мотивационные признаки утратили свое значение. На уровне системы обнаруживается различие между содержательной стороной проприального и непроприального знака. Различия обнаруживаются и на уровне речи, поскольку именуется другая вещь.

Между лексическим и онимическим содержанием имеется аналогия, заключающаяся в том, что гносеологически-логические элементы широкого спектра, которые не интегрируются в лексическое значение, принадлежат содержательному понятию. В именах собственных конституируются десигнационные признаки, релевантные в данной онимической системе, и индивидуальные, не создающие системы, принадлежащие к сфере содержательных элементов проприального понятия (с. 41).

В главе 7 «Между апеллятивом и именем собственным» В. Бланар утверждает, что между апеллятивной и проприальной лексикой наблюдаются постоянные переходы. Исходным материалом для многих имен являются апеллятивы, преимущественно субстантивы, и многие имена могут перейти в апеллятивную лексику. Отсутствие четких границ между именами нарицательными и собственными подтверждается процессами онимизации и апеллятивации (с. 42).

По мнению В. Бланара, существуют значительные группы слов, обладающих признаками апеллятива и проприатива. Он считает, что ядро онимии составляют сложней-

шим образом структурированные системы с развитой десигнацией и богатым словообразованием, а по краям располагаются амбимодальные имена (названия обществ, организаций, предприятий, факультетов, институтов, школ, мероприятий, соревнований и т.д.), которые мотивированы лексическим значением их компонентов и идентифицируют единичные объекты определенного ряда как их официальные названия. Они тесно связаны со свойствами именуемых объектов (*Университет им. Шафарика в Кошицах*) (с. 43).

Такие названия В. Бланар относит к хремотонимам, считая их наименее гомогенными по отношению к категориям имен собственных и нарицательных как названия вещей, связанных с экономическими, культурными, политическими отношениями в обществе и не «привязанными» к месту (46). Бланар различает две группы хремотонимов: серийные названия (товарные знаки, обозначения моделей, типов) и названия единичных, уникальных предметов, считая, что в таких случаях мы имеем дело с серийной и уникальной единичностью: экспресс *«Шопен»*, бриллиант *«Шах»*. Спорна квалификация этнонимов и имен жителей по месту проживания, обладающих свойствами нарицательных и собственных имен (с. 47).

Р. Шрачек [Šrámek 1981 : 508] усматривает связь общего и частного в названиях серий (самолет *«Туполев»*) и отдельных членов этого ряда (один из этих самолетов называется *«Прага»*). Названия жителей по месту обитания он сближает с именами людей на том основании, что название *чех* или *пражанин* можно заменить именем конкретного человека. Но при названиях жителей и при этнонимах отсутствует акт единичного наименования: они образуются по правилам данной языковой системы. Омнимичные им фамилии (*Чех*) отличаются от них семантически. Важным отличительным моментом является то, что названия жителей и этнонимы, подобно прочим апеллятивам, могут употребляться как родовые названия в единственном и множественном числе: *Чехи могут гордиться своей страной; Чех может гордиться своей страной*. Если *Чех* – фамилия, она находится вне этой оппозиции. Кроме того, *чех* как этноним входит в ряд: *чех – Чехия – чешский*, в котором для фамилии нет места. (49).

Я. Горецкий [Horecký 1994: 76] выделяет три типа названий учреждений: 1) исполь-

зующие существующие слова (*Салон Люция*), 2) Сокращения (*Словнафт*), 3) Специально придуманные новообразования (*Интеркомп*). Он называет их л о г о н и м а м и (ср. *логос* в научном понимании) и выделяет *логономастику* как одну из ономастических дисциплин (с. 49).

В. Бланар названия жителей по месту, этнонимы и названия учреждений типа педагогический институт из числа собственных имен исключает (с. 50). На основе поведения имени в контексте он обозначает три основных их свойства: 1. Имя собственное всегда определено, поэтому его нельзя ограничить каким-нибудь одним предложением; 2. В имени собственном не реализуется противопоставление единственного – множественного числа: оно нейтрализуется; 3. При именах собственных нерелевантно употребление детерминативов: оно также нейтрализуется (с. 51).

В главе 8 «Об онимической семантике и онимической номинации» В. Бланар пишет, что необходимо дополнить понимание значения имени собственного анализом его содержательной стороны в контексте общего типа и в специальном ономастическом контексте. По Бланару, имя собственное – это языковой знак *sui generis*, имеющий билатеральный характер, который он не утрачивает даже тогда, когда денотат неизвестен. Известность свойств референта не является условием референции. При неизвестном денотате не реализуются индивидуальные признаки, с помощью которых в данной ситуации идентифицируется онимический объект как особая единица. Знакомство с референтом однако является условием общественной коммуникации (57). Категориальное различие имени собственного и нарицательного определяется тем, что апеллятиву изначально дана независимость от ситуации в языковой компетенции участников коммуникации, а для понимания имени собственного необходимо «узнать» носителя имени, «познакомиться» с ним. Если связь с референтом не реализуется, коннотативная часть онимического значения отступает на задний план или вовсе не возникает.

Анализ имени в онимическом контексте как единицы данной онимической системы дает ключ к постижению основной специфики имени собственного. Релевантные онимические признаки лишь соотносят имя с соответствующей онимической системой и определяют его место в парадигматических отношениях. Они не характеризуют денотат, но идентифицируют его как имя

личное, фамилия, название реки и т.д. Онимические признаки образуют другую сторону онимического содержания, собственно онимическую семантику (десигнацию) (58). Тогда онимическое содержание состоит из двух частей: индивидуальных признаков информационно-энциклопедического характера и из десигнации – иерархического набора онимически релевантных признаков (на уровне системы имен данного типа), которые присущи целым рядам онимических объектов. Отношение имени собственного к своему денотату реализуется через онимическое понятие.

Для сравнения апеллятивной и онимической номинации В. Бланар привлекает номинативные модели, включающие содержательные, мотивационные и словообразовательные модели (59), составляющие системобразующие основы онимов (60).

В акте именования с помощью имени собственного имеет место общая мотивационная предпосылка и ее реализация на основе структурных словообразовательных моделей. Из мотивационных моделей складываются содержательные модели, т.е. общие принципы номинации в конкретной онимической ситуации. Они переходят в словообразовательные модели, а мотивационная модель оказывается соединительным членом между содержательной и словообразовательной моделями (с. 61).

Глава 9 «Внешняя сторона онимического знака (план выражения)» посвящена описанию формально-языковой стороны языкового знака (хотя она отдельно и не существует). Она опирается на закономерности соответствующего языкового кода (с. 68).

Исчерпывающая ономастическая грамматика не существует. Обычно говорят о некоторой языковой специфике имен собственных на фоне данного языка. Но было бы полезно всестороннее грамматическое описание имен собственных как их исчерпывающая языковая характеристика (с. 69).

Выбор лексем в онимических подсистемах ограничен в смысловом отношении определенным кругом значений. В отдельных онимических подсистемах и на разных стадиях развития одной системы лексическая и словообразовательная дифференциация имен осуществляется различно (с. 80). Комплексный подход к плану выражения имени собственного подразумевает исследование с генетическо-этимологических, диахронических и синхронических позиций (с. 81).

В именах собственных закрепляется словарный состав старшего периода развития

языка, относящийся к прежней материальной и духовной культуре, к истории заселения территории и этногенезу. Этим определяется первичная мотивация. При возникновении имени собственного начинается осуществляться функциональная поляризация исходной лексемы: *niva* – *Niva*. На первичной стадии именования тополексема имеет параллельную семантику с апеллятивом (с. 82).

Онимические лексемы составляют основу онимических систем даже без присоединения специфических формальных показателей (знаков), но благодаря своей онимической десигнации. Процессы трансоимиции происходили уже в древнейший период. Например, клички собак, лошадей были мотивированы названиями вод в связи с народными поверьями, что это оберегает от бешенства и от воздействия волшебных чар: у немцев *Moldau*, *Wasser*, у словаков: *Dunaj*, *Tisa* (с. 83). В именах сохраняются архаичные апеллятивы: *tat* ‘злодей’, *hrb*, *chrib* ‘холм’ (с. 84). Образований типа герм. *Bernhard*, *Sigmar* нет в апеллятивной лексике (с. 85). С древнейших же времен отмечены имена личные, возникшие путем расширения сокращенных (усеченных) форм: *Rastic* < *Rastislav*, *Bucek* < *Buclav* < *Budislav*. Не все из онимических суффиксов встречаются в апеллятивах (-*aš*, -*žš*) (с. 86). В диахронном аспекте В. Бланар показывает изменение именуемых объектов при том же имени: а) когда имя переносится с части объекта на весь или наоборот (синекдоха), например, если поле или пастбище занимает часть горы, а в официальных документах названием поля именуют всю гору; б) топоним переносится на другой объект того же класса: *Кембридж* в США; в) топоним переносится на другой объект, расположенный поблизости (иррадиация): *Москва* река → город *Москва*. К чисто языковым факторам, влияющим на изменение имен и их системные перестройки, В. Бланар относит такие случаи, когда прежняя «периферийная» модель заменяется на более продуктивную (с. 88–89), когда при заимствовании меняется имя.

В синхроническом аспекте В. Бланар отмечает официальное и неофициальное употребление имен, считая, что, чем строже официальная их фиксация, тем меньше места для варьирования в неофициальных речевых ситуациях (с. 99). Он считает, что имена собственные расширяют круг индивидуальных знаний каждого человека, а, заимствуясь в другие языки, пополняют состав иностранных слов (с. 100).

В главе 10 «Системы собственных имен» В. Бланар отмечает, что понятие и термин *система* (имен собственных) в теоретической ономастике не имеет четкого определения (с. 129). В. Бланар определяет это понятие с семиологической и функционально-структурной точек зрения. Он считает, что прагматический фактор составляет общий признак всех имен собственных, служит общественным условием идентификации/дифференциации и является организующим принципом именной системы. Благодаря ему формируются специфические онимические признаки, составляющие десигнацию имени. Собственно онимическая номинация имеет процессуальный характер, чему способствуют социальные нормы и языковые закономерности. На первой стадии номинации имеет место выбор мотива, составляется содержательная и мотивационная модель. На следующей стадии они облакаются в языковую форму словообразовательных моделей и формируют типы как реализацию именных моделей.

Онимические модели – системообразующие. Онимическая система занимает место между «идеальными объектами познания». Онимическая система – это динамически стабильная целостность системообразующих элементов, которые в своих языковых реализациях вступают в различные онимически релевантные отношения (синонимии, полисемии, омонимии, антонимии, словообразования) и составляют отдельные участки системы (онимические поля, ситуации/сцены) (с. 132).

Онимические системы имеют ядро и периферию. Продуктивные явления обнаруживают высшую частотность. Некоторые менее частотные явления могут иметь большую общественно-историческую важность. Онимические подсистемы внутренне членятся дифференцирующими признаками (с. 133).

Общественное функционирование имен собственных тесно связано с узаконенностью онимических норм. Взаимосвязи системообразующих элементов составляют важную черту онимической системы (с. 134).

В. Бланар считает, что объем онимических систем измеряется в пространстве, во времени и продуктивностью (частотностью).

Каждая онимическая система существует в определенном пространстве. Она связана с ареалами в топонимии, с социальными факторами в антропонимии и с экономическими в хрестонимии (с. 148).

Временной фактор сопровождает имя собственное от онимизации апеллятива до

конца его существования в общественной коммуникации при изменении онимической ситуации (с. 149).

Категория частотности/продуктивности тесно связана с категориями пространства и времени. Частотно то, что продуктивно. Это отражает качественную сторону системы и количественную реализацию (с. 150–151).

В главе 11 «Онимическая система с точки зрения общественной коммуникации» В. Бланар пишет о связи онимических систем с функционированием имен в обществе. Он говорит, что у эскимосов мужчины не смеют знать своего настоящего имени, которому приписывается магическая сила, но его знают женщины: матери передают эти имена невестам (с. 152). В обиходе же мужчины зовутся прозвищами. При таком положении (когда имя приравнено к личности) социальная значимость имен близка к нулю. Онимические системы реально существуют только в общественной коммуникации. С изменением коммуникативных потребностей меняется употребление имен. В десигнацию имени интегрируются новые онимически релевантные признаки. Знание имени предполагает сведения об именуемом объекте, а также факторы, участвующие в онимической номинации: десигнатор (звуковой носитель информации), мысленный образ (сведения о денотате), онимическая семантика (десигнация), индивидуальный онимический объект (денотат). Языковая компетенция не включает знания онимического знака. Коммуниканты постепенно, в индивидуальном порядке, постигают свои и чужие имена. При использовании имен собственных в общественной коммуникации говорящие и слушающие интерпретируют содержание имен собственных, при этом степени идентификации у них могут быть различными (с. 153). Их три:

1. Пресуппозиционная идентификация – достигается на основе ограниченных сведений о денотате: *Habovka* – небольшая деревня в Словакии. Этого достаточно для общей, категориальной классификации имени как элемента словацкой ойконимической системы.

2. Референциальная идентификация – сведения о денотате охватывают всё онимическое содержание имени (индивидуальные и надиндивидуальные признаки). Если коммуниканты в одинаковой степени знакомы с объектом, их знания могут отличаться индивидуальными особенностями (в Габовке *живет моя тетя*).

3. Научная реконструкция значимости имени собственного в онимической системе:

реконструируется десигнация, определяются парадигматические микроструктурные связи, но знание референта при этом не обязательно (с. 154).

Связь и зависимость между внешними факторами и внутренними ономастическими закономерностями не непосредственна, но опосредована через систему. Влияние общественных факторов на создание новых имен отмечается на поворотах истории (после 1917 г. появляются новые и изменяются старые географические названия в бывшем СССР. Многие топонимические модели теряют свою продуктивность. Появились новые топонимические модели. Для новых топонимов характерна полная мотивированность и позитивные коннотации: *Солнечногорск, Урожайная*) (с. 155).

Имена собственные возникают в ономастических ситуациях из общественной необходимости. Их главная функция – общественно обусловленная идентификация/дифференциация в таких рядах вещей и явлений, которые играют важную роль в жизни общества (с. 160).

Норма в онимической системе имеет двойное значение: 1) как общее собрание тенденций, правил, закономерностей (с. 187); 2) как функционирование онимических систем в общественной практике, что связано с языковой культурой (с. 188).

Динамика имен при функционировании в коммуникации выражается в изменении состава имен и их моделей, принципов именования. Важно отличать периферийные модели от центральных. Когда меняются центральные модели, происходит принципиальное изменение системы (с. 192).

В главе 12 «Парадигма. Предмет и методы ономастических дисциплин» автор говорит об имени собственном как о многоаспектном феномене, отдельные стороны которого находятся в различных отношениях и зависимостях. Основную часть ономастической проблематики составляет процесс онимической номинации и функционирование онимических систем в общественной коммуникации. Эти генетический и функциональный аспекты тесно связаны (с. 193). Общие принципы номинации формально реализуются в соответствующем языковом коде. В апеллативном контексте на передний план выступают референтные отношения имен, в проприальном – его десигнативная ценность (с. 194).

Онимическая пресуппозиция – это знание онимически релевантных признаков. На ее основе можно соотнести имя с соответствующим референтным или десигнативным

отношением. Лишь на основе знания этих фактов коммуникант понимает, что, например, лексема *Ryba* не относится к кулинарии, а служит именем человека.

В развитии онимических систем формируются внутренние закономерности, приводящие к сохранению или изменению онимической нормы. Употребление имен собственных в контексте образует новые отношения в онимических подсистемах (транссемантизация: гидроним → ойконим → человек и т.д.) и новые соотношения лексических пластов (апеллятивация имен собственных, онимизация апеллативов). В функционировании онимических систем и отдельных онимических знаков в различных речевых ситуациях в полной мере осуществляется их общественное предназначение.

В. Бланар понимает ономастику как науку о формировании и общественном функционировании онимических систем и о языковой структуре онимических знаков. Поле онимических объектов неотъемлемо (это – имена, используемые в различных науках, в хозяйственной деятельности, в правовых отношениях общества, в религии и т.д.). Отсюда, по мнению В. Бланара, исходят интердисциплинарные черты науки об именах. Но за интердисциплинарным подходом и комплексным анализом имен, – подчеркивает он, – не следует забывать их лингвистическую основу (с. 195).

Семиологический аспект ономастики относится к общей методологии наук. Онимия не составляет механического набора имен, но внутренне структурированную целостность. Между отдельными онимическими категориями существуют взаимные структурные связи. Например, хронологически различаются топонимы с посессивной мотивацией: старшие – на *-jъ* – слов. *Bolerad-jъ*, далее – *-ín* – раннесредневековая колонизация и старшие оседлые области: чеш. *Hodon-ín, Ubuž-ín*. Для XVIII–XIX вв. характерны названия на *-ovec, -ovka*: чеш. *Albertovec, Petrovka* [Šrámek 1994 : 83].

В дальнейшем выбор мотивировочных признаков имеет социолингвистические и психолингвистические основы (с. 197). Ареальная и частотная дистрибуция изучаются с помощью картографического и статистического методов. Из лингвистических применяется метод компонентного анализа и синтеза, морфологический и словообразовательный анализ, моделирование. Теория имени собственного на этом не заканчивается. Возникают новые проблемы, ждущие своих исследователей (с. 198).

Глава 13 «Резюме» – это общие итоги размышлений автора. Он, в частности, подчеркивает, что общая теория имени собственного начала формироваться у славян в середине 40-х годов нашего века. Положение имени собственного в языке характеризуется двумя противоположными, но связанными тенденциями: 1) постоянным взаимодействием со всем словарным составом языка и всей языковой системой, 2) стремлением имен собственных поляризоваться от аппеллятивов, при этом аппеллятив – немаркированный, а имя собственное – маркированный член оппозиции (с. 199).

Именуемая вещь (а вернее, – сведения о ней) связана с именем собственным иначе, нежели аппеллятивный объект с обозначающим его словом. Имя собственное не характеризует денотат через его понятие. Средоточие онимического содержания имени и его формы является денотат как элемент именной системы, а не имя вообще (с. 201–202). Категориальные семантические признаки не характеризуют денотат, но идентифицируют его как имя личное, фамилия и т.д. Это – пресуппозиционная идентификация. Онимическая семантика имени собственного существует как объективная данность, даже если референтное отношение имени собственного не реализовано, потому что десигнация онимического знака есть явление на уровне онимической системы.

Между массивами имен собственных и нарицательных нет точных границ, так как аппеллятивация и онимизация происходят непрерывно, а также существуют имена, сочетающие в себе признаки имен нарицательных и собственных (с. 202).

Формально-языковая сторона онимического знака опирается на закономерности данного языкового кода (с. 203). От типа языка зависит большая или меньшая продуктивность словообразовательных типов при создании новых имен (с. 204).

С синхронной точки зрения онимическую систему характеризует онимическая стабильность, позволяющая ей выполнять свои задачи в разных коммуникативных ситуациях (с. 208).

К предложенному Е. Куриловичем понятию «языковой статус имени собственного» В. Бланар добавляет понятие «ономастический статус имени собственного», считая оба понятия основой, методологической отправной точкой при анализе имен собственных (с. 209).

Отмечая важное теоретическое значение работы В. Бланара для славянского мира

как подводящей итоги многим исследованиям XX в., остановимся на некоторых ее слабых сторонах.

Хотя книга претендует на то, чтобы быть теоретическим обобщением ономастических теорий своего времени, автор, порой, отвлекается от теоретических проблем в сторону описательной ономастики, что создает диспропорцию глав и затрудняет чтение.

Строя свою теорию, автор широко пользуется трудами наших соотечественников, не всегда их упоминая. В ряде случаев В. Бланар опирается на данные позднейших работ, например, [Majtan 1989], хотя проблемы языковой политики в области собственных имен у нас разрабатывались значительно раньше.

В. Бланар, на наш взгляд, непомерно расширяет понятие модель (с. 80), неправомерно относит названия небесных тел к геонимам, забывает о подземных и подводных объектах (с. 26).

Мы ставим под сомнение наличие амбимодальных имен, обладающих одновременно свойствами имен собственных и нарицательных. Если слово становится именем собственным, оно как бы «перешагивает» черту, отделяющую один класс слов от другого (за чертой остается его оним: национальность чех – фамилия Чех, педагогический факультет – один из факультетов, в отличие от медицинского, теологического и т.д. – Педагогический факультет Братиславского университета – как собственное имя (название) учебного заведения или одного из его подразделений). В нашем понимании это – не хремотоним, а эргоним – собственное имя делового объединения людей. Для здания, в котором оно размещается, у нас предложен термин «ойкодомоним». Оба объекта не связаны друг с другом неразрывно: факультет может переехать в другое помещение, а его прежнее здание может быть использовано иначе (под музей, склад и т.п.).

В заключение, дадим некоторые определения из «Словаря русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской (М., 1988).

П р а г м а т о н и м – разряд онимов. Под этим термином, пока условно, объединены различные категории имен собственных, имеющие денотаты в прагматической сфере деятельности человека, связанные с практикой, с предметной областью, в том числе хремотоним, урбаноним, ойконим, ойкодомоним, порейоним, дромоним, агрономим (с. 110).

П о р е й о н и м – собственное имя дан-

ного экземпляра любого вида транспортных средств (с. 108).

Х р е м а т о н и м – Вид прагматонима. Собственное имя уникального предмета материальной культуры, произведенного или добытого руками человека, в том числе название оружия, музыкального инструмента, ювелирного изделия, предмета утвари, драгоценного камня (с. 146).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Blanár V. 1975 – Spoločensky podmienená identifikácia – podstatný príznak vlastných mien // Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 16. 1975.
Gardiner A.H. 1940 – Theory of proper names. A controversial essay. London, 1940 (2-е изд.: London; New York; Toronto, 1954).

Horecky J. 1994 – Logonomastika ako onomastická disciplína // Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11 slovenská onomastická konferencia. Nitra, 1994.

Majtán M. 1989 – Jazykovopolitické aspekty vlastných mien // Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry / Red. M. Majtán. Bratislava. 1989.

Šrámek R. 1981 – Das onymische und das appellativische Objekt // Proceedings of the 13-th International Congress of onomastic sciences. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk. 1981.

Šrámek R. 1994 – Paradigma onomastiky // Jazykovédne aktuality. 31. Č. 1–4. 1994.

Šrámek R. 1995 – Kvantifikujúci aspekty v onomastice // Slavia Slovaca. 30. 1995.

A.B. Сунеранская

Z. Guentcheva (Ed.). *L'énonciation médiatisée.* Éditions Peeters. Louvain; Paris 1996. 322 p.

Рецензируемая книга является результатом коллективного труда группы лингвистов, возглавляемой З. Генчевой-Декле и написана в течение 1991–1994 гг. Интерес к теме медиатива был пробужден после известной работы Р. Якобсона, посвященной системе грамматических категорий глагола [Jakobson 1957]. Первой значительной работой, охватывающей материал разноструктурных языков, была книга [Evidentiality 1986]. В продолжение этих исследований в 1997 году состоялся симпозиум по категории засвидетельствованности (эвиденциальности, медиативности – терминология еще окончательно не устоялась) в турецком и персидском языках, а также в языках близлежащих стран в Стамбуле (хроникальный материал об этой конференции публикуется в ВЯ, 1998, № 1)¹.

Рассматриваемая книга характеризуется общностью подхода к материалу разноструктурных языков. Это типологическое исследование, основанное на семантике. В каждом языке есть средства, которые позволяют говорящему выразить то, что передаваемое им сообщение является не его личным опытом, а получено из косвенного источника. Средства, которые используют-

ся наиболее широко, являются синтаксическими (франц. *On dit que..., il paraît que..., dit on...*; англ. *They say that..., I heard that...*, русск. *Говорят, что...*) или лексическими – наречия (франц. *apparemment*, англ. *reportedly, allegedly*; русск. *очевидно, по-видимому...*); частицы (болг. *kaj, už*; русск. *мол, де, дескать*). Однако в некоторых языках существует обязательная грамматическая категория, которая требует от говорящего указания на характер (прямой или косвенный) источника сообщаемой информации. В качестве ведущего термина для обозначения рассматриваемой категории избран медиатив, предложенный Ж. Лазаром. Этим термином охватываются три основных значения: 1) передача факта, услышанного от третьего лица, по слухам или понаслышке; 2) передача факта как результата логического вывода; 3) выражение удивления по поводу констатации факта.

В книге представлено 20 статей на эту тему, посвященных как теоретическим аспектам медиативности, так и описанию конкретных языков. Цель настоящей рецензии – выделить типологически важные конкретные языковые данные, собранные в этом ценном издании. Статьи сгруппированы в разделы по способам выражения медиативных значений. Таких разделов три: I. Медиатив и его связи с перфектом (восемь статей); II. Медиативность: вспомогательные глаголы, суффиксы, частицы (восемь

¹ Настоящая рецензия выполняется в рамках проекта «Категория засвидетельствованности в языках различных типов», финансируемого Российским Гуманитарным научным фондом.

статей); III. Медиативные значения и модальность (три статьи). На первый взгляд эти разделы выделены на разных основаниях и могут пересекаться: показатель перфекта в ряде языков представляет собой суффикс, а модальные значения часто выражаются частицами. Однако пересечения в реальности нет, так как во второй раздел попали те языки, в которых медиативность выражается показателями, по-видимому, не связанными по своему происхождению ни с перфектом, ни с модальностью.

К языкам, в которых медиатив выражается формами перфекта и восходящими к нему формами специальных наклонений, относятся персидский, албанский, болгарский, западноармянский, непальский, турецкий.

В персидском языке (автор – Ж. Лазар) выделяются два регистра повествования – нейтральный и медиативный. В этих двух регистрах перфект играет разную роль: в нейтральном регистре перфект представляет собой результатив настоящего времени и входит в систему форм настоящего времени, основной формой повествования является аорист; в медиативном регистре основная форма повествования – перфект. Форма перфекта в медиативном регистре может передавать значения ретроспективности, инференции, сообщение другого лица и законченное действие в отдаленном прошлом. Эти значения автор считает входящими в семантическое поле медиативности в персидском (в других языках это поле может складываться из других элементов). Форма первого лица несовместима со значением инференции и сообщением другого лица. Значение отдаленного прошлого возможно, если говорящий сообщает о собственном изменении. Существует континуум значений между перфектом как элементом регистра 1 (собственно перфект) и перфектом, принадлежащим к регистру 2 (медиативный перфект). В таджикском языке (частично под влиянием соседнего узбекского языка) развилась группа форм, которые можно рассматривать как новые наклонения – презумптив, медиатив, дубитатив. В отличие от персидского, где медиативность может характеризовать лишь сообщения о фактах в прошлом, в таджикском медиативность может относиться к настоящему времени.

В албанском языке (авторы – Ж.-Л. Дюше и Р. Пернаска) медиативность передается формами специального наклонения – адмиратива, противопоставленного индикативу и субъективу. Адмиратив восходит к

аналитическому перфекту с глаголом обладания или бытия. Исходное значение адмиратива – констатация неожиданного (*Я не верил, но, оказывается, это правда*). Экспрессивность адмиратива дает основание для развития значения интенсивности (*Вот кто; оказывается, маниакально хочет эту шляпу*), доминирования ситуации над говорящим, что свойственно передаче отрицательных эмоциональных состояний. Передача чужой речи – также вторичное значение адмиратива.

Интересен анализ совместимости адмиратива с другими значениями. Адмиратив и интеррогатив – вопросительное предложение в адмиративе – являются риторически, ироническими или сдвинутыми иным образом. Генерическое значение и адмиратив – эти два значения соединяются в высказывании в тех случаях, когда речь идет о констатации неожиданного – говорящий констатирует применение общего закона, который обязателен для всех (*Такова жизнь, господин полковник!*). Генерическое высказывание в речи другого человека может передаваться адмиративом в полемических целях – для опровержения (*Всегда говорят, что реклама – душа коммерции. Чепуха!*). Примечательно, что автор приходит к выводу о том, что адмиратив в албанском постепенно превращается в перфект.

В болгарском языке (автор – З. Генчева) медиатив по происхождению представляет собой «перфектоидные формы», образующие особое наклонение. Для обозначения разных способов соотношения обозначаемой ситуации и ситуации речи используются понятия актуального и неактуального регистров. В зависимости от значений, передаваемых высказываниями, отношения между ситуацией речи и медиативным высказыванием приводят к выделению двух медиативных регистров: 1) неактуального медиативного нарратива и 2) медиативного актуального высказывания. Нарративный (немедиативный) неактуальный регистр выступает в романе, рассказе, новелле, где рассказчик выступает как всегда присутствующий наблюдатель и объективен, он знает все факты и чувства своих персонажей. Медиативный нарратив используется в рассказах об исторических событиях, сказках, легендах, мифах. Медиативный нарратив характеризуется тем, что в нем возможны только формы 3 л. ед. и мн. ч. В роли сказуемого могут выступать четыре формы медиатива без вспомогательного глагола: аорист, имперфект, плюсквамперфект и будущее в прошедшем. Семантика данных форм –

выражение фактов, не связанных с рассказчиком (а также, в целом с ситуацией речи). Последовательность аористов медиатива (причастие на -л от основы аориста СВ) продвигает повествование. Имперфект медиатива (причастие на -л от основы НСВ) останавливает повествование. Предшествование или предвосхищение событий передается формами плюсквамперфекта и будущего в прошедшем соответственно.

Медиативная последовательность может включаться в нарративный немедиативный регистр. Это создает эффект остановки в главном повествовании и включения самостоятельного рассказа в рамки главного повествования.

Текст исторического повествования может строиться в неактуальном медиативном или немедиативном регистре в зависимости от отнесенности событий к современной/отдаленной эпохе и участия/неучастия в них говорящего. Такой текст может включать также регистр реконструкции (формы конклюдива – перфект с вспомогательным глаголом) и регистр косвенной речи (вспомогательный глагол при причастии на -л может быть или не быть).

Актуальные медиативные высказывания допускают все формы лиц и передают различные модальные значения (вспомогательный глагол в форме 3 л. опускается). Медиатив в актуальном регистре означает, что говорящий не отвечает за излагаемые факты, так как: а) он передает слова другого, б) передает слова другого и выражает по поводу их свое недовольство, сомнение, опровержение и др., в) передает факты, опираясь на собственное умозаключение.

Приводятся интересные примеры, противоречащие распространенным представлениям об употреблении медиатива. Не всегда медиатив употребляется говорящим для передачи слов другого лица, как в следующем случае: – *Кто это? Новый офицер? – Да, папа. – Куда он пошел? Почему ты его не пригласил к нам? – Дело в том, что он очень устал* (медиатив)... В данном случае можно предположить, что медиатив интерпретирует поведение другого лица (не связан с передачей чужой речи), как в случае употребления русских речевых частиц, отмеченных Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1992]. В заключение автор ставит важный и для других языков вопрос о том, есть ли в болгарском перфект в классическом смысле слова и, если да, то образуют ли медиативные значения континуум со значениями перфекта.

Статья Ж. Фейе опирается на факты болгарского языка в сопоставлении с турецким. Автор обращает внимание на то, что опущение вспомогательного глагола при причастии на -л происходит по точным правилам. Выделяются три подсистемы. В первой подсистеме выступают только формы 3 лица и опущение вспомогательного глагола обязательно. Эта подсистема реализуется в болгарском языке в сказках (однако в стилизованных литературных сказках в болгарском и в турецком возможен индикатив), в историографии событий до 1923 г. (когда в результате восстания на передний план выдвинулась компартия), а также событий, известных из традиции. В турецком языке в историческом романе выступают времена индикатива. Оппозиция медиатив/индикатив полностью нейтрализуется, если употребляется настоящее историческое. Отклонение от основной закономерности употребления медиатива (выражение незаведительствованности) наблюдается также в переводе текста Библии на турецкий и текста Корана – на болгарский: в болгарском и турецком в этом случае употребляется аорист или прошедшее время на *dl*. И в турецком, и в болгарском языках общеизвестные факты передаются аористом. В турецкой прессе вся информация, рассматриваемая как несомненная, передается формами аориста. В болгарском аорист в прессе употребляется реже и обозначает, что информация оценивается как абсолютно точная.

Вторая подсистема выступает в косвенной или пересказанной речи. Глагол речи необязателен, так как форма медиатива является эксплицитным показателем того, что говорящий не является источником сведений. В этом случае возможны формы всех лиц и вспомогательный глагол (в 3 л.) факультативен. Строгих правил его употребления нет. Он статистически чаще в придаточных предложениях, зависящих от глагола речи. При анализе второй подсистемы возникает вопрос о соотношении медиатива и косвенной речи. С точки зрения Фейе, медиатив – более широкая категория, одним из значений которой является передача чужой речи, то есть косвенная речь. Однако следует подчеркнуть, что источник информации в конструкциях с медиативом является неопределенным или обобщенным, в то время как в конструкции с косвенной речью он обычно конкретизируется. Введение косвенной речи в категорию медиатива закономерным образом влечет за собой также включение в сферу исследования

языков, в которых, как в немецком, имеется субъюнктив косвенной речи. Общее значение медиатива в этой подсистеме – отстраненность от ассерции.

Третья подсистема может быть охарактеризована как инференциальная. Она обычно представлена 3 лицом, но могут быть и другие лица, а вспомогательный глагол обязателен. Говорящий рассуждает по поводу событий, очевидцем которых он не был. Употреблению медиатива в этом случае свойственно значение предположительности. В этом случае аорист медиатива наиболее близок перфекту индикатива.

Три рассмотренных подсистемы, в которых выступает медиатив, отражают универсальную эволюцию перфекта. Речь идет о постоянной утрате инференциального значения и движении к значению дистанцированности (незасвидетельствованности). Значение пересказывательности является промежуточным на этом пути.

А. Донабедян в своей статье описывает факты западноармянского языка, который вообще не учитывался прежде при разработке этой категории. В этом языке медиатив передается с помощью специальных медиативных форм глагола и специальной частицы (взаимодействие этих средств не рассматривается, анализируются в основном глагольные формы). Глагольные формы делятся в первую очередь по формальному признаку на простые и аналитические. К простым формам относятся презенс и имперфект субъюнктива, презенс и имперфект индикатива и аорист. Презенс и имперфект медиатива, перфекта и должностовательного склонения являются аналитическими. В этом языке медиатив происходит от древнеармянского перфекта, включающего причастие на *-eal*. Помимо прошедшего медиативного в индикативе имеется также перфект, в состав которого входит результативное причастие на *-ac* и аорист. Вспомогательный глагол в медиативе, как и в перфекте, может иметь формы презенса и имперфекта. Перфект передает значение результата, свойства (признака) актанта в позиции подлежащего. Помимо этого результативное причастие неоднозначно в отношении оппозиции актив/пассив, то есть причастие от переходных глаголов может выступать как в активной, так и в пассивной конструкции. Аорист свойствен рассказу, отвлеченному от момента времени (неактуальному регистру, по Генчевой). Аорист полностью ассертивен (на это указывает невозможность его употребления в зависимой части условного предложения).

Значения медиатива с вспомогательным глаголом в настоящем времени: пересказывательность, инференция, адмиративность. В разговорной речи медиатив имеет более маргинальные значения: передача общепринятых положений (в этом случае отстранение говорящего от роли автора не оставляет возможности полемики с говорящим), выражение непредусмотренного состояния, произвольность действия. Медиативные формы прошедшего времени передают секвентность, предшествование по отношению к точке отсчета и в тексте создают план комментария. Статус медиатива – формы склонения. Это склонение отличается от других по характеру ассерции. Индикатив ассертивен, субъюнктив неассертивен, а медиатив занимает промежуточный статус: говорящий утверждает пропозитивное содержание, но не является гарантом истинности.

Материал непальского языка рассматривается в работе Б. Михайловского. Изучаемые формы отличны от перфекта и называются инференциалом (что кажется неудачным, так как примеры приведены в основном на адмиративное значение). Значение инференциала в непальском отличается от персидского медиатива. Это значение формулируется как «осознание факта в момент высказывания». Передаваемый инференциалом предполагаемый факт реален, и эта форма с трудом сочетается с наречием *sāyad* 'может быть' (это также подтверждает, что данная форма имеет скорее не инференциальное значение, а адмиративное). С инференциалом иногда сочетается *kyare* 'я полагаю'.

Для пересказывания инференциал, как правило, не употребляется, но он возможен в контексте пересказывательной частицы *re*, имеющей значение 'понаслышке'. Инференциал несовместим с вопросительностью, с ироническим повтором слов собеседника. В конструкциях с инференциалом употребляется частица *ro*, маркирующая элемент, референт которого не таков, как ожидалось.

Инференциал возможен как нарративное время, при этом повествованию придается «личный характер», который состоит в том, что автор открывает рассказываемые факты одновременно со своими слушателями.

Материалу турецкого языка посвящены две работы «Медиативные употребления формы на *-mlş* в турецком языке» (М. Мейдан) и «Значения *-mlş* в современном турецком языке. Анализ текста». Формы на *-mlş* выступают в таких повествовательных текстах, как сказки, анекдоты, рассказы

снов. В текстах по истории, а также в публицистике формы аориста на *-dl* подчеркивают несомненность излагаемых фактов, формы на *-mlş* употребляются в тех случаях, когда факты реконструируются или надо внести в текст элемент полемики, сомнения, иронии и т.п. Значения формы на *-mlş* следующие: пересказывательное, инференциальное, адмиративное. Реализация этих значений в высказывании зависит от сочетания следующих факторов: 1) от типа субъекта (лицо/нелицо), 2) от категории лица субъекта, 3) от комбинации с другими видо-временными аффиксами, 4) от семантики предиката. Автор не формулирует строгих правил, но вскрывает некоторые наиболее обычные связи, например: значение инференции тесно связано с подлежащим-нелицом; в предложениях с подлежащим-лицом чаще передается пересказывательность; у агентивных глаголов форма на *-dl* передает контролируемое действие, а форма на *-mlş* – произвольность действия; глаголы восприятия препятствуют употреблению в форме на *-mlş* с первым лицом; глаголы речи и эмоционального отношения во 2 и 3 лицах в форме на *-mlş* интерпретируются только как пересказывательные.

Цель второй статьи – показать, что значение формы на *-mlş* не сводится к триаде «пересказывательность – инференция – адмиративность». Авторы отмечают возможность совмещения формы на *-mlş* и формы на *-dl* в турецком, что противоречит их объединению в парадигму по афfirmативности/неафfirmативности. Показатель *-mlş* может использоваться для оформления сказуемого в зависимом (придаточном) предложении: относительно экспликативном, придаточном обстоятельственом, либо для повторного обозначения положения, высказанного ранее. В общем форма на *-mlş* передает определенную внеположенность суждения по отношению к знаниям говорящего и интеграцию этого суждения в его речь.

Итак, соотношение медиатива и перфекта в рассмотренных языках может быть следующим: 1) перфект и медиатив связаны исторически; медиатив является отдельным наклонением в системе глагола (албанский, болгарский, западноармянский), 2) медиатив является одним из значений перфекта (турецкий, персидский), 3) медиатив исторически восходит к перфекту и входит наряду с перфектом в состав форм индикатива (непальский). Авторами ряда статей ставится вопрос о том, как происходило семанти-

ческое развитие перфект → медиатив. Высказывается предположение, что значение пересказывательности является позднейшим, а значение инференции и адмиративности у формы перфекта под влиянием контекста возникают раньше.

Переходим к статьям второй части книги. В статье Ж. Перро рассматривается медиатив в уральских языках (мансийском, марийском, эстонском, селькупском и ненецком). Автор обращает особое внимание на то, что медиатив может выражаться разными средствами в одном и том же языке. Мансийский язык использует причастие прошедшего времени с личными показателями для первых двух лиц, в форме третьего лица имеется только именной показатель числа.

В эстонском языке используется показатель *-vat*, восходящий к форме причастия настоящего времени. Конструкция с этим причастием имеет значение медиатива настоящего времени. Для выражения прошедшего времени используется конструкция с медиативным причастием на *-vat* от служебного бытийного глагола в сочетании с причастием прош. времени на *-nud* от знаменательного глагола. В этой функции употребляется также одиночное причастие прошедшего времени без вспомогательного компонента. Автор обращает внимание на интересную особенность оборота с причастием на *-nud*: значение пересказывательности выявляется, если причастие на *-nud* занимает то же место в порядке слов, что и причастие на *-vat* (после подлежащего). Это же причастие в конце предложения выражает только прошедшее время.

В марийском языке для передачи медиатива употребляется синтетическая форма прошедшего времени I, образованная в результате слияния герундия и усеченных личных форм глагола «быть». Имеются также аналитические формы, в которых выбор вспомогательного глагола связан с передачей прямой или косвенной засвидетельствованности.

В самодийских языках обнаруживается ряд форм, которые передают дистанцированность говорящего от содержания высказывания. В селькупском языке есть специальное аудитивное наклонение для передачи фактов, известных понаслышке, и нарративное наклонение для передачи фактов, которые говорящий узнал с чужих слов либо извлёк из собственной памяти. Аудитив в селькупском языке возможен только во втором и третьем лицах.

Богатство форм, передающих субъ-

ективное отношение говорящего к высказыванию, представлено в ненецком языке, хотя собственно медиатива в нем нет. В ненецком языке есть два наклонения – пробабилитив и суперпробабилитив, которые передают разные степени уверенности говорящего в содержании высказывания. Помимо этого имеются еще аудитив и нарратив. Аудитив используется для передачи фактов, известных понаслышке или воспринятых слухом или обонянием. Нарратив передает факты в отдаленном прошлом и широко используется в устной литературе (фольклоре). Эта форма не имеет собственно медиативного значения, но может окказионально употребляться в ситуациях, допускающих такую интерпретацию.

В статье М. Фернан-Вэ, посвященной финно-угорскому медиативу, отмечается, что ни в одном из северных финно-угорских языков значения медиатива не являются полностью грамматикализованными. Набор средств, вводящих модальную рамку, позволяет выявить шкалу дистантизации говорящего по отношению к содержанию высказывания. К средствам оформления медиативного значения автор относит косвенное наклонение в эстонском, потенциальное и условное наклонения в саамском и финском, а также частицы.

В финском и саамском языках медиативность передается как одно из контекстуальных значений потенциалиса или кондиционала. В современном финском языке потенциалис функционирует в основном в письменных текстах и передает эпистемическую модальность. В повелительном высказывании потенциалис передает вежливое побуждение, а в вопросительном – риторический вопрос. Кондиционал в финском языке передает нереальность (контрфактичность) действия. Иногда он может передавать, что говорящий не уверен в истинности сообщения.

В саамском языке потенциалис малоупотребителен. В основном он встречается в зависимых предложениях и имеет значение предположения, сомнения, неуверенности. Кондиционал имеет значение осторожного утверждения, усиливаемое частицами со значением дистантизации.

В финском и саамском языках медиативность специально передается также с помощью фразовых частиц, образованных от глаголов речи и восприятия. Эти частицы имеют преимущественно разговорный характер.

Таким образом, медиативность в рассматриваемых языках выражается средствами, относящимися к выражению модаль-

ности (косвенные наклонения) и к выражению косвенной речи (частицы). Однако взаимодействие частиц и наклонений в тексте не рассматривается.

Показателем медиативности в корейском языке (автор – И. Чанг) является глагольный суффикс *-teo-*. Автор опирается на методику грамматики порядков. Показатель *-teo-* располагается в последовательности конечных глагольных суффиксов следующим образом: каузатив (1) + вежливость (2) + асп.-темп. (3) + модальн. (4) + *teo* (5) + конечн. (6). Показатель *-teo-* имеет ограниченную сочетаемость с конечными частицами. После него возможен показатель ассертива, интеррогатива и экскламатива, но не императива и экзортатива. Показатель *-teo-* существует только в устной речи. По мысли автора, *-teo-* передает предшествующий моменту речи момент получения говорящим информации о факте. Темпоральные суффиксы, сочетающиеся с *-teo-*, обозначают временные отношения между передаваемым фактом и моментом получения информации. Изучение функционирования сочетания «темпоральный суффикс + *teo-*» позволяет выявить три способа получения информации, передаваемые корейским медиативом: 1) презенс + *-teo-* – прямое восприятие, пересказывание, инференция; 2) прошедшее время + *-teo-* – пересказывание, инференция; 3) будущее время + *-teo-* – пересказывание, инференция.

Особенности медиативных показателей в тибетских диалектах изучаются в статье Н. Турнадра. Автор считает, что тибетским языкам присущи следующие особенности. 1. Показатели медиатива восходят чаще всего к древним глаголам движения ('пойти', 'прийти', 'пройти'), состояния ('сидеть', 'быть поставленным', 'быть посаженным', 'быть равным', 'существовать', 'иметь' и т.д.), речи ('сказать', 'быть известным'), реже к глаголам восприятия ('касаться'). 2. В классическом тибетском эти глаголы употребляются как независимые, но также они могут выступать как служебные глаголы. В современном центральном тибетском диалекте они функционируют преимущественно как связки или служебные глаголы. 3. Служебные глаголы всегда выступают после знаменательных глаголов и могут быть отделены от них только отрицанием или аспектуальным суффиксом. 4. Медиативные показатели выступают почти всегда после конечного глагола независимого предложения и очень редко после глагола в придаточном предложении. 5. Вид в значительной степени пересекается с

медиативом. Видовая морфема иногда бывает слита воедино с медиативной. Вообще же, если вид выражен отдельно, то видовая морфема чаще всего предшествует медиативной.

Для теории медиатива важна разработка значений показателей, выявляемых в тибетских диалектах: констатив, директив, инференция, эндопатия, пересказ, непрямая ассерция, гномичность, новая/старая информация, волитивность/неволитивность, ревелатив (удачный новый термин для обозначения непосредственного обнаружения – не только зрительного – факта в момент речи, т.е. того значения, которое принято называть адмиративом). При констативе (в центральном диалекте показатель глагола – *song*) источником информации является непосредственное восприятие (зрение, слух, обоняние, либо тактиальное восприятие). Пересказанная информация выражается в конструкции с глаголом, оформленным показателем *-pare*. Инференция может быть уверенной и дубитативной. Для тибетских диалектов характерна более уверенная инференция. В центральном диалекте показателем инференциального значения является глагольный аффикс *sha'*. Понятие директива близко к констативу, но отличается тем, что директив подчеркивает, что говорящий целиком отвечает за свои слова и предполагает непосредственное знание фактов не только благодаря наблюдению, но и рефлексии. Констатив же предполагает только простое наблюдение. И директив, и констатив отмечены только для диалекта джонка, в других диалектах есть только одна из этих категорий. Категория эндопатичности объединяет ряд показателей, которые передают информацию, связанную с внутренним физическим, ментальным или эмоциональным состоянием. Эти показатели связаны преимущественно с первым лицом. Высказывание со значением 'я голоден' в диалекте амдо возможно только с показателем эндопатии (*-hka*), в то время как утверждение 'он голоден' может быть оформлено только как инференция или пересказанная информация с показателями *-yod-+-hka*. Было бы интересно выявить соотношение медиативных значений. Одной и той же морфемой могут быть выражены такие пары значений, как ревелатив и инференция, косвенная речь и гномическое высказывание, волитив и инференция. Связаны ли друг с другом эти значения, остается под вопросом.

Анализу материала чукотско-камчатских языков (носители которых расселены на

крайнем северо-востоке Азии, а не в Восточной Сибири, как указано в заголовке статьи) посвящена статья Ф. Жаксона. Для этих языков характерно использование медиатива в текстах нарративного типа, особенно в мифологических (термин понимается широко – к мифологическим текстам отнесены также легенды и сказки). Средства выражения медиатива в чукотском и корякском являются формы с префиксом *ge-/ga-*, в ительменском – с префиксом *k-* (а не *ke-*, как считает автор). Ительменские формы на *k-* соотносены только с 3 лицом, что позволяет характеризовать их как специализированные формы для передачи неактуального мира повествования, где нет 1-го и 2-го лица, а есть только персонажи рассказа. В то же время чукотско-корякские формы на *ge-/ga-* включены в личные парадигмы, которые автор справедливо квалифицирует как предикативные. Но на основании существования этих парадигм делается вывод, что в этих языках медиатив является категорией археологической, исчезающей. Специализированные средства выражения медиатива усваиваются другими грамматическими категориями. При этом в современном чукотском, как полагают авторы, древнее медиативное значение исчезло, в корякском этот переход еще не завершён, тогда как в ительменском систематически медиативная форма сохраняется до сих пор. Этот вывод представляется дискуссионным, поскольку в ительменском формы с префиксом *k-* являются чукотско-корякскими заимствованиями; правда, заимствованы они были именно для использования в текстах нарративного типа. Автор придерживается традиционной точки зрения, полагая, что ительменский язык генетически связан с чукотским и корякским. Существует альтернативная точка зрения, изложенная в работах, с которыми Ф. Жаксон не имел возможности ознакомиться [Kämpfe, Volodin 1995, Володин 1997]. В этих работах утверждается, что чукотско-камчатские языки составляют не генетическую, а ареальную общность и все факты материальных совпадений являются результатами длительного контактного влияния.

В морфологически богатых диалектах эскимосского языка (инуит) – авторы Ф. Менесье и Б. Роб – средства выражения медиативности разнообразны. В составе глагольной словоформы сосуществуют средства медиативизации – от более лексических, расположенных левее, т.е. ближе к корню, до более грамматических, расположенных правее от корня. Кроме того в связи

с медиативом рассматривается противопоставление финитных глагольных форм и причастных (аттрибутивных) форм. В языке тунумиисут (восточная Гренландия) индикативные финитные формы служат для представления процесса как объективной констатации. В причастных формах факт представлен как мнение, зависящее от интенции говорящего; факт комментируется, оценивается. В состав глагольной лексемы могут также входить суффиксы (авторы так называют морфемы, влияющие на валентность глагола, в отличие от другого типа морфем – инфиксов, не влияющих на валентность глагола, что нельзя признать удачным терминологическим нововведением), которые выражают основные способы восприятия /-qqiittaq-/ ‘походить’, /-qraataaq-/ ‘быть похожим по виду’, /-(q)patiC-/ ‘быть похожим на слух’, /-sunniC-/ ‘быть похожим по запаху’. Помимо этого, к рассматриваемой смысловой области относятся модальные инфиксы, выражающие вероятность и возможность, а также аспектуально-темпоральные инфиксы, выражающие эвентуальность, будущее деонтическое и перфект. Перфектный индекс *-sima-* выступает со значением инференции. Поскольку труднее всего доказать, что эта форма имеет прямое отношение к медиативности, автор отмечает общее для многих языков явление диффузности собственно перфектного и инференциального значений. Существует также специальная клитика *-ñuu(q)/-ñii(q)*, занимающая в словоформе позицию правее последнего суффикса и передающая пересказывательность. Эта морфема может быть присоединена как к глобальной, так и к именной словоформе. Важно, что автор останавливается также на сочетаемости этого послелого и других средств выражения медиативности. Разные средства – перфектный инфикс и послелог с пересказывательным значением – выражают разные медиативные планы. Послелог пересказывания выражает некоторую дистанцированность говорящего по отношению к чужим словам, а перфектный индекс – дистанцированность по отношению к фактам, которые не засвидетельствованы говорящим. Типологически послелог пересказанной речи представляет черты, сходные с вводными словами во французском или в русском – большая подвижность, избыточность, явления фонетической редукции. Некоторое недоумение вызывает заключительный абзац статьи. Автор пишет: «С этнолингвистической точки зрения обилие грамматикализованных форм меди-

тива в эскимосском, потребность уточнить характер восприятия... объясняется особой осторожностью (prudence) инуитов в отношении языковой коммуникации». Наличие эксплицитно выраженных грамматических категорий связывается с особенностями эскимосской картины мира или особенностями устройства эскимосских отношений собственности (с. 245). Такой подход, видимо, слишком прямолинеен, и вряд ли удачен.

В языке скомиш (автор – П. Якобс) выделяется три типа частиц, объединяемых с точки зрения прагматического (медиативного) значения: вторые клитики (частицы, присоединяемые к первому слову в предложении и передающие степень уверенности говорящего в достоверности сообщения), вопросительная частица, частица пересказывания. Вместе с тем, автор показывает, что эти частицы не представляют ни грамматического, ни семантического единства.

В языке кечуа (автор – Дж. Тейлор) XVI–XVII вв. имела место система трех степеней модальности (целиком сохранившаяся только в одном из северных диалектов): ассертив (*Я свидетельствую, что...*), цитатив (*я слышал, что...*) и гипотетив (*может быть, что*), описанная в работе [Weber 1986]. Автор уточняет функционирование и эволюцию этих показателей в современных диалектах кечуа. Рассматриваются также вопросы как употребление модальных частиц в вопросительном и подчиненном предложениях, в нарративном контексте, их взаимодействие с фокальной частицей (возможное только в северных диалектах).

Медиативные значения в кахинау (Южная Америка) анализируются в статье Э. Камарго. В работе выделены показатели ассертива, пересказывания, инференции, дистантизации. Все эти значения объединены принадлежностью к общей области значений – выражения отношения говорящего к содержанию своего высказывания. Инференция и дистантизация передаются одним и тем же показателем, который, судя по примерам, выступает вместе с показателем ассертива.

При анализе материала языков, представленных во второй части книги оказывается, что в этих языках нет форм, совмещающих значения пересказывательности, инференциальности и адмиративности. Эти значения передаются разными средствами, не сводимыми в одну категорию.

В третьей части книги рассматривается соотношение медиативных и модальных

значений. При этом в эту часть выделены языки, в которых медиативность передается сугубо лексически. В статье П. Рамата «Стратегии медиатива» рассматриваются результаты обследования языков Европы по вопроснику по фразовым наречиям, в котором под рубриками "модальные: пересказывательные, цитативные, эвиденциальные" были приведены следующие примеры: (1) *Allegedly, John is ill again (but I don't believe it)*; (2) *Reportedly, John is ill again (someone told me so)*; (3) *Supposedly, John is ill again*; (4) *Evidently/apparently/manifestly John has already left*. Исследование показало, что из четырех теоретически возможных комбинаций выражения значений в предложениях (1–3) реализовано только три, а именно: а) выражение медиатива с помощью чисто лексических средств, как наречия; б) употребление чисто грамматических средств, напр. франц. *Jean serait de nouveau malade*; в) комбинация лексических и грамматических средств, напр. в турецком и др. языках черноморского ареала. Четвертая возможность, а именно, отсутствие формального выражения медиатива, когда данное значение вытекает из контекста, не зафиксировано, что подтверждает необходимость маркировать в каждом языке значение достоверности высказывания.

В статье Е.В. Рахилиной анализируется модальная частица *якобы* как средство медиативизации в русском языке. Толкование этой частицы дается следующим образом: 'некоторый X утверждает, что P, а говорящий считает, что P неверно'. Эпистемический компонент неистинности P является важнейшим в значении этой частицы, отличающим ее от других способов обозначения принадлежности информации о P источнику, отличному от говорящего (*по мнению X-а, по словам X-а, как сообщает X, мол, дескать*). Интересной особенностью конструкций с *якобы* является возможность опущения глагола речи. В семантику этой частицы входит также негативное оценочное значение самого источника. Этим *якобы* противопоставлено частице *будто бы*, не

имеющей оценочного компонента. Эти особенности обуславливают избирательную сочетаемость *якобы* с сообщаемыми фактами и с глаголами, вводящими придаточное изъяснительное. Примечательно, что в нейтральном контексте вряд ли возможна фраза '*Он говорит, что якобы сейчас утро; не сочетаются якобы и уверять*.' *Раскольников уверял, якобы он убил старуху.*

В статье П. Дендаля и В.Де Мюльдера анализируется употребление французского модального глагола *devoir* как показателя инференциального значения, а также обсуждается вопрос о соотношении инференции, дедукции и абдукции (последнее понятие введено Ч. Пирсом).

В целом рецензируемая книга содержит богатый языковой материал, значительная часть которого введена впервые в научный оборот. Это исследование представляет собой значительный шаг вперед в типологическом изучении засвидетельствованности как грамматической, функциональной и семантической категории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова Н.Д. 1992 – Диалогическая модальность и явление цитации // Человеческий фактор в языке. Коммуникация. Модальность. Дейксис. М., 1992.
- Володин А.П. 1997 – Чукотско-камчатские языки // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997.
- Evidentiality 1986 – Evidentiality: The linguistic coding of epistemology / Ed. W. Chafe, J. Nichols. Noorwood, 1986.
- Jakobson R. 1957 – Shifters, verbal categories, and the Russian verb // R. Jakobson. Selected Writings V. 2. The Hague, 1957.
- Kämpfe H.R., Volodin A.P. 1995 – Abriß der Tschuktischen Grammatik. Wiesbaden, 1995.
- Weber D. J. 1986 – Information perspective, profile, and patterns in Quechua // Evidentiality: The linguistic coding of epistemology / Ed. by W. Chafe, J. Nichols. Norwood, 1986.

А.П. Володин, Н.А. Козинцева

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

19–21 октября 1998 г. в старинном университетском городке Гёттингене (Нижняя Саксония, ФРГ) проходила Международная научная диалектологическая конференция «Диалектология между традицией и тенденциями», особой задачей которой было заблаговременно объявленное создание «Международного общества диалектологии немецкого языка». В актовом зале знаменитого университета собралось свыше 100 диалектологов из 35 городов Германии, из Австрии и Швейцарии, а также германисты-диалектологи из Великобритании, Венгрии, Нидерландов, Италии, России, Румынии, Франции.

Работу конференции открыл председатель ее оргкомитета проф. Д. Штелльмахер (Гёттинген), который предоставил слово для приветствия вице-президенту Гёттингенского университета проф. К. Липп, пожелавшей успеха всем собравшимся участникам. Со словами приветствия выступил также проф. Г. Леман, декан философского факультета Гёттингенского университета и проф. В. Фирекк, президент Международного объединения диалектологов и геোলингвистов (Бамберг, ФРГ).

Во время работы конференции, которая проводилась в форме пленарных заседаний, было прослушано и обсуждено 25 докладов, при этом каждое утреннее заседание всех трех дней работы начиналось с так называемого заглавного доклада, содержавшего, как правило, наиболее актуальные задачи исследования современных немецких диалектов, методы их изучения и описания, проблемы взаимоотношений и взаимосвязей местных диалектов с другими формами существования немецкого языка (региональные наддиалектные образования, обиходно-разговорный язык), социологические аспекты функционирования диалектов и др. Основной части этих проблем был посвящен, в частности, заглавный доклад первого

дня работы конференции, с которым выступил известный австрийский германист П. Визингер, избранный на IX Всемирном конгрессе Международной Ассоциации германистов (Ванкувер, Канада, 1995 г.) президентом этой организации на период 1995–2000 гг., т.е. до периода проведения X Конгресса включительно, который должен состояться осенью 2000 г. в столице Австрии Вене.

Работой пленарных заседаний руководили поочередно Ф. Дебус (Киль, ФРГ), Р. Германн-Винтер (Грайфсвальд, ФРГ), А. Гильдебрандт (Марбург, ФРГ), Я. Бернс (Амстердам, Нидерланды), В. Кёниг (Аугсбург, ФРГ), А. Домашнев (Санкт-Петербург, Россия), Г. Нибаум (Гронинген, Нидерланды).

В ходе первого дня работы конференции после упомянутого выше заглавного доклада П. Визингера были прослушаны и обсуждены еще 10 докладов. Й. Херрген (Майнц) выступил с докладом на тему «Диалектография и диалектные изменения. Тенденции уходящего 20-го столетия», в котором он особенно подчеркнул, что общественные и социально-экономические процессы в Германии второй половины нашего столетия привели к заметным изменениям в характере местных говоров и диалектов. Эти же идеи и положения были удачно проиллюстрированы в докладе Э. Циглер (Гейдельберг) («Мы говорим так, а не так, и так это и будет!» Языковое употребление и отступление диалектного узуса в диалектнозависимой семье, состоящей из трех поколений»). К.-Г. Бауш (Мангейм) в докладе «Диалектология и социолингвистика (на примере изменений в фольклорном диалекте)» показал, что под влиянием функционального расширения использования литературного и обиходно-разговорного языка в устной речи в соответствующем диалектном ареале происходит, наряду с сужением спектра ситуаций использования

диалекта, необратимый процесс изменений в самом местном диалекте. Докладчик подчеркнул, что современная диалектология становится все более тесно связанной с социалингвистикой. По существу, К.-Г. Бауш высказался в пользу социально ориентированной диалектологии, на чем настаивал в германистике В.М. Жирмунский еще в конце 60-х годов.

Б. З и б е н х а а р (Цюрих, Швейцария) в докладе «Вариативность и избирательность в диалектной зоне лабильности» остановился на вопросах иерархической структуры языковых средств в диалектном высказывании в зависимости от формы общения. Утреннее заседание закончилось докладом Б. К е л л е р м а й е р (Дуйсбург) «Диалект как языковой барьер?», в котором рассматриваются вопросы, особенно широко обсуждавшиеся в немецкой германистике и социалингвистике в начале 70-х гг., когда в ходе адаптации известной концепции Бернштейна о языковых кодах немецкие социалингвисты предприняли попытку рассмотреть территориальный диалект и литературный язык в качестве немецких соответствий дихотомии Бернштейна (соответственно: «ограниченный код» и «развернутый код»), полагая, что речевые недостатки («языковой барьер») носителя «ограниченного кода» можно преодолеть при школьной социализации учащегося путем компенсационного преподавания литературного языка.

После обеда в этот первый день работы конференции были прочитаны еще 6 докладов. В совместном докладе А. Б о т - т о р е л ь - В и т ц и Д. Х у к (Страсбург, Франция) «Диалекты в Эльзасе между традицией и современностью» предпринята попытка описать состояние и условия использования эльзасских диалектов, функционирующих, как известно, с «подавленным» статусом (язык внутрисемейного общения в сельской местности и др.). В. Л ё ш (Йена) в своем докладе «О языковой ситуации в районе бывшей тюрингской границы с Западной Германией» говорил о роли политической границы (граница ГДР-ФРГ) в развитии признаков языковой дивергенции в районах Тюрингии со своими соседями, оказавшимися в послевоенное время по другую сторону политической границы, т.е. в ФРГ. Следует отметить, что, хотя докладчик и не исходил из таких постулатов, на самом деле он говорил о роли «политических границ» в качестве факторов языкового отчуждения и разобщения ранее единых «коллективов сношений», о чем впервые достаточно полно и убедительно

высказывался еще в 20-е годы известный немецкий диалектолог А. Бах.

У. Ф ё л ь н е р (Магдебург) в своем докладе «Наблюдения по поводу роли "изгнанных" переселенцев при изменениях в остфальских диалектах после Второй мировой войны» говорила о процессах диалектного смешения в сельских районах Остфалии после того, как там нашли для себя постоянное пристанище значительные группы инодиалектных переселенцев (из Восточной Пруссии, Силезии и др.).

На вечернем заседании П. Г и л л е с (Фрайбург) выступил с интересным докладом «Структура национального языка: к дискуссии о койне в люксембургской лингвистике», в котором, пожалуй, впервые, в рамках публичной научной дискуссии, предпринимается попытка теоретически интерпретировать процессы, происходящие в местном (люксембургском, летцебургском) диалекте после его провозглашения в качестве государственного языка при сохранении роли французского и немецкого как официальных языков страны. Х. М е н к е (Киль) в своем докладе «Эмпирические данные относительно языковой ситуации в регионе немецко-датской границы» подробно рассмотрел вопросы двуязычной среды местного населения по обе стороны границы Германии и Дании. Работа первого дня конференции закончилась обсуждением доклада А. Р о л е й (Мюнхен) «От диалекта к языку?», в котором были рассмотрены некоторые вопросы изменений и развития диалектов, связанные с повышением их функционального статуса в структуре речи (использование при школьном обучении, в средствах массовой информации и коммуникации, в качестве языка общения в местных органах власти и т.д.).

20 октября (второй день работы конференции) пленарное заседание открылось докладом П. Т р е д ж и л а (Фрибург, Швейцария) «Миграция, диалектные контакты, формирование неодиалектов и реаллокаций», в котором были рассмотрены некоторые общие вопросы взаимодействия и взаимосодействия социальных факторов на состоянии и изменения в диалекте (проблема «язык и общество»). В двух последующих докладах утреннего заседания были освещены применения методов анализа интонации и фонологического состава языка при обследовании и описании диалектов: П. А у э р (Фрайбург) и М. З е л т и н г (Потсдам) в докладе «Интонация немецких региональных языков» и Э. Э г г е р с (Гёттинген) – в докладе «Размышления по поводу развития фонологии с позиций

общего и индоевропейского языкознания и ее импликаций для целей диалектологии».

Э. Г л а з е р (Цюрих, Швейцария) своим докладом «Методы исследования диалектного синтаксиса» вызвала оживленную дискуссию по поводу возможности установления синтаксической типологии живой разговорной (диалектной) речи. Своеобразной поддержкой основных идей этого доклада стало выступление Ф. П а т о ч к и (Вена, Австрия) на тему «Аспекты синтаксиса в баварском диалекте». К ним примыкал также доклад Д.-Б. Б е р р и (Карлсруэ) «Немецкие диалекты в структурно-синтаксическом исследовании».

На вечернем заседании с интересным докладом выступил известный диалектолог К. Р а й н (Мюнхен) «Инновации в диалектах мюнхенского бассейна», представивший новые данные социологических опросов в ряде сельских общин вокруг Мюнхена относительно использования различных форм существования языка (местный диалект – региональный диалект – обиходно-разговорный язык) в зависимости от ситуации общения.

А.Ф. Т о м а с (Тимишоар, Румыния) говорила об условиях функционирования немецкого диалекта в провинции Банат «Немецкий язык (диалект) как объект социолингвистического изучения. На материале немецкого диалекта в румынском Банате».

21 октября утреннее заседание было открыто обзорными докладом Х. К р и с т е н (Люцерн, Швейцария) «Перспективы исследования консолидированной швейцарско-алеманнской диалектологии», в котором были подняты вопросы усиления взаимодействия диалектологов как внутри Швейцарии, так и в Австрии и Германии, где, как известно, имеются регионы распространения алеманнских диалектов. Однако в центре внимания докладчика были вопросы внутришвейцарской консолидации усилий диалектологов, которые до последнего времени ограничивались описанием местных диалектов: цюрихский, бернский, базельский и др.

Доклады Г.-В. А п п е л я (Гёттинген) «От каталожных карточек к электронной

базе данных» и Э. Х а й м е р л я (Зальцбург, Австрия) «Компьютерный анализ языкового атласа» были посвящены составлению разработки методов автоматизации диалектологических исследований, осуществляемой как на основе материалов нижненемецких диалектов под руководством проф. Д. Ш т е л л ь м а х е р а (Нижненемецкий семинар Гёттингенского университета), так и австро-баварских диалектов (Зальцбургский университет, Австрия).

С заключительным докладом «С методами XIX века на пути в XXI век? К оценке состояния современной немецкой диалектологии» выступил Г. Ш о й р и н г е р (Вена, Австрия), который признал, что диалектология в конце XX века продолжает широко пользоваться методами исследования, разработанными еще в конце XIX столетия и до настоящего времени оказалась не в состоянии по различным причинам сменить исследовательскую парадигму (оценка характера современных местных диалектов, развитие наддиалектных форм – региоидиалекты, – вертикальная структура диалектов, методы современного анализа и описания и др.).

Второй день работы конференции был посвящен одному из главных пунктов ее программы – созданию Международного общества диалектологии немецкого языка. Данное организационное собрание происходило под руководством проф. П. Визингера (Австрия), президента Международной Ассоциации германистов. Был обсужден и принят Устав Общества и состоялось тайное голосование по выборам его руководящего ядра. Председателем Правления был избран проф. Д. Штелльмахер (Гёттингенский университет), его заместителем – проф. К. Маттайер (Гейдельбергский университет).

Принято решение, что все представленные доклады будут опубликованы в виде отдельного сборника материалов конференции в одном из ведущих немецких филологических издательств.

А.И. Домашнев
(Санкт-Петербург)

13–14 мая 1998 г. в одном из старейших вузов Украины в Нежине состоялись Чтения, посвященные выдающемуся лингвисту – исследователю в области славянских языков, основателю белорусского языкознания и литературоведения – Евфимию Федоровичу Карскому.

Кафедра русского языка историко-филологического факультета Нежинского пединститута впервые провела Международные чтения, связанные с именем своего знаменитого выпускника (1881–1885).

На Нежинские Карские чтения поступили заявки от 120 ученых из 35 городов Беларуси, России, Польши, Украины. Организаторами чтений были Нежинский педагогический институт им. Н.В. Гоголя (Украина) и Гродненский университет им. Я. Купалы (Беларусь), составившие договор о «сотрудничестве в совместном проведении научной конференции в честь великого земляка и ученика».

Интерес к Читаниям был настолько велик, что организаторы конференции решили не ограничивать тематику докладов, предложившую участникам. 5 секций, возглавляемых докторами наук и доцентами из вузов разных республик, работали на русском, белорусском и украинском языках.

Заседание открыл вступительным приветственным словом проректор по научной работе Нежинского пединститута Н.Г. Вялы й, затем прозвучало сообщение декана историко-филологического факультета Г.В. Самойленко «Роль Нежинской филологической школы в формировании научных интересов Е.Ф. Карского».

На пленарном заседании прозвучал проблемный доклад Н.Н. Арват (Нежин) «Антропоцентрический подход в исследовании языка». Автор раскрыла понятие антропоцентризма в языке на примерах исследований в области синтаксиса на уровне языка и уровне речи, показав, что антропоцентризм особенно ярко выражается в коммуникативном функционировании языка.

Доклад М.И. Коношкевич (Гродно) «Компаративно-ассоциативное поле как единица сопоставительного анализа» был яркой и интересной иллюстрацией антропоцентризма в языке на лексическом уровне. Автор показал, что составление и изучение компаративно-ассоциативных полей необходимо в психолингвистическом, лингвокультурологическом и лингвистиче-

ском плане; такой подход к изучаемой категории помогает раскрыть индивидуальный, социальный или национальный опыт и увидеть перспективы сопоставлений полей в межъязыковом отношении.

«М.А. Максимович, А.А. Потебня, Е.Ф. Карский: становление и развитие традиций восточнославянского языкознания» – доклад М.А. Карпенко (Киев). Прослеживается путь развития восточнославянского языкознания и отмечается, что «имя Карского закономерно связано с постановкой и решением ряда основополагающих проблем славяноведения как комплексной научной дисциплины».

В докладах на пленарном заседании был раскрыт широкий диапазон научных интересов Е.Ф. Карского. Т.Г. Бобкова (Могилев) обратила внимание на замечание Карского о «спорадических украинизмах». Речь шла о братских школах Беларуси и Украины, «деятельность которых связала историю соседних славянских народов», об общности судеб белорусского и украинского народов. Автор показал, что Карский опирался не только на данные своей науки, но и на исторический материал.

К началу конференции А.С. Белая (Нежин) подготовила небольшое пособие «Е.Ф. Карский. Пособие к спецкурсу "Из истории языкознания: персоналии"». Здесь впервые представлены некоторые архивные материалы, рассказывающие о Нежинском периоде жизни ученого.

Был подготовлен и издан сборник материалов, в котором доклады и сообщения скомпонованы по секциям.

Материалы первой секции «Наследие Е.Ф. Карского в Белоруссии и в Украине» открываются пленарным докладом М.Г. Булахова (Минск) «Е.Ф. Карский о балтизмах в белорусском языке». Создавая концепцию истории белорусского языка, Карский учитывал взаимоотношения родного ему языка с соседними. Это и проследживает автор данного доклада, построив его «на анализе расхождений между белорусской и балтийской лексикой основного фонда».

Часть докладов, прозвучавших в данной секции, посвящались вопросам истории русского литературного языка в трудах Карского: Г.П. Вишневецкая (Киев), Т.И. Агаева (Нежин), В.А. Сидоренко (Нежин), Н.С. Гребенщикова (Гродно). О работе Карского над письменными памятниками и отдельными вопросами грамматики говорили докладчики А.С. Белая (Нежин), Л.Н. Шаповалова (Могилев), С.В. Зинченко (Нежин), С.А. Обийкина (Нежин) и др.

Вторая секция «Когнитивная и культурологическая парадигма исследования языка» объединила разнообразных и интересных докладчиков по широте охвата языкового материала и разностороннего его освещения. Языковая картина мира с точки зрения антропоцентризма, культурно-мифологический компонент в языках восточных славян, экспрессия в языке, культурные концепты в языке и другие вопросы нашли отражение в выступлениях Е.Н. Коньковой (Витебск), В.А. Масловой (Витебск), И.Н. Кавинкиной (Гродно), Е.И. Янович (Минск), Н.В. Бардиной (Одесса), Н.И. Бойко (Нежин), О.В. Ковалева и К.В. Бондаря (Харьков), Т.А. Самохиной (Одесса), В.Ю. Черненко (Киев), Т.А. Семенюк (Одесса), Н.М. Пасик (Нежин) и др.

Исследованию функционального аспекта языка и освещению этих вопросов в наследии Е.Ф. Карского уделили большое внимание участники третьей секции «Категоризация мира и категоризация языка»: А.А. Лукашанец (Минск), А.В. Никитевич (Гродно), О.И. Савчук (Гродно), А.Н. Овчинникова (Гродно), И.А. Усаченко (Гродно), М.В. Жуйкова (Луцк), Е.И. Нещерет (Нежин), А.А. Радевич (Минск), И.Г. Саевич (Львов) и др.

В четвертой секции «Язык и художественное творчество» в центре внимания докладчиков были принципы антропоцентризма, проявляющиеся в структуре и системе языка, в коммуникативном функционировании языка, что хорошо просматривается в стилистической организации художественных текстов разных жанров. Это доклады Н.Н. Арват (Нежин), Н.А. Бондарь (Нежин), Т.А. Михалкиной (Гомель), Л.И. Гетман (Нежин), Н.Н. Журавлевой (Запорожье), Л.П. Ивановой (Киев),

У.А. Карпенко (Киев), О.В. Сахаровой (Киев) и др.

В пятой секции «Язык и коммуникация. Прагматика речевой деятельности» – было много интересных выступлений, осветивших особенности коммуникативной стороны языка на уровне лексики, синтаксиса, семантики и т.д.: Н.В. Кондратенко (Одесса), Т.И. Крыга (Нежин), И.И. Савицкая (Минск), Ф.Т. Евсеев (Нежин), О.А. Хошобин (Киев) и др.

Прислала письмо внука Евфимия Федоровича – Татьяна Сергеевна Карская с приветствием всем участникам Чтений и пожеланием плодотворной работы.

Интересным был разговор на заключительном пленарном заседании. Гости выразили свое восхищение организацией и приемом, какой им оказали на историко-филологическом факультете, поделились впечатлениями от посещения музея Н.В. Гоголя, картинной галереи, музея редкой книги, библиотеки, почтовой станции. Были высказаны пожелания: на фасаде Гоголевского корпуса должна быть установлена мемориальная доска, посвященная Карскому, в музее института необходима экспозиция, рассказывающая об известном ученом. Кроме того, хотелось бы увидеть новое полное издание трудов Е.Ф. Карского.

Интерес к трудам Е. Карского в наши дни не случаен. Его глубокие исследования в области многих славянских языков и литератур раскрывают нашу историю и культуру. Обращение ученого к письменным памятникам, его тщательная работа по изучению их языка и содержания, а также текста с палеографической и этнографической точек зрения дают богатый материал для многих исследователей: лингвистов, историков, археологов, этнографов.

А.С. Белая (Нежин)

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах: текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа «и др.» или «et al.».

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:

Успенский Б.А. 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

Greenberg J. ed 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals... 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи не возвращаются.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.

CONTENTS

O.N. T r u b a č e v (Moscow). Issues in slavistics at the XII International Congress of slavists; L.E. K a l n y n', G.P. K l e p i k o v a (Moscow). Issues in dialectology at the XII International Congress of slavists; E.M. V e r e š č a g i n, V.B. K r y s'k o (Moscow). Some observations on the language and text of an archaic linguistic monument – Eliah's Book (II); L.G. Z u b k o v a (Moscow). Typology of phonological oppositions in the light of their semantic functions; I. M a y e r (Upsala) *I ask your Majesty...* A peculiar use of the genitive in the function of the accusative; E.G. T u m a n i a n (Moscow). On the nature of linguistic changes; W. D i e t r i c h (Münster). The influence of Amerindian languages on the Romance languages (language contacts in North America and countries of the Caribbean basin); A.L. Š i l o v (Moscow). Is there Scandinavian toponymy in Karelia? (the importance of toponymic data for solving ethno-historical problems); A.L. M a l' c i k o v (St.-Petersburg). The perfect and evidentiality in the Tungus languages (an essay in functional and diachronic analysis); E.A. U m a r o v (Tashkent). New data on vowels in «Diwanu lugat-it turk»; **Reviews:** A.V. S u p e r a n s k a j a (Moscow). V. *Blanar*. Teoria vlastneho mena; A.P. V o l o d i n, N.A. K o z i n c e v a (St.-Petersburg). Z. *Guentcheva* (Ed.). L'énonciation métiatisée; **Scientific life; Chronicle notes.**

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 28.02.99 Подписано к печати 09.04.99 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 20,0 тыс. Уч.-изд. л. 15,7 Бум. л. 5,0
Тираж 1518 экз. Зак. 2504

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-25-16
Отпечатано в типографии "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6